

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000040898655

ВОЗМЕЗДИЕ

МОЖЕТ ЛИ НЕНАВИСТЬ БЫТЬ ВЕЧНОЙ? —
ВОТ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ЭТОЙ КНИГИ,
КОТОРАЯ ЛЕГЛА В ОСНОВУ ФИЛЬМА
ДЖОНАТАНА ТЕПЛИЦКИ С НИКОЛЬ КИДМАН
И КОЛИНОМ ФЁРТОМ В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ.

ЭРИК

ЛОМАКС

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

ЭРИК ЛОМАКС

ВОЗМЕЗДИЕ,
ИЛИ ПУТЕЕЦ



ЭКСМО
Москва
2014

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Вел)
Л 74

Eric Lomax
THE RAILWAY MAN

Copyright © Eric Lomax, 1995.

First published as The Railway Man by Jonathan Cape



Школа перевода
В. Басманова

Перевод с английского *И. Судакевича*
Художественное оформление *А. Старикова*

Ломакс, Эрик.
Л 74 Возмездие / Эрик Ломакс ; [пер. с англ. И. Судакевича]. — Москва : Эксмо, 2014. — 352 с. — (Интеллектуальный бестселлер).

ISBN 978-5-699-74561-6

Эта книга поражает искренностью — все, что в ней написано, правда. Во время Второй мировой войны британский офицер Эрик Ломакс попадает в плен. После страшных пыток и унижений в японском концлагере он уже не может вернуться к прежней жизни. Мысль о возмездии не покидает его. Он уверен, что его мучители заслуживают самого страшного наказания, и особенную ненависть он питает к переводчику, присутствовавшему на всех пытках. Его деревянный бесстрастный голос стоит у Ломакса в ушах.

И вот они встречаются — два глубоких старика. Один всю жизнь мечтает отомстить, другой — замолить грехи.

И Ломакс понимает, что, к его собственному удивлению, у него нет однозначного ответа на вопрос, может ли ненависть быть вечной.

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Вел)

© Судакевич И., перевод на русский язык, 2014

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

ISBN 978-5-699-74561-6

*Посвящаю
Элизабете Садерленд Ломакс
(1877—1942)*

*И ее внукам Линде, Эрику и Чармьян,
которые лишь сейчас узнали эту историю,*

*И моей жене Патти, без чьей поддержки
эта повесть никогда не была бы рассказана*

Эта книга обязана творческому таланту и профессионализму Нила Белтона. Его неоценимый вклад в окончательную редактуру текста намного превосходит границы привычных отношений автора с издателем. Не погрешу против истины, если скажу, что без помощи Нила я ни за что не сумел бы облечь в нужную форму все те события, над которыми размышлял минувшие полвека.

[Я есмь...] и живой; и был мертв...
Итак напиши, что ты видел...

*Откровение св. Иоанна Богослова,
1, 17–19*

Глава 1

В прихожей моего дома (а живу я в городке Берикапон-Туид) висит картина шотландского художника Дункана Маккеллара: приличного размера полотно, где изображен железнодорожный вокзал на площади Святого Еноха в Глазго. Время: 80-е годы XIX века, блеклый летний вечер. Женщина средних лет, одетая скромно и безрадостно, стоит с зонтиком в руке, в напряженной и даже смятенной позе. Смотрит в нашу сторону, но как бы насквозь, никого и ничего вокруг не видя. Позади нее высятся закопченные паровозным дымом окна и кирпично-чугунные стены вокзала. Она стоит на краю платформы, провожая взглядом исчезающий поезд, и мы видим ее глазами пассажира. Не лицо, а невыразительная, застывшая маска человека, научившегося проглатывать горе. Художник поймал момент ее внезапного одиночества, пока сама она силится навсегда удержать в памяти черты своего ребенка — по крайней мере, у нас есть право так считать, — которого этот поезд должен доставить на борт эмигрантского судна или на какую-нибудь колониальную войну: в Индии, Афганистане, на африканском Золотом Берегу...

Пусть эта сцена ничем особенным не примечательна, она по-настоящему берет за душу. Картина мне

всегда нравилась. И всегда влекли к себе железнодорожные вокзалы — не только потому, что там были поезда, но и потому, что это места, где все пропитано раздвоенностью, гулким эхом завершенных путешествий и пронзительностью тоскливого гвалта отъезда. Полотно Маккеллара повествует о неизбежности разлуки, о той цене, в которую обходится поездка. Для символа расставания мы по сей день не придумали ничего красноречивее, нежели паровозный свисток, эту кульминационную ноту нечеловеческого облегчения, когда испарившаяся вода, сброшенная из котла, сталкивается с холодным воздухом.

Однажды в 70-х я побывал там и даже постоял на платформе, на том же месте, которое на картине Маккеллара отведено зрителю. Машина вокзала, подходящая на исполинский зимний сад викторианской эпохи, похоже, не изменилась. Сама станция еще не успела погрузиться в заброшенность и тишину, хотя не пройдет и нескольких лет, как здание снесут, подобно прочим кафедральным соборам, где поклонялись пару. Тот век сгинул окончательно и бесповоротно; осязаемость горя и его последствия — то, что в какой-то степени сумел передать художник, — смахнуть прочь куда сложнее.

Говорят, страстное увлечение поездами и железными дорогами неизбывно. А еще я узнал, что нет лекарства от перенесенных мук. Оба этих недуга намертво срослись с линией моего жизненного пути, и все же по какому-то случайному стяжению удачи с милостью Господней я сумел пережить и то и другое. Хотя ушло без малого полвека, чтобы превозмочь последствия пыток.

* * *

Я родился в 1919-м, в год официального окончания Первой мировой, в год, когда Джон Олкок с Артуром Брауном выскользнули из дождливого тумана над Атлантикой и посадили свой фанерный бомбардировщик в ирландскую слякоть. Помню, что об этом подвиге воздухоплавания мне рассказали еще в очень нежном возрасте и что я много размышлял об отважных пилотах, пока гулял по серому камню приморского бульвара Йоппы, восточного предместья Эдинбурга. Наш Йоппа — тезка города, который в Библии выведен под названием Иоппия. Именно сюда попал Иона, убегавший от лица Господня. Здесь он сел на свой корабль.

Довольно скоро — хотя потребовалось немало лет, чтобы дистанции такого масштаба обрели для меня серьезную значимость, — я обнаружил, что местное «море» в действительности было узким, защищенным от непогоды заливом, именуемым Ферт-оф-Форт, и что, хотя противоположный Файфшир можно видеть лишь в погожие деньки, на свете, за туманами и ветрами, имелись моря пострашнее.

Мой отец, Джон Ломакс, был спокойным, серьезным и приученным к строгому порядку человеком, который точно знал, что идет на пользу жене и ребенку, и потому отказывал нам в праве говорить «нет» в его собственном доме. Пока ему не исполнилось четырнадцать, он работал на подхвате в одном из ломбардов Стокпорта, что на окраине манчестерской промзоны, а потом, в 1893-м, каким-то образом пристроился к почтовому ведомству, где и подвизался чуть ли не пятьдесят лет кряду, пока не вышел на пенсию. Начинал он с доставки телеграмм, то есть с должности, ниже которой

ничего нет. Даже я — когда отец устроил меня к себе на службу — занял пост повыше. Правда, тогда мне было уже шестнадцать.

К моменту моего рождения отец числился госслужащим среднего звена, занимая должность начальника отдела кадров при Центральном эдинбургском почтамте. Надежный и облеченный доверием сотрудник.

В Эдинбург, город политики, законопорядка и общественных служб, отец перебрался в 1909-м, хотя всю жизнь продолжал оставаться отпрыском промышленной революции, чья память была полна угольного чада, копоги и смога, могучих фабричных станков на паровом ходу, паровозов и Манчестерского судоходного канала с его толчеей пароходов. Молодежь тех земель, где напрочь позабыли о тяжелой промышленности, вряд ли уже поймет, до чего колоссальными, внушающими чуть ли не священный ужас могли быть процессы, которые придали форму нашей нынешней жизни. Для моего отца, а позднее и для меня самого, машины-исполины были не монстрами, не страшилками, а вещами, достойными прославления, столь же удивительными и завораживающими, как и собственно природный мир. Они были плодом рук человеческих.

В ту пору, когда я научился замечать подобные вещи, отец состоял в кружке любителей словесности. Эти мужчины и женщины ходили друг к другу в гости и обсуждали критику таких, скажем, книг, как романы Арнольда Беннетта, которые отец проглатывал от корки до корки. Кроме того, отец вел региональную колонку в «Журнале Института почтовых инженеров», где печатал местные новости. И, под стать всем тем, кто истово веровал в прогресс и великие открытия,

он зачитывался Гербертом Уэллсом. В доме была целая библиотека из подобных книжек. Помнится, на полках стояли томики «Эдинбургского альманаха» за 1830-е годы, несколько научно-популярных брошюр, а также «Жизнь замечательных инженеров» Сэмюэля Смайлза.

Я также помню отцовский экземпляр «Истории человечества» Хендрика Ван Луна, изданный в 1931 году. Это вдохновляющая повесть о достижениях и прогрессе. Будучи ребенком, я, как губка, впитывал в себя максимум оптимизма и примеры находчивости. Казалось, что всякое новое техническое достижение сулит еще бóльшую скорость, упрощает жизнь, окрыляет. Одно из самых ярких воспоминаний моего детства восходит к тому дню, когда под суперобложкой книги Ван Луна я обнаружил секретную карту, озаглавленную «Великие открытия». Я был непоколебимо убежден, что тысячи других читателей никогда и не заглядывали под заднюю суперобложку и что это раскидистое чудо-дерево человеческой изобретательности досталось лишь мне, мне одному.

Первое воспоминание о мире вне круга моих младенческих потребностей относится отнюдь не к зверюшкам из зоопарка, но к диковинным механическим агрегатам. Отец очень любил во время наших с ним прогулок по бульвару приводить меня к городскому трамвайному депо, туда, где к берегу залива примыкала первая дорога, соединявшая Эдинбург с Лондоном. Во время одной такой прогулки, когда я был еще малюткой, мы свернули за угол итальянского кафе-мороженого и увидели, что дорога перекрыта высоченной баррикадой из трамвайных вагонов, стеной густого красно-коричневого цвета и серебристого металла.

Каждый вагон походил на элегантный каретный сарай в два этажа, чьи окна обрамлены изящными деревянными наличниками. Любой из трамваев был как бы двухголовым; передние и задние кабинки вагоновожатых напоминали пятигранные стеклянные призмы. С обоих торцов имелось по открытой площадке, откуда на верхний, тоже открытый, ярус манили железные лесенки. Трамваи поджидали толпу, которая вскоре должна была хлынуть с ипподрома в соседнем Масселборо, чтобы доставить ее обратно в Эдинбург. Я стоял и зачарованно глазел на это стадо машин. Не знал, что на свете такая пропасть трамваев.

На беду для моего пробуждающегося интереса к тем видам транспорта, которые бегают по рельсам, Йоппа оказалась трамвайным садом эдемским. Это была конечная станция на одной из последних в мире систем фуникулерного типа. У таких трамваев нет своих моторов, а тащит их пятимильный стальной кабель, уложенный в траншее между рельсами и наматываемый на громадные барабаны на паровом ходу, смонтированные в депо. Вскоре после того, как я открыл для себя механическое скопище, отец провел меня туда, где можно было видеть промасленную пазуху, устроенную под мостовой. Это место называлось кабельным колодцем, и там стояло здоровенное колесо с гребнем, которое крутилось от стального троса, подтягивая вагон из Портобелло, соседнего предместья к западу от нас. Раз в пять минут подходил очередной трамвай, отсоединялся от восточного троса, цеплялся за западный — и величественно катил обратно в Эдинбург, делая двенадцать миль в час.

Что-то бесконечно умиротворяющее имелось в предсказуемости всей этой системы: тяжелые двухъярусные вагоны тянутся по улицам, размеренно и непоколебимо прокладывая путь в толчее велосипедов, ломовых телег и пешеходов. Трамваи словно линовали суматошную городскую жизнь.

Вскоре после моего знакомства с одряхлевшей системой на кабельном ходу она уступила место электрическим вагонам. Однажды, когда мне было года четыре, я гулял с мамой по бульвару, и она показала мне самый первый, по ее словам, электрический трамвай, направлявшийся в Эдинбург. А еще через месяц, ночью, замер, подрагивая, могучий паровой двигатель местного депо. Отец сообщил новость уже на следующее утро — и я мог видеть, что он огорчен, что для него это священная, особенная минута, конец чего-то такого...

Мы, дети, играли в трамваи, обожали на них кататься, досконально выучили повадки кондукторов, среди которых попадались недруги мальчишечьего племени. Выяснилось также, что и у вагоновожатых появился свой характер, потому что вечно неизменная скорость движения, как у фуникулеров, стала пережитком прошлого. Теперь кое-кто из вагоновожатых даже осмеливался дергать рукоятку хода до упора, и их вагоны мчались будто исчадия ада, рассыпая снопы искр. Был случай, когда один трамвай соскочил с рельсов на повороте Кингс-роуд в Портобелло, пробил стену тамошней электростанции и завис над путями, по которым в котельную доставляли уголь. Это надо было видеть: здоровенный зеленый вагон, оказавшийся до дикости не на своем месте. Намек на то, что упорядоченное общение между пунктом А и пунктом Б можно в любой

миг разрушить вдребезги, что мир может быть опасен. Впрочем, электрический трамвай все равно был шагом вперед, и в те суровые, по-бедняцки бережливые годы каждый знак прогресса встречали скорее овацями, чем неодобрительным свистом. Успехи промышленности нас завораживали, чего нынче и в помине нет. Эх, знать бы мне наперед, куда это потом завело...

Мама попрохладнее относилась к механическим чудесам, да оно и неудивительно: в конце концов, человек вырос в полутора сотнях миль к северу от шотландского взморья, на Шетландских островах. Женщина она была весьма добрая, но с выраженным чувством собственного достоинства и проницательностью, свойства, которые я всегда объяснял тем, что мама воспитывалась среди людей, до сих пор изъяснявшихся на одном из скандинавских диалектов. Она была пятым ребенком в семье из восьми детей. Более разительного контраста с происхождением моего отца подобрать сложно. Предки матери из поколения в поколение выходили в море на рыбацких скорлупках. Ее отец основал довольно масштабное рыболовецкое предприятие, затем перебрался южнее и к моменту своей смерти, за год до моего рождения, был процветающим бизнесменом в Лите, портовом районе Эдинбурга.

То, что было матери дорого, ее воспоминания и обычаи, к которым она привыкла, все это также очень отличалось от отцовских. Она могла рассказывать про одинокие, затерянные в глуши усадьбы с крохотными арендаторскими наделами, про вылов сельди, про очаги, топившиеся торфом, и про вечно говорливое море. От матери я узнавал о летних днях, когда солнце не закатывалось сутками напролет, о том, как ставят скир-

ды, о снежно-белых отмелях из слюдянистого песка, испещренного лепестками лиловых армерий, и о свирепых ветрах, которые зимними месяцами с корнями рвут из земли что угодно, кроме самых перекрученных, запутанных и гибких форм жизни. У Садерлендов, моих предков по материнской линии, имелась и собственная сага о трагедиях: прародитель по имени Джон Садерленд был одним из ста пяти человек, утонувших в 1832 году, когда июльский шторм перевернул восемнадцать рыбацких судов. Еще двоих Садерлендов унесла очередная шетландская буря летом 1881-го. Городским не понять, насколько близко смерть ходила вокруг этого семейства. Мать лелеяла в себе фантазийные взгляды человека, вырванного из суровой сельской среды, хотя и понимала, что назад пути нет. Как бы то ни было, я подозреваю, что всю свою жизнь в Эдинбурге она мучилась тоской по родному дому.

Своему ребенку она передала вкус к таинственному и романтически-загадочному. Даже названия местечек на карте Шетландских островов кажутся непостижимо живописными: ну где еще можно найти острова, именуемые Вайла, Трондра, Бальта и Унст? У матери были и скромные притязания на склонность к литературному труду — она сочиняла стихи и наброски в прозе, которые называла «этюдами». Много читала. Воображение островитянина с типичными для него крайностями не могло, конечно же, по достоинству оценить угрюмый реализм Арнольда Беннетта, так что излюбленным чтением матери были, скорее всего, книги Джесси Маргарет Эдмонстон Саксби, самой знаменитой писательницы Шотландии, с которой мать была знакома лично.

Мать во мне души не чаяла. Подозреваю, что она была чрезмерно заботлива и немножечко авторитарна. Среди черт моего детского характера выделялась тяга к собирательству, я любил составлять перечни, записывал всяческие сведения, делал вырезки из газет, а мать все это терпела, и у нее всегда имелся для меня запас бумаги и канцелярских штучек. Даже придумала мне шутовское прозвище, «Профессор Пири»: на шотландском диалекте «пири» означает «крохотуля». Я любил ее, но мир, в который я пришел, не позволил разделить с ней ностальгию по минувшему; что-то твердое и жесткое впилося в меня, заставив потянуться к отцовской вселенной. Впрочем, в 1920-х от мальчишек ничего другого не ожидали.

Я родился в Йоппе, на улице с вереницей типовых, одноликих домишек, откуда открывался великолепнейший вид на Ферт-оф-Форт. Думаю, мать тянуло к воде, ей нравилось видеть ее чуть ли не до горизонта — хотя бы большую часть года. Наше окно выходило прямо на море, обычно серое и стылое. Куцые, непоседливые волны вдували бодрящий холодок в мозг наших костей, напоминали, до чего нам повезло стоять сейчас на надежной тверди, и заодно не позволяли расслабиться до конца, не давали пасть жертвой иллюзии, будто вся эта земля нам покорна.

В детстве меня оберегали серьезные и старомодные люди, которые изо всех сил заботились о своем «единственном ребенке». В этом выражении слышится привкус какого-то несчастья, что ли, словно в семьях с одним ребенком было что-то ущербное. Может, и правда, что для родителей я оказался сюрпризом? А еще мне

частенько приходило в голову, что очень и очень неплохо быть в единственном экземпляре.

Отец следовал тщательно продуманному распорядку, и у меня до сих пор стоит перед глазами, как он каждым утром выходит из дома, чтобы на трамвае-«двадцатке» добраться до почтамта, что на площади Ватерлоо. Он был педантом во всем, что касалось графиков движения и длительности поездок, черта, которую я от него унаследовал: потребность знать, что я уверенно могу рассчитывать на то, что прибуду — или отбуду — в такой-то и такой-то час.

По выходным он вывозил нас из города, скажем, в фэйфширский Абердаур или пертширский Гленфарг, для чего надо было проехать по высокому, длинному мосту через пролив. Вагон ташил один из красивейших локомотивов — серия «Атлантик», которые работали на бывшей Северо-Британской железной дороге. Пересечь упомянутый Форт-бридж значило оказаться в грохочущем мире стали и вибрирующего воздуха, когда высоко над головой возносятся консольные фермы, а вода мелькает между металлическими укосинами где-то далеко, далеко внизу. Этот мост был удивительнее фараоновских пирамид, он был самым чудесным мостом в мире, и всякий шотландский мальчишка знал, что в длину он тянется на целую милю, что в нем восемь миллионов заклепок и что двадцать девять рабочих только тем и заняты, что непрерывно его красят.

Когда я был еще очень юн, отец свозил нас в Шотландию. Это была всамделишная экспедиция: сначала пять часов на поезде до Абердина, потом ночным парходом до Леруика. Пароход был окрещен «Блаженная Суннива», и им гордилась компания со звучным

именем «Северо-Шотландское и Оркни-Шетландское пароходство». И впрямь элегантное судно, переоборудованная крейсерская яхта, отлично приспособленная к плаванию по Северному морю.

Думаю, мать была знакома со старшим механиком, потому что, когда мы вышли из порта, меня отвели в машинное отделение, откуда потом извлекали с небольшим трудом. Это было еще одним прозрением, пережитым мною в детстве: восторг от запаха горячего масла, от того, что кругом нетерпеливой дрожью сотрясается металл, от буханья цилиндров, от теплой пульсации воздуха, от щекочущего нос угольного дымка, от гениальной пластики поршневых тяг, без устали ныряющих и тут же вынырывающих обратно... Если это машина, подумал я, то я хочу вновь оказаться рядом с такой же, да поскорее.

В Шетландии мы провели месяц. Помню, что однажды свалился в море, после чего до вечера бегал полуголым, пока на солнышке сохли разостланные по валуну штаны. Помню, как играл на пляже в Леруике и как делал «блинчики» на воде плоской галькой. Один из камешков на поверку оказался осколком бутылочного стекла, и я сильно поранил палец. Тем не менее все было просто здорово: и жестковатый полупрозрачный налет соли на моей разгоряченной коже, и запах водорослей, исходивший от моря. Торжественной кульминацией отпуска стала поездка к прагядюшке Арчибальду, секретарю совета всего Шетландского графства. Он жил в доме, который назывался Листина-хаус и располагался, как меня уверяли, на самой престижной улице во всем архипелаге. Мать страшно гордилась своей ролью племянницы столь важного чиновника,

в то время как нас с отцом больше впечатлили его почтовые марки. Поразительная была коллекция.

Уже тогда моя любознательность едва не стоила мне жизни. В компании пары местных жителей мы вышли на гребной шлюпке порыбачить на озере Лох-Спигги, что находится в южной части острова. Пытливый до ненасытности, я умудрился выковырять затычку из днища и выставил ее напоказ: «А это что такое?» Мимо моего внимания не прошла гневная конвульсия и внезапная, тщательно скрывааемая поспешность взрослых. Я натворил нечто опасное. Пока гребец вовсю гнал к берегу, шлюпка медленно, но верно уходила из-под нас в пучину.

* * *

Вскоре после той первой поездки в Шетландию (в 1924 году) меня заставили ходить в школу — Королевскую общеобразовательную школу Эдинбурга. Насколько я понимал, для меня ее выбрали не за 800-летнюю историю, а исключительно из соображений удобства: от двери до двери наш дом и школу соединяла новая, электрическая трамвайная линия.

Школа ничем не способствовала моему позднешему увлечению техникой: даже физику преподавали не так, как следовало бы. В расписании стояли математика, английский, латынь, греческий и французский. Это было крайне консервативное образовательное учреждение, одержимое классическим подходом.

Не могу сказать, что я чувствовал себя очень уж одиноким в классе, однако привычки единственного ребенка в семье наверняка придавали мне некоторую отстраненность, наделив самостоятельностью, в кото-

рой не нуждались — или которой попросту не обладали — мои одноклассники. К примеру, я упорно избегал физкультурных праздников и подвижных игр, хотя такая непохожесть на других выглядела чудачеством в эпоху, когда командный дух считался ключом к воспитанию мужского характера. Один-единственный раз я принял участие в футбольном матче, регби занимался едва ли чаще и время от времени играл в крикет. С другой стороны, я обнаружил, что исключительно хорошо умею плавать, особенно в ходе страшно изматывающих заплывов на длинные дистанции. Хотя тогда выяснить пределы личных сил не удалось, я тем не менее был способен без отдыха преодолеть несколько миль. Это был труд упрямы-одиночки; мне нравилась непреклонность ритма, с которым приходилось проталкивать самого себя сквозь воду, и то, как действует это странное обезболивающее, именуемое «вторым дыханием», дававшее поддержку измученным, ноющим мышцам. Несмотря на тягу к одиночеству, я был безмерно рад получить нашивку местного Клуба пловцов-любителей, хотя ее перемежающиеся темно-коричневые и желтые полосы наводили на мысль об осах. Это, впрочем, не спасало меня от постоянного давления со стороны учителей и даже сверстников, требовавших, чтобы свои вполне очевидные атлетические способности я использовал и на регбийном поле. Я же предлагал обсудить вопрос непосредственно в воде, в ходе заплыва на парочку миль, после чего критики обычно умолкали.

Помню, чем закончилась одна моя уступка поучаствовать в командных мероприятиях, поскольку, если рассуждать задним числом, это можно считать предвестником грядущих событий. Я вступил в ряды Со-

виного патруля при 12-м бойскаутском отряде нашей школы и, подобно всем прочим мальчишкам, ходил в зеленовато-буром форменном костюмчике. Еженедельно в спортзале устраивали «слеты», и однажды вечером, в начале 1930-х годов, на одном из таких собраний вожатый принялся учить нас, как походными шестами сдерживать толпу. Совсем нескаутское занятие, нечто вроде отголоска Великой стачки 1926 года, а может, просто очередной намек, что широкий мир, в который мы вот-вот выйдем, на самом деле является местом до того конфликтным, что к этому надо готовиться даже через детские игры.

Так вот, ближе к концу собрания вожатый решил преподать наглядный урок. Часть из нас выстроили в некое подобие барьера, или человеческого щита, с шестами на изготовку, в то время как остальные скауты должны были изображать из себя буйную толпу. Эту банду выпустили на нас сквозь внезапно распахнувшуюся дверь. Всеобщая свалка и побоище, что называется, «раззудись плечо». Крепкие и резвые парни с добродушной беспощадностью сбивали друг друга с ног как кегли, попробуй-ка сдержи таких... А потом и вожатый утратил над нами всяческий контроль.

Атакующая волна застала меня с не прижатым к туловищу локтем. До сих пор, можно сказать, чувствую, как мою правую руку все дальше и дальше заворачивает назад, пока, наконец, в ней что-то не лопнуло. На секунду захлестнула отчаянная паника и неверие, затем иглой боли пронзило: перелом.

Неутомимо находчивый вожатый обернул фиаско своей задумки по усмирению толпы в практикум по оказанию первой медпомощи. Не каждый же день вы-

падает счастье показать своим подопечным всамделишный перелом. Из половинок деревянной линейки он сделал парочку импровизированных шин, разыскал немало бинтов и вызвал такси. Попав в травмпункт при центральной горбольнице Эдинбурга, я ждал совсем недолго, после чего меня вкатили в процедурную, где дали ничтожную дозу обезболивающего: хлороформа хватило лишь на то, чтобы приглушить нервный озноб. Ничто не мешало чувствовать, как тянут и туда-сюда крутят руку, пока разломанные кости не встали обратно на место. Странно, до чего легко вспоминается боль.

* * *

Школьные занятия мне не нравились, и пусть по некоторым предметам я в отрочестве занимал первые места — как-то раз набрал все 100 очков за контрольную по латыни, — учебная программа казалась невыносимо скучной. Понемногу перестала заботить и академическая успеваемость. Меня увлекали темы, которые наша Королевская школа не считала возможным одобрить.

Как широко принято у школьников, я тоже занимался коллекционированием — как бы способ отыскать смысл во всемирной неразберихе. В августе 1926 года отца на несколько дней откомандировали по почтовым делам в Инвернесс, и он захватил с собой нас с матерью. Своего рода коротенький отпуск. Мы поселились в гостинице «Гленмор» на южном берегу Несса. Чтобы мне было чем заняться, отец на городской толкучке приобрел большой конверт с ворохом разномастных иностранных марок. И так-то неплохая успокоительная «соска» для любопытного и непоседливого ребенка, но эти марки к тому же стали точкой отсчета мой

любви к собирательству, в данном случае филателии, которая живет во мне до сих пор. Потом эта страсть распространилась на монеты, сигаретные вкладыши, а впоследствии и на видовые открытки. К счастью, сверстники отличались той же склонностью, а еще нам повезло с дешевым «сырьем», так что собирать коллекции было несложно. Наш голод по всевозможным символическим знакам, имеющим хождение в промышленно-развитом обществе, был неутолим, и мы, всеядные, набросились потом на железнодорожные билетки, спичечные этикетки, автографы и переливчатые стеклянные шарики. Если сравнивать с искушениями, доступными сегодняшним детям, наши помешательства были куда менее опасны, а родители, пытавшиеся отучить нас от маниакальной страсти, были бы потрясены, узнав, что сейчас за эти школьные коллекции можно выручить небольшое состояние.

Впрочем, это были еще цветочки, эдакий невинный флирт с одержимостью, в сравнении с тем открытием, которое я сделал одним теплым осенним вечером 1932 года, когда гулял с мамой в нашем районе Портобелло. Помню даже точную дату: 12 сентября. Мы пересекали Парк-бридж, длинный пешеходный мост, переброшенный над низиной между площадкой для гольфа и жилыми кварталами. Я остановился на полдороге — сам не знаю почему — и посмотрел вниз. В новый мир. Под ногами раскинулась тяжелая блестящая паутина из стали и дерева; идеально параллельные нити металла могли вдруг изогнуться, слиться вместе, превратиться в другие, бесконечно длинные, уложенные на землю стремянки, возносящиеся куда-то вдаль. Пройдя под мостом, пути расходились всером, а в непосредствен-

ной близости я мог видеть потертое серебро рельсовых головок, темную сталь подкладок и дерево шпал. В закатных лучах пути напоминали ртутные ручейки на вымазанной креозотом древесине и гравии.

Подо мной лежала станция Портобелло-товарная, один из крупнейших и наиболее загруженных железнодорожных узлов Шотландии. Даже тихим вечером в пору бабьего лета на ней кипела жизнь. Возле моста пытели два локомотива, два маневровых танкопаровоза, заталкивающие составы и разрозненные вагоны куда-то поглубже... Я присмотрелся к номерам на борту: 9387 и 9388. Плотно сбитые, кряжистые машины без претензий на утонченное изящество, с водяными танками по бокам, почти скрывающими обводы котла, — но как же они были великолепны! На каждом подымовой трубе, смахивающей на цилиндр Изамбарда Брюнеля¹ на том знаменитом снимке, где он стоит возле исполинского гребного колеса лайнера «Грейт Истерн». Ничуть не удивляюсь, отчего Изамбард выглядел так самоуверенно. Еще бы: ведь какие машины умел создавать...

Три пары ведущих колес каждого локомотива вращались медленно, натужно, но неумолимо, толкая перед собой многотонный состав. Я слышал грохот и скрип изнемогающего металла, когда сцепки принима-

¹ Брюнель, Изамбард Кингдом (1806—1859), выдающийся британский инженер, прославившийся постройкой железных дорог, мостов, туннелей и крупнотоннажных судов. Умер от апоплексического удара, случившегося с ним во время подготовки колоссального парохода «Грейт Истерн» (свыше 200 м в длину, 4 тыс. пассажиров) к ходовым испытаниям. — *Здесь и далее прим. перев.*

ли на себя новый вес и тягу. Я вновь вдыхал смесь горячего масла и угольного дыма, с которой познакомился в машинном отделении шетландского парохода. Серые пuffs мягко выбивались из трубы над низкопосаженным котлом, вдоль боков которого тянулись перистые завитки пара. Эти белые струйки будто щекотали полированную латунь клапанов сухопарника, чья маковка сидела перед будкой машиниста. Сам того еще не зная, я смотрел на отлично ухоженную, выносливую машину в руках опытного мастера.

С высоты моста казалось, что я подвешен над миром механических трудяг, над раскидистой сеткой рельсовых путей и сигнальных мостиков, грузовых платформ и кирпичных пакгаузов. Те, кому не довелось увидеть крупную товарно-узловую станцию в золотой век паровозов, да еще в лучах закатного солнца, и вообразить не могут, до какой степени это захватывало дух. Механический, оживленный, таинственный рай!

Поодаль, в глубине станции, рядом стояли еще более солидные, прямо богатырские локомотивы, чьи огромные колеса были соединены дышлами толщиной с балку моста. В сцепленных колесах, в шатунах и поршнях таилась чудовищная сила — дремлющая мощь. За станцией, возле почерневшего дощатого сарая, замер еще один паровоз. Над его задним тендером нависал деревянный лоток, торчавший из чердачной двери. Какой-то мужчина в жилетке, с полотняной кепкой на голове, ведро за ведром вываливал в лоток уголь, тот скатывался вниз, в здоровенную кучу, и другой мужчина, в перемазанной серой куртке из грубой шерсти, эту кучу разравнивал.

Так родился мой неизлечимый интерес к железной дороге. С этого достопамятного дня я стал проводить массу времени на Парк-бридже и вскоре обнаружил, что я такой не один, что есть еще мальчишки, которые грудью наваливаются на поручень, чтобы получше рассмотреть локомотивы, когда те сбрасывают ход, подкрадываясь к товарной станции, или, напротив, разгоняются, чтобы затем выйти на Восточно-прибрежную магистраль, соединявшую Эдинбург с Лондоном. А все потому, что Эдинбург был железнодорожным узлом, так что я, оказывается, жил на восточном краю гигантской петли, составленной из рельсовых путей, станций, складов, туннелей, ремонтных мастерских и товарно-грузовых пунктов. Моему взору были доступны флагманские локомотивы Лондонско-Северо-Восточной железной дороги, тянувшие длинные пассажирские составы на пути к Уэверли, крупнейшему вокзалу, собственности этой же компании — и подлинной мекке для энтузиастов вроде меня. Или же я мог поохотиться на паровозы более старые, не столь мощные, которые сновали в пригороде или сельском захолустье. Главное, что все они поезда, и пока что этого хватало.

* * *

Это была все равно что влюбленность — моя завороченность громадными, шумными машинами, которые уже подбирались к концу своего золотого века. Они двигались с величественной целеустремленностью. Были живыми, исполненными пара, дыма и запаха минералов; жгли энергию без напускной стыдливости, и любой мог видеть их внутренний огонь. Они носились друг с другом взапуски, теряли тепла больше, чем ис-

пользовали, поедали свой собственный груз из угля, но при этом было что-то очень человеческое в необходимости поддерживать пламя вручную, лопатой и на глазок. Отходы их жизнедеятельности не приходилось хоронить в облицованных свинцом гробах: они выделялись — выдыхались — в воздух углеродом, серой и азотом или же их можно было смести в кучку и выбросить изгарью и золой, развеять сажей и копотью, недогоревшими частичками угля, которые мягко оседали на одежду и волосы.

Среди вещей, создаваемых людскими руками, есть такие, которые перерастают границы своей роли. Механический прибор, приспособление может быть волшебным. Никогда брюзгливое тарактение бензинового мотора не расскажет нам о выходе в путь, о расставании так доходчиво, как это может сделать взрывной, ритмический звук, который мы называем пыхтением паровоза. Пожалуй, это пыхтение даже сродни нашему пульсу. И пусть мы напропалую расточали ресурсы и вовсю нагревали планету — о чем в ту пору никто и не подозревал, — имело все же смысл сделать исключение для паровозов. Они того стоили — самые красивые машины, порожденные промышленной революцией.

Преподобный Одри, автор целой серии детских книг про железную дорогу (которыми зачитывалась многомиллионная армия малышни еще спустя десятилетия после того, как их родители забыли о «паровозном веке»), однажды заметил, что железная дорога «трогает за живое». Подозреваю, что на каком-то глубинном уровне каждый из нас влюблен в поезда.

Могучесть паровоза берет за душу своей неподдельностью: она вся на виду, большинство наиболее важных

деталей до наивности откровенно выставлены напоказ. У тебя перед глазами огромный горизонтальный бак, на который навешаны какие-то колена, кривошипы и прочие механизмы, ты видишь хитроумное сочленение рычагов и тяг со здоровенными колесами, причем ты уже знаешь, что этот ансамбль из железных штукоев будет работать, и даже, может статься, ты поймешь почему. В отличие от автомобиля или ядерной подлодки, в том, как действует паровая машина, нет ничего герменевтического, скрытого. То, что инженеры называют «приводом», сочетание поршней, валов и колес, которые заставляют локомотив двигаться, столь же завораживает, как и наблюдение за работой часового механизма. Да и труд вложен столь же кропотливый, как у часовщиков, потому что тяги и муфты зачастую выходили из-под станков шербатыми, с заусенцами, их приходилось обрубать зубилом и обтачивать напильником. Детали паровозов делали руками, и не приходится удивляться, что машинисты давали своим локомотивам прозвища, словно людям. Впрочем, по сути паровоз был просто котлом на колесах, пусть даже стальных и приделанных к тяжелой раме.

Такая простота меня и ошеломляла. Уголь, который сгорал в топке, окруженной водой, создавал пар, и тот шел в цилиндр. Там этому пару деваться было некуда, и он выталкивал поршень. А поршень действовал на шатуны, которые превращали его прямолинейный ход в круговое движение, передаваемое на колеса, — и паровоз ехал. Поразительной казалась сама мысль о том, что толпы людей и кучи грузов можно перемещать с помощью «навороченного чайника». Правда, нужно следить, чтобы в этом «чайнике» вода никогда не

опускалась ниже потолка топки, не то все взлетит на воздух. Чем эта концепция радикально отличается от нынешних электровозов, которые бегают на заданных скоростях, так это непрерывной борьбой за шаткое равновесие между водой и огнем, отчего машинисту удавалось несколько прибавить ходу, когда он был опытен, а если неопытен, то дело шло к катастрофе.

Подобно любимым прочим вещам, которые мы изготавливаем, — огнестрельному оружию, к примеру, — простую идею можно бесконечно шлифовать, совершенствовать, развивать и украшать. Я застал поезда в эпоху их расцвета, когда пар под давлением творил чудеса. Целые библиотеки были написаны о том, как усовершенствовать простую идею Уатта. Более хитроумные кулисные механизмы позволяют точнее регулировать давление пара; пар этот можно перегревать, чтобы он давал больше мощности; внутрь котла можно втиснуть еще более плотный и длинный лабиринт медных дымогарных труб, чтобы увеличить площадь нагрева, а значит, и испарения. Но главное в том, как все это работает в принципе, в поэзии больших машин, в их внешнем виде, скорости и мистическом обаянии.

* * *

Я научился их различать, завел даже любимчиков. Взять, к примеру, внушительный «Атлантик», самый могучий шотландский локомотив начала XX столетия. У него две пары огромных ведущих колес, наполовину скрытых под широченными щитками-«брызговиками», и даже колеса поменьше, опорные, все равно поражают толщиной своих спиц. Вблизи такой локомотив представлялся титаном: исполинский, выкрашенный

в сплошной темно-зеленый цвет цилиндр котла, глянцево-черный носовой колпак, и все это хозяйство покоилось на чугунной раме длиной добрых семь метров. Поставь у ведущего колеса мальчишку, и тот покажется карликом, чья макушка едва ли не вровень с бобышкой ступицы, отливающей серебром в центре черных как сажа ступиц. Шатуны, приводившие в движение тяжелые колеса, своим сечением не уступали рельсам, по которым эти колеса катались. Балансиры наружных парорегуляторов походили на руки пловцов, застывшие на выбросе. Сверху по всей длине котла бежали трубы, трубки и трубочки из блестящей латуни или меди, а еще выше красовался цилиндр дымовой трубы.

К концу 1930-х даже этот здоровяк смотрелся архаически, словно паровой каток, потому что пришло время зрелости последних — и самых сказочных — динозавров той эпохи, которые умели бегать быстрее и дальше всех своих соплеменников. Это были машины серии «Пасифик», которые работали на участке Лондон — Эдинбург. Локомотивы уже с тремя ведущими парами, до того мощные и тяжелые, что для одной только балансировки собственного веса им требовалось четыре колеса поменьше спереди и еще два сзади. Пожалуй, лишь орнитолог-любитель, узревший редкостную породу орла, сумеет понять, что я чувствовал, когда один из таких «Пасификов», гордость британского инженерного искусства, пронесился передо мной на железнодорожном переезде. Воздушная волна чуть с велосипеда не сбрасывала!

Но даже левиафанам есть куда расти. В середине 1930-х кое-кому из них придали зализанные черты. Цилиндрический котел спрятали под гладким, аэро-

динамически выверенным обтекателем, который выкрасили в серый цвет двух тонов, а голая сталь придала третий, чуть ли не милитаристский оттенок «Силверлинку», который мог домчать из Лондона в Эдинбург за шесть часов, нередко на скоростях за сотню миль в час. Это и сделало его одним из самых быстроходных локомотивов в мире. Вдоль каждого борта шло по узкому, как плавник, крылу, которое заворачивалось аркой над ведущими колесами, словно верхняя губа разверстой китовой пасти. Вся машина напоминала чудовищный серый нож, поставленный на ребро. Когда мимо пролетала эта сотня тонн стали, тебя будто уносило в будущее.

Конечно же, на моем самом первом самостоятельно сделанном снимке запечатлен «Пасифик», к тому же знаменитый: «Летучий Шотландец». Это было в день открытия летнего сезона на маршруте Лондон — Эдинбург. Я нацелил свой «Бокс-Брауни» на рельсы и мысленно взмолился, чтобы уж не знаю как, но пусть его объективу удастся схватить громовую ударную волну, которая вот-вот на меня обрушится. Мечталось одно, а вышло — как оно обычно и бывает со снимками железных дорог — совсем другое: черно-белая, зернистая карикатура на истинный шедевр.

Впрочем, куда важнее то, что я там был и это видел. К окончанию школы (в 1936-м) мое увлечение переросло в одержимость. Если на то пошло, локомотивы забирали подавляющую часть моего свободного времени между 1933 и 1939 годами, когда я ушел добровольцем в армию. Я зачитывался книгами по истории инженерного искусства, повестями о компаниях, про которые уже тогда мало кто помнил, не вылезал из букинисти-

ческих лавок возле моста Георга IV — и находил там чудесные старые книги о железных дорогах, каждая ценою не больше пенса. Порой я позволял себе протянуть руку подальше и потратить несколько дополнительных монет на подлинное сокровище: симпатичный двухтомник Смайльза или фотоальбом, полный снимков викторианской эпохи...

Я стал тем, кого нынче назвали бы энтузиастом новомодного трайнспоттинга, хотя это слово относится вовсе не ко мне, да и не узнаю я себя в этих ребятах, что стоят, нахлобучив капюшоны «алясок», вдоль путей по всей Британии и знай себе записывают номера проходящих составов. Мое хобби было сродни одержимости ученого, а сам предмет увлечения был, если угодно, «научной отраслью», столь же полноценной, как математика или французская словесность. Так или иначе, унифицированные тепло- и электровозы нынешних железнодорожных монополий не могут сравниться с великолепным разнообразием машин на рельсовых путях 1930-х годов.

Я не просто сидел и грезил о поездах. Нет, я шел к ним, чтобы увидеть воочию. Томился ожиданием на пронизанных сквозняком насыпях — не говоря уже про дренажные канавы, — лишь бы хоть краешком глаза заметить какой-нибудь редкий и знаменитый локомотив. Мне ничего не стоило отмахать на велике миль пятнадцать—двадцать, чтобы поглазеть на деловитый паровозик на сельском перегоне, а потом вернуться в родительский дом столь же довольным, как после свидания с девчонкой.

Вплоть до 1923 года в Британии насчитывалось 120 железнодорожных компаний, объединенных в че-

тыре крупные группы. Наша местная, восточно-шотландская группа называлась «Лондонско-Северо-Восточная железная дорога». Эдинбургские локомотивы отличались от своих восточно-английских собратьев, и ни один корнуэльский паровоз не рискнул бы сунуться на север, поближе к Ньюкаслу. Да, бывало такое, что локомотив забирался на чужую рельсовую сеть, но дело это было непростое, а в случае с «Грейт вестерн» и во все опасное: эти машины были шире остальных и на незнакомой территории запросто могли въехать скулой в платформу или разнести мостовой пролет — с катастрофическими последствиями. Вот почему локомотивы Северо-Восточной Англии, как правило, отцепляли в Берике, где историческая граница оказывалась еще и технической. А уже отсюда состав тянул шотландский паровоз.

Зато теперь локомотивы, чья эволюция прошла в условиях изоляции, начали просачиваться в глубь чужих владений, и порой можно было видеть, как в буфера на вокзале Уэверли тычется носом диковинный гость с далекого юга. Впрочем, невероятная пестрота моделей сохранилась: паровозы прежних компаний до сих пор были в работе. Локомотивы, изобретенные и построенные при королеве Виктории, так и продолжали бегать в век авиации. Я один из последних свидетелей, кто застал это лоскутное одеяло, этот низкопроизводительный, малоэффективный и бесконечно чудесный хаос. Теперь я знаю, что чувствовал Дарвин на Галапагоссах.

И подобно диким зверям в природе, эти создания — облитые лаковой краской, с изящной арматурой из стали и латуни — зачастую приходилось упорно выслеживать, искать их лежбища. Мы изъяснялись на

языке охотников: «редкий экземпляр», «боязливый», «не дается в руки»...

Мир железной дороги был столь же удивительным, неожиданным и запутанным, как и мир естественный: скажем, на Лотианских холмах разновидностей птиц было меньше, чем моделей паровозов. На британских магистральных трудилось не меньше 28 тысяч локомотивов, и еще несколько тысяч на сталелитейных заводах, на крупных пивоварнях, в угольных разрезах... ЛСВЖД, наша местная компания, родилась из слияния гигантов типа «Северо-Британской железной дороги» с малышами вроде «Восточно-Западного Йоркширского союза», где четыре изношенные «кукушки» подтаскивали уголь к морским причалам для бункеровки судов.

Однажды я спас от вечного забвения самую глухую и богом забытую железную дорогу на Британских островах, опубликовав о ней заметку в «Железнодорожнике». Мне было шестнадцать. На Унсте, наиболее северном из Шетландских островов, я наткнулся на заросшую травой узкоколейку сантиметров в шестьдесят, что соединяла карьер хромистого железняка в центре острова с ближайшим пирсом. Под жарким июльским солнцем коренастые пони вяло тянули полуразвалившиеся вагонетки, засыпанные кусками хромитовой руды. В другом конце острова я обнаружил еще несколько путей, исходивших от очередного карьера, но тут все уже пришло в полный упадок. Рельсы утонули в сорняках и крапиве, а ржавые вагонетки валялись брошенными по соседству. В ту минуту мне показалось, что вот она, железнодорожная *ultima Thule*¹.

¹ *Ultima Thule* (лат.) — Дальняя Фула, вымышленная страна в шести днях плавания на север от Британии, которую ан-

Стоявшую передо мной задачу я видел так: этот рукотворный мир надо понять и картографировать, выяснить генеалогию машин, конструкций и компаний. Из-за привычки к точности и потребности всегда знать, где я нахожусь, — тех черт характера, которые, может статься, и толкнули меня в паутину рельсов в первую очередь, — я позднее угодил в самую жуткую передрыгу на самой жуткой железной дороге в мире. И все же потребность знать, где я, и тяга изобретать способы побега никогда меня не оставляли. А железные дороги манили так сильно, что любое поворотное событие в моей жизни происходило на их фоне. Именно они довели меня до горя и мучений. Именно на них узнал я, какой может быть подлинная радость.

* * *

«Железнодорожная» одержимость — вещь сугубо личная, хотя сам я всегда ощущал, что в моем случае здесь нет особой тайны. В Британии вообще было очень распространено интересоваться поездами. Рядом всегда стояли другие мальчишки, навтыяжку, преисполненные ожидания, делавшие записи и снимки, — и так по всей стране, на станционных платформах, на запасных путях, на сельских железнодорожных переездах. С ревнивой настороженностью мы обменивались опытом. Порой доносились слухи о необычных находках, о чуть ли не «заплутавших» локомотивах, которые напоминали птиц, сбившихся с курса в штормовую погоду. А ведь шторм и впрямь бушевал, только экономический; он

тичные географы считали краем ойкумены, пределом обитаемого мира; одни в ней видят Исландию, другие — побережье Норвегии или одного из островов Шетландского архипелага.

усреднял, выравнивал под одну гребенку местные железнодорожные системы перед лицом всемирного экономического спада. На тот момент Великая депрессия и все, что она с собой влекла, была нашим счастливым билетом. Мы не слышали приближения бури.

Иногда мы выцыганивали разрешение осмотреть мастерские и депо; субботними вечерами или по воскресеньям мы видели замершие, молчаливые стада могучих локомотивов на запасных путях и тупиковых ветках. Было что-то волнующе-недозволенное в том, что ты карабкался на главную раму паровоза чуть ли не в трех метрах от земли и замирал там перед стеной с циферблатами, полированными рычагами, дроссельными заслонками и запорными краниками, которые управляли всей этой сумасшедшей мощью.

В собственных глазах мы были непосредственными участниками изменений, которые несли с собой эти дымные машины. Мы и не помышляли о том, чтобы стоять на краю платформы и просто метить галочками список номеров. Мы не прощали несерьезности, не выносили пьянчужек или легкомысленных людей. Однако машины не годятся в настоящие друзья; порядочную часть своей юности я действительно провел в одиночестве, катаясь на велике от одной станции к другой. Даже с энтузиастами-единомышленниками я держался, в общем-то, на расстоянии. Неудивительно, что Община завербовала меня с такой легкостью... Впрочем, это еще впереди.

А тем временем учеба в школе медленно, но верно превращалась в сущее наказание. Многие из тех, кого трамвай впервые доставил к школьным дверям 1 октября 1924 года, и десятилетие спустя продолжали быть

несчастливыми. То, как многие наши наставники относились к своим ученикам, заслуживает, мягко говоря, неодобрения. Такое впечатление, что они держали нас за какую-то досадную помеху в их ежедневном размеренном существовании. Педагогический коллектив явно не догадывался, что дети могут иметь какое-то отношение к учительскому труду.

Бывали и исключения. Один преподаватель истории придумал любопытную систему: каждая ошибка, найденная в любом историческом тексте, приносила тебе добавочный один процент к оценке на семестровом экзамене. Надо было видеть, с каким жаром ученики рылись в книжках, хотя и поползли слухи, что кое-кто к этому делу пристегнул родителей. Законы рыночной экономики с фатальной неизбежностью превратили драгоценную информацию в товар. Ушлые школьники выставляли его на продажу по расценкам, которые зависели от вероятности того, что учитель действительно сочтет находку ошибкой. Неплохая тренировка перед выходом в жизнь — в своем роде.

А вот упор нашей школы на классику оставил нам куда менее практичный багаж. Когда мне исполнилось пятнадцать, отцу пришлось даже просить директора, чтобы вместо греческого мне разрешили изучать историю и географию. И все же к выпускным экзаменам я понимал, что мои шансы на успех в академической успеваемости невелики.

Осенью 1935 года отец узнал, что на нашем городском почтамте объявлен конкурс на замещение вакансии телеграфиста и сортировщика почты, и объявил, что мне следует подать заявление. В те годы сын — или, как минимум, я — беспрекословно слушался отца,

и вот шестнадцатилетним юнцом я отправился сдавать экзамен на должность госслужащего. К собственному и родительскому изумлению, я занял первое место по Эдинбургу, и тем утром, когда принесли коричневый конверт с извещением, отец заметил, что школу можно оставить.

Я пошел и сказал об этом нашему директору. В ответ доктор Кинг Гиллис, очень величественная и неприступная личность, зловещим тоном заявил, что я поступаю глупо и ждет меня лишь будущее мальчика на побегушках у мясника — верх позора и общественного презрения. Пришлось на весь день испортить ему настроение, показав письмо на бланке Комиссии по делам гражданской службы. И на этом мое формальное обучение завершилось.

Кстати, я до сих пор считаю, что из меня вышел бы неплохой рассыльный в мясницкой лавке.

В начале января 1936 года я начал самостоятельно готовиться к экзаменам на следующую ступень системы гражданской администрации. До начала работы оставалась еще пара месяцев. Кроме того, я занялся исследованием соседних Лотианских холмов и побережья в этом районе, колеся на велосипеде от одной бухточки до другой, заглядывая в старые доки и на полузаброшенные запасные пути, где, как рассказывали, могут встретиться любопытные экземпляры, последние представители ранних моделей. Эти были репетиции к более поздним, марафонским объездам всего Королевства, когда наш почтамт давал мне коротенький отпуск.

В год, когда во Франции властвовал Народный фронт, в Испании вовсю бушевала гражданская война, а Япония вторглась в Китай, я приступил к еще более

масштабным вылазкам. В 1937-м, выйдя в отпуск с не очень-то интересной, мало радующей работы, я отмахал тысячу миль до Ла-Манша и обратно: туда вдоль Западного побережья, а назад вдоль Восточного через Ньюкасл и Берик. В полном одиночестве. Почти понятия не имея, что творится в Азии, в тысячах миль поодаль. Политически индифферентный. Единственный ребенок в семье.

Меня охватывает странное чувство, когда, оглядываясь на прошлое, я вспоминаю одноклассников, с которыми никогда не был по-настоящему дружен. Скажем, мужчины помладше меня лет на десять вполне могут задуматься, дескать, «интересно, как там поживает такой-то или такой-то из нашей школы?». А вот в моем случае этот вопрос и встать не может, и все из-за тех событий в Китае да Центральной Европе, пока я был подростком. Мне в точности известно, что случилось с каждым из моих товарищей по учебе. Нас было двадцать пять парней в выпускном классе. Только четверо пережили войну. Впрочем, как говорится, нет правды в статистике: по какой-то прихоти судьбы из двадцати двух человек, с которыми я был в Каттерикском офицерском училище, не погиб ни один.

* * *

Карьера почтового служащего начинается с самого низа, как за сорок лет до меня продемонстрировал отец. Я начал сортировщиком писем, и после недельного ученичества меня определили на низшую ступень лесенки гражданской службы, по которой мне предстояло карабкаться сначала до старшего сортировщи-

ка, потом до начальника почтового отделения, ну и так дальше.

Коллега по имени Бобби Кингхорн, с которым я потом пересекался при совершенно других обстоятельствах, взял меня под крыло и показал, что и как нужно делать, чтобы пережить трудовые будни, не особо напрягаясь. Его ценный опыт я и внедрял во время своей смены с семи тридцати утра до половины четвертого, шесть дней в неделю.

Мне поручили вскрывать заграничные посылки и бандероли, чтобы таможенники могли в них покопаться, — а потом снова запечатывать. Кроме того, мне довелось поработать в группе футбольной лотереи, где дюжина человек рассылали миллионы купонов тем, кто мечтал обогатиться, правильно предсказав счет ближайшего субботнего матча. Всю эту макулатуру, жертву законов теории вероятности, надо было отсортировать, перевязать и упаковать в мешки для доставки на вокзал Уэверли, где ее погрузят на поезда, идущие к приграничным с Англией городам и еще дальше на юг.

Сейчас, в пору раннего лета, я колесил окрестности Эдинбурга и взял за правило ежедневно после работы ездить в какую-то новую точку. Жизнь моя складывалась из намотанных педалями миль, одиноких встреч с металлическими тружениками и тихого довольства от очередной добавки к моей классификации мира.

Карты Картографического управления помогли выявить полузабытые железнодорожные ветки или, скажем, угольные шахты, где могла пыхтеть парочка локомотивов, чья модель или даже сам факт существования были известны лишь тем, кто на этой шахте работал. Впрочем, отдельных веток не было даже на

этих картах, и оставалось надеяться лишь на свободный поиск.

Трудясь в почтовом ведомстве, я узнал, что одержимость многолика. Один мой коллега (человек куда более зрелый) стал мне более-менее близким другом. На протяжении последних пяти лет он постоянно оказывался безработным, вот и превратился в коммуниста. Тяга к порядку и совестливая приверженность делу вынудили его составить — в свободное от работы время и на протяжении нескольких недель — картотеку названий всех поселений на территории Британии, которые когда-либо ему попадались на глаза. Чтобы, значит, помочь нам сортировать лотерейные купоны. Трудно себе вообразить менее подходящее занятие для воинствующего коммуниста. Хотя... Может статься, при иных обстоятельствах этот невинный «картотекарь» нашел бы для своей одержимости другую отдушину.

Всякий раз, когда я вспоминаю Венди, на меня вновь дышит атмосфера строгости и скромности, царившая на рабочих местах в тридцатых годах. Она была моя коллега и трудилась в автотранспортной группе, пока не передала мне эти обязанности, когда я выдержал экзамен на канцелярского служащего в конце 1936 года. Однажды, выйдя на обед, она задержалась. Наше уважение к пунктуальности было до того развито, что мне в голову пришли только два объяснения: либо несчастный случай, либо ее похитили. В каком-то смысле с ней приключилось и то и другое: свой обеденный перерыв она потратила, чтобы обвенчаться.

Сейчас моя работа состояла в том, чтобы вести эксплуатационный учет автомашин, на которых выезжали ремонтные бригады телефонистов. Требовалось следить

за чрезмерным расходом горючего, поломками, ДТП... Уже просматривались контуры моего будущего: педантичный контроль за автомеханической базой почтового ведомства, бухгалтерский и прочий учет всяческих мелочей в сфере общественных средств связи и в работе тех людей, благодаря которым все это крутится.

Если бы я не вырвался из этой колеи, о характере поджидавшей меня жизни можно было бы судить по истории с делом, куда я подшивал протоколы совещаний, циркуляры и списки подходящих адресов, когда мы подыскивали место для нового гаража. Демобилизовавшись в 1948-м, я ненадолго вновь устроился на почтамте, оставив за спиной войну, в которой миллионы встретили свою мучительную и бессмысленную смерть, войну, которая раздавила меня психически и физически. Так вот, в первый день возвращения на гражданскую службу мне торжественно передали тот самый скоросшиватель насчет гаража. Его не открывали почти десятилетие. В этой затхлой конторе время остановилось, а вот для меня оно ускорилося вне всяких разумных пределов.

Должно быть, уже в 1936-м в меня просочились какие-то флюиды, мрачные предчувствия, потому что я решился на очередное радикальное изменение. Сейчас, задним числом, я понимаю: при всем моем конформизме я алкал чего-то всепоглощающего, чего-то большего, нежели те раз и навсегда проложенные маршруты, которые могла предложить моя жизнь; я был амбициозен — на свой собственный манер. Итак, я решил записаться на вечерние курсы телеграфистов и телефонистов. Отец отнесся к затее неодобрительно, решив, что это никуда не годится: менять статус слу-

жащего на работу технаря, терять руководящую должность в обмен на голую практику. Мы чиновники, нам не пристало марать руки!.. Но мое упрямство, с которым я так хорошо познакомился позднее, заставило пойти на этот шаг.

Глава 2

Я вырос в мире, где считалось очень достойным быть мастером на все руки, что-то такое изобретать, делать своими руками... Отец хоть и не был инженером-телеграфистом, все равно любил возиться с техникой. В начале 1920-х он со своими друзьями мистером Везерберном и мистером Патриком даже собрал радиоприемник, который они держали в доме Везерберна.

Аппарат стоял на столе в комнатушке, где было полно радиоламп, медных проводов, кабелей, разномастных кусачек, паяльников и отверток. В воздухе вечно витал странный запах горячего металла, клея и канифоли. Мне разрешалось трогать рулоны матерчатой изоленды, но боже упаси было прикоснуться к здоровенным черным переключателям, чьи уголкового указатели стояли напротив каких-то латунных кнопок. Полированное красное дерево оттеняло красоту точеных медных цилиндров, ловителей загадочных, недоступных моему глазу радиоволн, которые заливали эту импровизированную мастерскую. На панели гнездилась целая куча хрупких ламп, тумблеров и верньеров, не говоря уже про полированные латунные клеммы. Под стеклом радиоламп виднелась ажурная металлическая начинка. Аппарат производил смехо-

творное и ошеломляющее впечатление одновременно. Все равно что недоделанная игрушка, — но при этом и художественно выглядящий инженерный инструмент, нечто искусное и солидное. Его лицевая панель была устроена под углом, точь-в-точь как аналой, куда кладут служебник.

Отец надел мне на голову тяжелые наушники, и сквозь гул и шипящий треск далеких энергий я услышал бестелесный человеческий голос. Кто-то чуть ли не с края света бросал слова в пространство, там их непонятно как собирали и пропускали сквозь мои уши — для меня одного.

Много позднее, в самое страшное время, когда казалось, что я вот-вот сдохну от боли в руках людей, которые понятия не имели о моей жизни, кому было наплевать и на меня, и на мою родину, я, признаться, жалел порой, что отец не выбрал себе иного увлечения. Впрочем, после Первой мировой техника еще выглядела могучей и прекрасной силой без намека на угрозу. Кто бы мог подумать, что радиотелеграф, служащий всего лишь для направления эфирных силовых линий в нужное русло, окажется способен причинять страшное горе... Это было волшебное средство для общения людей, и я знал, что с холма Эдинбургского замка вещает станция Би-би-си, чей спокойный и властный голос на аристократическом английском передавал сводки погоды, новости и рассказы о происходящем в Империи.

К моменту, когда я сам стал учиться на радиооператора — а было это в 1940-м, — по отцовскому радио я собственными ушами уже слышал голос Гитлера, ритмично акцентированный бесконечный вопль. Гитлер был не только самым могущественным человеком

в Европе, но и явно безумным. Тем не менее угроза, которой полнился его голос, казалась столь же далекой, как и все прочие радиоголоса.

Я попал в трясины механической зубрежки, сквозь которую наша почтово-телефонная служба пропускала своих работников¹. От нас требовалось наизусть запоминать сложные диаграммы ламповых контуров. Типичное задание на экзамене звучало так: «Воспроизвести принципиальную схему коммутатора № 2А», которая походила на лабиринт. В конце тридцатых радиотехника означала крупные, тяжелые устройства, пусть и не столь массивные и неуклюжие, как самодельный радиоприемник мистера Везерберна. Я понемногу начинал понимать, как они работают и как за ними следует ухаживать. Еще мы изучали телефонию, телеграф и азбуку Морзе. Я прогрессировал, но не находил удовлетворения.

* * *

Бобби Кингхорн, мой наставник по почтамту, был именно таким другом, к которому тянется одинокий молодой человек на своей первой работе: старше, опытнее в вопросах конторской повседневности, с намеком на активную и несколько загадочную жизнь за пределами офиса. Я знал, что он интересовался религией, и даже одолжил ему отцовский экземпляр «Пути в Рим» Беллока, одно из тех повествований об обращении в «истинную веру», которое так по сердцу католикам.

¹ Исторически сложилось так, что в Великобритании развитием средств связи (радио, телеграф, телефон и т.д.) занималось именно почтовое ведомство. Лишь в 1981 году нынешний «Бритиш Телеком» выделился в самостоятельную корпорацию.

К великому раздражению отца, Кингхорн «заиграл» книжку. Впрочем, как впоследствии выяснилось, мой коллега пошел по совсем иному пути, нежели предписывал Беллок.

Единственное отчетливое религиозное воспоминание из моего детства касается того периода, когда я в возрасте не то одиннадцати, не то двенадцати лет состоял в церковном хоре при Англиканской церкви. Помню музыку и то, что хор делился на две половинки: *канторис*, то есть северный клирос, и *декани*, то есть клирос южный. Меня записали в канторис. То, что затем случилось, стало сюрпризом и для меня, и для моих родителей, которые хоть и не потакали, но уже привыкли к моему беспрестанному прочесыванию Британии в поисках необычных машин.

Летними вечерами можно было видеть великое разнообразие поездов на станции Дальри-роуд в западной части Эдинбурга. Там имелась так называемая островная, то есть расположенная между путями, платформа, а уже за путями размещались мастерские и локомотивное депо. Иногда из депо выводили цепочку паровозов, построенных еще до Первой мировой: приземистые шестиколесные машины бывшей Каледонской железной дороги с характерными высокими сухопарниками и до странности тонкими дымовыми трубами.

Как-то в воскресенье, в теплый закатный час, я стоял на этой платформе и ждал, не появится ли какой-нибудь поезд с необычным, экзотическим локомотивом. Старая железнодорожная система перестраивалась на глазах, и кто знает, что именно может пронестись по этим путям... Скажем, один из причудливых паровозов бывшей Лондонско-Северо-Западной дороги?

Ко мне подошел мужчина постарше и завел беседу о поездах и недавних «находках», сделанных как раз на этой станции. Долговязый и тощий, как жердь, в длинном плаще. Я принял его просто за энтузиаста-единомышленника, и некоторое время мы вели ученую беседу о редкостных «залетных птичках» с юга и вымиращающих «породах» Северо-Шотландского нагорья. Незнакомец действительно разбирался в локомотивах. И тут, когда я уже всерьез увлекся его рассказами, он вдруг свернул на религию, да так искусно, что столь резкая перемена темы не показалась надуманной. В те годы мое воображение еще не проводило надлежащую грань между паровыми машинами и божественным.

В наши дни незнакомый мужчина, заговоривший с двадцатилетним мальчишкой в подобном месте, вызовет подозрения известного сорта, но этот человек был далек от плотских устремлений. Ему всего-то была нужна моя душа. Звали его Джек Эварт, и принадлежал он к баптистской общине на улице Шарлотты, известной всему Эдинбургу независимой евангелистской церкви. У него был отлично подвешен язык, и он умел соблазнять словами о любви, сострадании и спасении, этой утонченной смеси из лести и угроз, владеть которой обучен любой сектант. Одинокого и впечатлительного паренька втянул в себя ободряющий и убаюкивающий мир, сиявший в его речи. Тебе обещали братство и никакой неопределенности.

Не прошло и нескольких недель, как я стал членом одной из тогдашних фундаменталистских христианских сект. Доселе я во всем слушался отца. Я оставил школу, поступил на почтамт и был хорошим сыном. Настало время сделать что-то самому и для себя.

В Общине я наткнулся на Бобби Кингхорна. Так вот в чем состояла его тайная жизнь! Подозреваю, что мы были своего рода культом, сектой по типу Плимутской братии или «вифризов», непримиримых схизматиков Свободной пресвитерианской церкви Шотландии. Для молодого человека, ищущего в жизни точку опоры, это был мощный магнит. Сейчас я мало чего могу припомнить, кроме нашей исключительной заносчивости: члены Общины на голову выше всех прочих людей, они уже «спасены», на них не распространяются общепринятые нормы и уж конечно они не снисходят до жалости. Сам того не ведая, я жил теперь в спичечном коробке с людьми, которые считали, что могут управлять миром. В конце концов, разве не правда, что эта церковь, состоящая из одной-единственной общины, смогла позволить себе финансировать собственных миссионеров в Африке и Азии?

Община славилась свирепостью проповедей. Наш пастырь Сидлоу Бакстер, воистину пламенный оратор и певец адских мук, напоминает мне тех «мобильных» проповедников, которые сейчас огребают миллионы на религиозных телеканалах Америки. Перед тем как найти Бога, он работал бухгалтером и обожал классифицировать человеческие слабости. На кафедре его несло, он метал громы и молнии, умасливал и грозил, молил и гневно требовал; его проповеди являлись кульминацией наших духовных бдений, которые во всем остальном были скучнейшей рутинной из объявлений, пения гимнов и чтения вслух.

Удерживали меня там ранее незнакомый тип общения, а также искренняя, пусть и эфемерная, убежденность этих людей в собственной правоте. Я был заво-

рожен звучным мистицизмом Откровения, волнующей безапелляционностью Бытия. Общину я посещал несколько раз в неделю: ради двух воскресных служб и один-два раза по будням. Еще там устраивали тихие, благопристойные мероприятия, проводили чаепития или сборы пожертвований. Ну и, разумеется, как в любой другой секте, имелась своя «политика» в отношении вещей, которые дозволялись, и куда большее число запрещений вроде табу на кинематограф, танцевальные залы, пабы или только что изобретенное телевидение. Они бы и радио отменили, да только уж очень глубоко оно проникло в нашу жизнь.

Те, кто постарше, были до фанатизма озабочены собственным статусом. Если кто-то из новичков или гостей по незнанию плюхался на «чужую» скамью, ее «законный владелец» встречал эдакое посягательство яростной вспышкой негодования. Надуманные ссоры, мелочные обиды, недалекие умишки, все как один. Да, пусть так, но я чувствовал, что меня приняли. Наиболее близким из них по-прежнему оставался Эварт, мой «вербовщик». Я обнаружил, что он прямо-таки специализировался на привлечении молодых людей и при этом искренне интересовался поездами: весьма неортодоксальная форма евангелизма.

Община, тем не менее, с неизбежностью влезла в мои нечестивые наслаждения, сиречь поисковые экспедиции и сбор промышленной информации. К тому же осложнились отношения с родителями, которым все это сильно не нравилось и внушало страх за сына. Возникало впечатление, что чем бы я ни занялся, моя манера не на шутку увлечься гарантированно отчуждала родных.

Все это время я жил с родителями; от меня ждали, что в определенное время суток я обязательно буду дома, что мое поведение не вызовет нареканий. Мы были дисциплинированной шотландской семьей. Мои велосипедные прогулки, исчезновения в поисках локомотивов, моя сдержанная истовость никогда не нравились отцу с матерью. К 1939 году узлы привязанности к ним начали истончаться, между нами пролегла все бóльшая дистанция. Мне уже становилось тесно в родительском доме, и чем больше я замыкался в мире Общины, тем сильнее восставал против установленного отцом распорядка.

За пределами Общины личной жизни у меня не было. Не было и подружек; на почтамте вообще работало очень мало женщин, потому что они шли в сиделки, сестры милосердия или общепит, а на госслужбе было принято оставлять работу сразу после замужества. Была одна девушка по имени Каролина Джордан, дочь наших соседей, которой я помогал с математикой и латынью. Ее отец вроде бы что-то такое планировал на наш счет, но из этого ничего не получилось.

В Общине я познакомился с молодой женщиной, чьи родители тоже входили в нашу паству, и мы как бы начали встречаться — в самом приличном и благопристойном смысле. Ее мать поистине внушала трепет, была сосудом бескомпромиссной нравственности. Танцплощадки, кинотеатры и тому подобные гнездилища греха были для нас закрыты; мы ходили друг к другу в гости, отправлялись на долгие загородные прогулки и загружали себя общинными делами.

Я знаю, что многого недобрал в детстве. Меня ставили в тупик общеизвестные вещи, а мое эмоциональ-

ное воспитание находилось на зачаточном уровне, пока его вообще чуть не пригасили, как фитилек, в лагере для военнопленных несколькими годами спустя. Меня словно вилами подхватывали и перебрасывали дальше: со школьной скамьи на госслужбу, с госслужбы в армию, из армии в ад.

Хотя сейчас я очень далек от того юнца, который с готовностью кинулся в сектантские объятия, моральная убежденность в том, что я «спасен», что я в самом деле нашел Бога, в какой-то степени помогла выжить. Уходя на войну, я был полон идейности и веры. За три с половиной года плена понятие личного авторитета претерпело кардинальную перестройку. В той атмосфере, в условиях чудовищного давления рядовой солдат мог вдруг стать вожаком и опорой, и никто не ставил под сомнение его командный статус. Должно быть, я наблюдал все это через призму незамутненного протестантизма, будто нас вернули в эпоху Ветхого Завета. Я даже ощущал, как растет мой моральный авторитет, что я сам расту как человек, несмотря на голод, грязь и страдания. Отдельные «традиционные» командиры, даже ряд старших офицеров, канули в болото без следа. И уж если благодарить Общину, так это за то, что она помогла мне выковать броню из упрямства, благодаря которой я смог пробиться.

* * *

В молодые годы я не питал интереса к политике и мог с головой погружаться в религиозный восторг и восхищение механикой. Безжалостная природа мира тридцатых не доходила до сознания в полной мере, пока наконец отец не подтвердил мои худшие опасе-

ния. Как-то раз, весной 1939-го, прогуливаясь со мной по приморскому бульвару Йоппы, он вылил мне на голову ушат холодной воды, когда я вежливо поинтересовался его планами на лето. Поскольку война стоит на пороге, заявил мой отец, на отпуск надежды мало.

Когда чуть позднее ввели воинскую повинность, я решил не то что бы уклониться, а как бы подстелить соломки. Сказано — сделано. Я подал заявление в так называемый Дополнительный резерв Королевских войск связи, куда как раз принимали телефонистов нашего почтового ведомства. Вплоть до объявления войны я мог преспокойно нести службу в учебном лагере связистов при Шотландском военном округе.

Вот так и вышло, что 4 мая 1939 года на свете появился связист Ломакс Э. С., личный номер 2338617, место несения службы — замок Эдинбург. Казарма располагалась за северной крепостной стеной, близ батареи Миллз-маунт, откуда открывался великолепный вид на города у подножия и еще дальше, на Ферг-оф-Форт вплоть до самого Файфшира на той стороне залива. В то лето весь «учебный лагерь» состоял из меня и еще одного парня по имени Лайонел.

Мало кому довелось познакомиться с Британской армией более необычным путем. Не было ни муштры на плацу, ни занятий с оружием, не было даже какого-нибудь старшего сержанта, который бы нас гонял и унижал. Мне просто приказали сесть за пишущую машинку и печатать письма; Лайонела научили заполнять интендантские ведомости. Проработав до этого в страховом обществе, мой напарник так и норовил называть штаб ШВО «дирекцией».

В этой довольно мирной атмосфере мы понемногу постигали более суровую военную науку. Капрал по фамилии Мур пытался сделать из нас настоящих связистов, внушая, насколько важна наша работа для батарей береговой артиллерии на северной оконечности Шотландии и на Оркнейских островах, где на базе Скапа-Флоу размещались основные силы британского ВМФ. Мы узнавали, почему так остро стоит задача передавать точные данные: ведь в противном случае орудия из своих далеких скальных укрытий будут работать совершенно вслепую; нам объясняли важность взаимодействия различных родов войск. Позднее мне частенько хотелось, чтобы наши наставники сами лучше усвоили собственный предмет, но пока что война была лишь абстракцией.

После столь цивилизованного взаимного знакомства с армией я потратил остаток дивного лета 1939 года на развитие и совершенствование гаражного хозяйства ремонтного автопарка телефонной службы, на плавание, охоту на локомотивную классику и Общину.

24 августа 1939 года я получил мобилизационное предписание, забежал на работу и закрыл папку с гаражным делом. Попрощавшись с коллегами, сел на 23-й трамвай, по Гановер-стрит доехал до Маунда, а оттуда пешком по Лаунмаркет добрался до замка. Ломакс ушел на войну.

* * *

Миллз-маунт превратился в лихорадочно оживленную базу. Со всей Шотландии прибывали резервисты войск связи, а я рассылал все новые и новые мобилизационные предписания. Мне выдали полный комплект

полевого обмундирования (грубая холстина, тьма всяких ремешочков) — кроме штанов. Штаны были в дефиците. Начальник караула не разделял нашего энтузиазма, когда мы разгуливали по гарнизону как кентавры, гражданские до пояса.

Меня откомандировали на сборный пункт на Джордж-стрит, чтобы я там регулировал беспорядочный поток из будущих связистов всевозможных возрастов и социальных классов, которые хотели записаться добровольцами. Кое-кого направляли от ВВС, из почтового ведомства, с частных радиопредприятий; этим людям предстояло стать технической элитой армии. Меня поразило, какую власть над сотнями растерянных людей может иметь один-единственный человек в форме, если он уверен в собственном авторитете.

Каждый вечер я возвращался в казарму, проходя коридорами внутри черных стен старого замка, который, как и сегодня, нависал над городом, будто изготвившийся к прыжку зверь. Сейчас он воспринимается лишь как приманка для туристов. Времена меняются, здания тоже. С людьми, как я обнаружил, все куда сложнее.

В казарме сутками напролет бубнила радиоточка, чего и следовало ожидать. В 11 утра 3 сентября мы слышали изысканно гнусавый голос Чемберлена, сообщивший, что отныне мы находимся в состоянии войны с Германией.

Через четверть часа по всему Эдинбургу взвыли sireны противозвушной обороны. С высоты Миллз-маунта было отлично видно, что происходит на главных магистралях города. На Принцесс-стрит встали трамваи; словно споткнувшись, застыли автомашины.

Пассажиры с нервной торопливостью стекались к бомбоубежищу на Принцесс-стрит-гарденс, где железная дорога уходила под землю, в туннель. На рельсовых путях воцарилась молчаливая пустота. Не прошло и нескольких минут, как по всей улице остались лишь брошенные машины, кое-где с распахнутыми дверцами. Город стиснула чья-то длань и остановила его сердце: в этой тишине пришла война.

Ничего не произошло, налета не было. Я запутался в ремешках противогаза, и наш старшина, крепыш Бладворт, любезно меня спас. Мы вернулись в казарму — готовиться к настоящим битвам.

Хлынул поток техники и снаряжения. У нас уже был «радиокомплекс № 3», внушительная и довольно мощная рация, с органами управления на высокой передней панели. На ее корпусе из серой штампованной стали не было и намека на красивенькие финтифлюшки гражданских моделей. Этой машине полагалось держать открытым канал прямой связи Лондон — Эдинбург в случае обрыва телефонных линий, и она не делала секрета из своей суровой сути. От нее так и несло войной и чрезвычайными обстоятельствами. Очень шумная была рация, быстро и сильно нагревалась, а мне еще приходилось с ней спать чуть ли не в обнимку, пока наконец не удалось выбить койку в Вестэндском крыле казармы. Пристанище аскета, но здесь хотя бы уснуть было можно. До меня начинало доходить, что выживать приходится не только перед лицом врага, но и в собственном тылу.

Имея это в виду, я подал рапорт о переводе из резерва в действующую армию и предстал перед отборочной комиссией, которая заседала в здании газеты «Шотлан-

дец» на улице Норт-бридж. Отмытый, надраенный до блеска и жаждущий понравиться, я узнал от майора, который со мной беседовал, что на фронтах Первой мировой средняя продолжительность жизни второго лейтенанта не превышала двух недель. Я ответил, что буду настаивать на своем.

* * *

Поджидая, пока прокрутится бумажная машина, я вызвался поработать на Оркнейских островах, где только что, прямо на акватории родной базы, был потоплен наш линкор «Ройялоук» — «Королевский дуб», — унесший жизни чуть ли не тысячи моряков. Это было первое настоящее потрясение с начала войны, и жаль, что мы извлекли не все уроки на тему уязвимости гигантских орудийных платформ. Люди не могли поверить, что в ходе боевой операции враг действительно потопил такой броненосец. «Может, саботаж? Может, где-то что-то недосмотрели сами?» Но конечно же, это была немецкая подлодка. В общем, в местном хозяйстве связистов явно требовалось навести порядок.

Мы вышли из Скрабстерской гавани, что под Терсо, на Северном побережье Шотландии. После самого отвратительного морского перехода на моей памяти (целые сутки ледяного ветра и штормовой качки на борту пятидесятилетнего пароходика, где нечем было даже укрыться, и это в Северном-то море поздней осенью), мы — сержант Фергюсон со своим взводом из двадцати человек, включая меня, — высадились в Стромнесе. Расквартировались и стали помогать с реорганизацией местной системы связи, что эксплуатировала как радио, так и телефон с телеграфом. Сейчас мы были

частью Северного полудивизиона связи, одного из наиболее отдаленных гарнизонов Его Величества.

Мне пришлось по сердцу этот простуженный, открытый всем ветрам остров, где я без выходных трудился в реквизированной по случаю военного времени гостинице. То, что я считал за развивающийся дар изворотливости и выживания в условиях крупных организаций, сделало меня своего рода предпринимателем. Я договорился на кухне, чтобы мне жарили партию блинчиков с рублеными яйцами и варили чай, а потом, ближе к середине утра, продавал это в нашем взводе. Отрывали с руками.

На острове заметнее, что человек вырван из своей среды. Раздавая письма, я обратил внимание, что кто-то всякий раз не может скрыть огорчения, не получив весточки. А еще пара солдат приходила чуть ли не в ужас, увидев конверт со своим именем.

Я подумывал, не перевестись ли на Шетланд, однако 115-мильный переход еще дальше на север на борту какого-нибудь траулера, зимой, да по одному из самых свирепых морей в мире... Нет, это слишком даже для меня. Признаюсь, тяга этого аванпоста викингов была сильна; при каждом воспоминании о его суровых вересковых пустошах и стыллом блеске океана я будто слышал голос матери. Но не умолкали и другие голоса, так что я упустил шанс переждать всемирный потоп на крошечном архипелаге — как потерпевший кораблекрушение, зато в безопасности.

Пришел приказ, и тихим мартовским утром я покинул Стромнесс. Тот же жуткий пароходик, который доставил нас на Оркни, деловито пыхтя, выбрался из гавани в пролив Хой-саунд, где в нас вонзили зубы ве-

тер, ливень и волны. В широченной, защищенной от непогоды бухте Скапа-Флоу, под прикрытием бастиона из нахохленных островков, было еще ничего, но едва мы вошли в Пентленд-Ферт, штормовые порывы принялись мотать парход, как игрушку. Мы с Фергюсоном устроились с подветренной стороны дымовой трубы, где хоть что-то напоминало о тепле, и в самом скором времени промокли до нитки, продрогли до костей и не знали, куда деться от морской болезни. Меня вывернуло прямо на сержантскую шинель, но он словно и не заметил: человек был в другом мире.

Я сделал свой выбор; теперь из меня делали офицера.

* * *

Два месяца кряду я сидел вместе с другим сержантом на одном из верхних этажей Эдинбургского учебного центра, где лейтенант-связист без передышки вдальблывал в нас премудрости работы радистом. Учебником служил «Адмиралтейский справочник по беспроводной радиотелеграфии», теоретический фолиант в двух томах. Кроме того, на каждую модель рации имелось свое наставление, и мы вкалывали как проклятые, во всяком случае добросовестный инструктор спуску нам не давал. В середине мая меня перевели на йоркширскую базу Каттерик, штаб Королевских войск связи.

Доложив о прибытии в казарменном блоке Марналайнс, я тут же лишился воинского звания. Теперь я был просто курсант, и мои белые погоны и белый околыш фуражки с готовностью сообщали всему миру, что перед вами не пойми что: и не офицер, и не рядовой. Тут выяснилось, что один из нас не выдержал. Едва я

обустроился, как уже стоял на плацу с 250 другими курсантами по случаю похорон. Среди старшекурсников случился самострел, когда парня отчислили с предписанием «Вернуть в часть» — позорней не бывает.

После этого отрезвляющего начала нам предстояло семь месяцев учиться, чтобы стать офицерами-связистами, пригодными для войны. Более напряженной и ответственной учебы в моей жизни не было ни до, ни после. Бывшая школа казалась детскими яслями. Мы изучали радиодело, телеграфию и телефонию на таком уровне, какой и не снился родному почтамту. Также нам преподавали командно-организационные аспекты, как применять тяжелую инженерно-саперную технику и даже элементы разведподготовки.

В июне 1940-го британская армия оставила Дюнкерк, и война впервые коснулась нас напрямую. Нам сказали, что ожидается прибытие вывезенных солдат и беженцев; было приказано готовить раскладушки и матрасы в общественных зданиях, спортивных залах, словом, во всех помещениях с большой площадью. Через пару недель напряжение поутихло; армия отступила на удивление организованно, людей удалось сохранить. Туча рассеялась. Наши матрасы не понадобились, беженцев пристроили где-то еще.

Затем война сделала в нашу сторону еще один бесшумный прыжок из засады, будто шторм, зреющий на горизонте. Возникло опасение, что немцы разовьют успех и форсируют Ла-Манш по пятам наших измотанных частей, которые и представляли собой костяк британской армии, крайне ослабленной на тот момент. Тем летом я провел немало ночей дозорным на высокой деревянной вышке, высматривая парашюты

вражеского десанта. Приходилось сражаться со сном, задрав голову, глазеть на ночное небо и надеяться, что не мне достанется увидеть, как скользят шелковые полотнища, затмевая звездные россыпи. Но война и на этот раз прошла стороной, отхлынула от побережья. Ничего не случилось.

Если на то пошло, худшим эпизодом на всем протяжении этой восхитительной учебы можно считать случай, когда из-за меня наш класс оставили на дополнительный час строевой подготовки. За попытку отравить ротного командира.

Капитан Ноулз был буквояд и ярый поборник инспекций: шнурки, канал ствола винтовки, фуражка с изнанки... Как-то раз он решил проинспектировать комплект снаряжения Курса № 13. И вот стоим мы, побритые и постиранные, нагруженные винтовками, противогазными сумками и так далее, а он нам приказывает: «Фляжки к осмотру!» Вытащил капитан Ноулз пробку из моей фляжки, принялся — и повалился навзничь, на руки нашему прапорщику, который, увы, был на редкость хрупким. Достоинство сбересть не удалось.

Неловкая ситуация, а все потому, что я не привык выбрасывать вещи, если их можно опять пустить в дело: повадка, от которой я с ходу открестился бы, кабы знал, чем она для меня обернется впоследствии. А было так: на одном из полевых учений меня снарядили на кухню, и по окончании занятия я не решился выбросить недопитое молоко. И вылил его себе во фляжку. Если вам когда-нибудь понадобится безвредный отравляющий газ, горячо рекомендую молоко трехнедельной выдержки во фляге британского военнослужащего.

У синоптиков есть такой термин: область низкого давления. Здесь, по их словам, холодный воздух вытесняет теплый, зреют ливни и ветра — порой чудовищной силы. К этому моменту я уже несколько месяцев жил на границе такой области. Война продолжала двигаться, и, не желая просто так сидеть и ждать, я решил выйти к ней навстречу. Ближе к концу 1940 года на доске ежедневных приказов появилось объявление о наборе добровольцев для службы в Индии.

Я откликнулся. Не без раздумий, но я во второй раз нарушил старый солдатский завет.

Армия порой умеет держать непроницаемое лицо, и я далеко не сразу узнал, отправят меня в Индию или нет. Тем временем пульс войны участился. В конце декабря 1940 года вдруг срочно понадобилась масса офицеров-связистов, причем без разбора, хоть молодой, хоть неопытный... Курс № 13 быстренько свернули, не дав дотянуть последние две недели. Нас одели в новенькое обмундирование, выдали снаряжение и выпустили в мир уже офицерами. Сейчас меня звали второй лейтенант Эрик Ломакс, л/н 165340, временно прикомандированный к базе Грейт-Лиз, графство Эссекс. Нас отвели на станцию Дарлингтон, рассадили по вагонам со светомаскировкой и рассыпали по всей Британии.

* * *

Проведя несколько недель в дивизионном подразделении связи под началом бодрого полковника, бывшего бизнесмена из Глазго, который оказался превосходным офицером и командиром, я почувствовал, что превращаюсь в настоящего солдата, искренне желаю-

шего защищать Восточное побережье Англии с севера от Темзы, но военное министерство, к сожалению, не забыло мой давешний приступ энтузиазма. Вскоре меня приписали к запасному батальону в Скарборо, первый шаг на долгом пути в Индию, хотя для этого пришлось вернуться назад, на север. Так уж устроены армии.

Наш батальон отвечал за оборону этого уязвимо-го курортного городка, и однажды, как раз во время моего дежурства, война наконец высунула морду и ткнула в мою сторону пальцем. Я разговаривал с полисменом близ ограды общественного парка, когда к привычному вою сирен и гулу самолетов — которые всегда оказывались нашими — вдруг подмешался тонкий, незнакомый свист. Мы с полисменом оказались одинаково проворны, и к моменту падения бомб уже лежали на дороге: он плашмя, а вот я — нет. Живот угодил на мешок с песком, и теперь мой зад торчал как бугорок. Этих нескольких дюймов хватило, чтобы ударная волна, шедшая прямо над грунтом, дала мне шлепка. Будто исполинским веслом приложилась. Полисмен — душа-человек! — был вынужден долго осматривать мое седалище, прежде чем я наконец поверил, что повреждения незначительны.

Мне повезло. От смерти уберегла, наверное, пара дюймов и какая-нибудь причудливая игра давлений в воздухе. А вот многоквартирный дом по соседству похоронил своих жителей. Буря перестала быть простой абстракцией, о которой говорят по радио.

Навестить меня в Скарборо приехали родители, и мы запросто могли погибнуть вместе. Они сняли комнату в домике для приезжих, который содержала некая

мисс Пикап. Я при всякой возможности забегал к ним на обед и так далее. Как-то раз мы втроем сидели в гостиной, когда услышали громкий дребезг, словно на чердаке, через два этажа над головой, кто-то рассыпал ящик с инструментами. Минутой спустя раздался сильный треск. Прямо над нами лопнул потолок, и на ковер хозяйки упал маленький, злобно шипящий цилиндр. Я уже достаточно разбирался в таких вещах и знал, что это зажигательная бомба с магнием и что она может спалить весь дом и нас заодно. Я бросился на задний дворик, схватил садовую лопату, прыгнул обратно в дом, подцепил бомбу и вновь выбежал в сад. За эти короткие секунды «зажигалка» проплавила сталь и свалилась мне под ноги.

Адская хлопушка, небрежно закинутая в безобидный домик... У меня до сих пор стоит в ушах звук, с которым она катилась по крыше, прежде чем прожгла и кровлю, и тонкие перекрытия этажей. Слепое везение, а может, и какой-то дефект в бомбе — но мы спаслись. Зато соседний дом получил такой же гостинец и сейчас всю пылал, да так жарко, что, когда я в компании еще двух-трех мужчин взялся было его тушить, нам пришлось ретироваться. Получив заодно пару-другую электроударов от мокрых розеток.

* * *

Планы по переброске батальона в Индию стали обретать форму. С какой-то роковой неизбежностью мне поручили организацию грузоперевозок, а именно расчет числа товарных вагонов для выдвигания из Скарборо в порт погрузки. Что за порт, где он — ничего не

сказали; я просто делал выкладки и надеялся, что нужные вагоны нам выделят.

Поздним вечером в середине марта 1941-го нас наконец построили во дворе, и мы двинулись по улицам йоркширского курорта, полного обезлюдевших гостиниц, заколоченных магазинов и светомаскировки. Стараясь не шуметь — только вообразите: армия на цыпочках! — молодые парни в тяжелых ботинках, нагруженные брезентом и сталью, с приглушенным шарканьем обтекали городской сквер, молча вскидывая глаза на памятник погибшим в предыдущей войне.

По идее, переброска войск — это военная тайна, но темные улицы были запружены людьми: местными жителями и родителями, съехавшимися со всей Англии. Они стояли, улыбаясь, порой даже слышался смех, однако все это было с надрывом, как всякий раз, когда люди хотят оставить по себе добрые воспоминания и при этом знают, что отныне их любовь к сыновьям подвергнется тяжелейшим испытаниям. Моя мать тоже была в этой толпе и, кажется, помахала на прощание. Больше мы не виделись.

В темноте, походной колонной под сержантские окрики театральным шепотом, мы добрались до станции. Там уже под парами стоял специально подготовленный состав, мягко выдыхавший свои газы. От него исходил характерный запах валлийского угля, чья дымная копоть лезла в нос и пропитывала обмундирование. Окна пассажирских вагонов были затянуты черными шторками; в голове состава стояли три затребованных мною товарных вагона.

Когда мы разместились и разложили снаряжение по сетчатым гамакам, которые заменяли собой багажные

полки, машинист взялся за длинный рычаг регулятора, открывая пару путь в цилиндры, взад-вперед задвигались поршни, горячие газы выплеснулись в медные кишочки котла, потянулись в дымовую трубу, — и локомотив мощно дернул сотни тонн стали и людской плоти.

Покинув Скарборо, состав в полном мраке пересекал возвышенности Кливленд-хиллз, и мы поняли, что нас везут на север. По моим расчетам, мы двигались по Восточно-прибрежной магистрали. Наутро, весь разбитый от бессонницы в переполненном и душном вагоне, я выглянул в окно и узнал вокзал Йоппы, буквально в четверти мили от родного дома — но родители остались в двухстах милях к югу. На душе было невыразимо тоскливо и пусто. Теперь я знал, что конечным пунктом станет Клайд, где нас будет поджидать транспортное судно.

Вот-вот я покину Британию, чтобы воевать в Азии, защищать восточные рубежи Империи. Мне казалось, что я многому научился и готов к чему угодно, но перед отъездом из Скарборо я сделал последний штрих. Обручился с мисс С., той самой, из Общины на улице Шарлотты.

Она остановилась у мисс Пикап; затем приехали мои родители и были поставлены перед фактом. Не могу сказать, что они одобрили мой выбор; тем не менее они согласились принять его как официальную декларацию независимости. Моей невесте было девятнадцать, мне — двадцать один. Мы были эмоционально неразвиты, сущие дети, пусть даже Община и дала нам фальшивое ощущение личной зрелости. Мне казалось, что помолвка — это правильно и нужно. Мы были так юны; едва знали друг друга.

Глава 3

Поезд устало прокатился сквозь эдинбургский вокзал Уэверли, а ближе к полудню уже шел по южному пригороду Глазго, в гуще подъездных путей и фабрик. Под вечер того же дня мы наконец сбросили скорость у Гринока, что на восточном берегу устья Клайда.

Залив, где гулял студеный ветер поздней зимы, был заполнен армадой кораблей и судов. Разглядывая эту длинную вереницу, я чувствовал себя частью некой героической экспедиции. На приколе стояли четыре великолепных лайнера пароходства «Пи энд Оу», интэрнированный француз «Луи Пастер», несколько эсминцев и два линкора. Даже на таком расстоянии, с территории доков, они выглядели колоссами. В памяти всплыло, как в 1938-м я бегал смотреть на линейный крейсер «Худ», когда он зашел в наш Ферт-оф-Форт: нечто потрясающее, палуба длиной с два футбольных поля, серые орудийные башни размером с дом. Чувство собственного ничтожества и безопасности — вот что испытываешь, когда такая огневая мощь на твоей стороне.

После обычной суеты и сержантских воплей товарные вагоны были наконец разгружены, и мы выстроились вдоль набережной более-менее нестройной колонной; обманчивый беспорядок вообще очень характерен для маршевых армейских частей. Однако сами мы знали, что организованы весьма неплохо, ощущали собственную силу. Подошли обслуживающие суда-тендеры, чтобы перевезти нас на борт; мы быстро погрузились, и вот нас уже подбрасывает толчея мелких волн. Сквозь облака брызг тендер стойко держал курс на

один из ближайших лайнеров «Пи энд Оу», который, как вскоре выяснилось, назывался «Стратмор».

Большинство из нас и помыслить не могли, что когда-нибудь доведется побывать на борту этой плавающей викторианской усадьбы. Грандиозное внутреннее убранство, сплошное красное дерево, лак и надраенная латунь... но все эти безупречно отмытые палубы и слепые окна кают производили впечатление нежилого, покинутого дома, словно дипломаты, чиновники и раззолоченные путешественники — словом, обычный пассажирский контингент судна такого класса — в панике очистили борт, завидев молодых пришельцев в мешковатом хаки. Чувствуя себя пиратами, мы вскоре разбрелись по жилым палубам под окрики офицеров и моряков.

На следующий день наш конвой в составе двух десятков судов поднял якоря и очень скромно и тихо, без церемониальных гудков и толп на причальных стенках, вышел в открытое море. Никто нам не сказал, куда именно, так что даже покинув Ферг-оф-Клайд и войдя в северный пролив между Ирландией и Шотландией, мы не знали, где находимся. Понятно было лишь, что идем северо-западным курсом, в Атлантику. Не удавалось даже толком посчитать суда по соседству, потому что конвой рассредоточился. Названия серых боевых кораблей, что порой выплывали из тумана, и те нам не сказали.

Зато в атмосфере этого официально предписанного невежества нам не давали скучать. Каждое утро сотни молодых парней вываливали на палубу для занятий физподготовкой. Спустя несколько дней тонкие подошвы наших гимнастических туфель уже не могли скры-

вать жар нагретой палубы: солнце к полудню поднималось все выше и выше. Мы уже не шли на северо-запад, а, напротив, свернули к югу. Где-то на левом траверзе лежал африканский берег.

Личный состав включился в привычный режим отработки навыков; не прекращаясь, шли занятия и звучали наставления, как обеспечить надежную и эффективную армейскую связь. По вечерам мы старались развлекаться, шаря по сусекам в поисках любых артистических талантов: кто-то пел, другие показывали шуточные пародии, третьи травили со сцены полунеприличные анекдоты, но все удерживалось в рамках благодаря полнейшему отсутствию выпивки. Ну и, разумеется, ни единой юбки на борту; даже в медсанчасти служили только мужчины.

Мы огибали границу Империи, и в разговорах только и звучало, где же нас в конце концов высадят. Как выяснилось, мы готовились встретить не того врага. Нам-то думалось, что придется оборонять северо-западный рубеж Индии от немцев, когда те пойдут через Персию; на ум не приходило никаких других серьезных противников.

Я занимал двухместную каюту на пару с коллегой, молодым дружелюбным офицером-связистом. Как водится среди сослуживцев, болтали о том, чем занимаемся, делились сплетнями про старших офицеров и так далее. Есть люди, кого навязанная компания может довести до истерики, но в моем случае те годы удалось пережить благодаря случайным товарищам, с которыми сводила меня война. Очень ярко помнится, как я впервые в жизни попробовал зеленый имбирь, разделив его со своим напарником по каюте на борту «Стратмора».

Сейчас было не просто тепло, а по-тропически жарко, к тому же сыро и душно. Пришел день, когда объявили, что мы скоро бросим якорь в сьерра-леонском Фритауне. Масштабное событие: ведь большинству из нас в жизни не доводилось бывать за рубежом. Рыльцем не вышли. Зато теперь мы всамделишные путешественники — если, конечно, «заграничным вояжем» можно считать стоянку во фритаунской бухте без права схода на берег.

Местный пирс, к великому сожалению, мог принимать лишь небольшие суда, так что чуть ли не всему конвою пришлось вставать на внешнем рейде, на порядочном удалении от суши. Хотя и не настолько далеко, чтобы я не мог ее видеть, мало того, слышать запах этой страны, грузовых доков, пальмовых деревьев чуть ли не на урете воды: сыроватый запах джунглей, доносящийся вместе с бризом. Будто овощи преют на зеленой жаре, в пыли. На глаза попал далекий-предалекий поезд, идущий куда-то вглубь с той стороны города. Я знал, что здесь работает знаменитая узкоколейка в два фута шесть дюймов, вполне возможно единственная в своем роде во всем Британском Содружестве. Полупрозрачная ленточка белого дыма от локомотива словно застыла в воздухе.

С каждым днем на борту становилось все жарче; влажность и духота начинали действовать на нервы. После физподготовки и учебы нас было хоть выжимай, а берег манил к себе сильнее и сильнее, запах же вообще вызывал раздражение — коль скоро мы не могли проникнуть в город, который его источал. Так что не очень-то мы горевали, когда конвой вновь двинулся в путь. Теперь ближайшим пунктом назначения могла быть лишь Южная Африка.

Где-то дней через пять, когда мы уже подходили к Кейптауну, меня назначили казначеем, и величественный спектакль массовой постановки на якорь посмотреть не удалось: в это время я сидел в трюме и выдавал наличные рвавшимся на берег.

Местные жители расхватывали солдат, уводили по домам, поили, кормили и чествовали как могли. После четырех недель в море это было нечто, доложу я вам. Ну а я, как водится, как-то раз после обеда забрел на кейптаунский железнодорожный узел. Словно наркоман в поисках экзотического сюрприза. Поскольку никто из наших связистов или моряков не разделял моего увлечения, вылазку я делал в одиночку. И действительно нарвался на сюрприз. На станции обнаружился памятник: постамент с маленьким танк-паровозом, построенным на литском заводе «Хоторн энд Ко.» в 1859 году. Это был самый первый из локомотивов, работавших в Капской колонии, и, вполне вероятно, самый старый шотландский паровоз из числа сохранившихся.

Если кому-то покажется странным, что какой-то там древний паровоз вдруг пролил бальзам на душу человека, который месяц болтался в море по дороге бог знает куда, да еще в разгар мировой войны, то я могу сказать лишь вот что: во-первых, вас там не было и вы этого не видели, а во-вторых, уж такое у меня увлечение. Локомотив-ископаемое, милый старичок, чудесный экземпляр отжившей свой век механики, на смешных и хрупких колесах с удивительно тонкими, изящными дышлами. Он выглядел игрушечным, ни дать ни взять изобретение свихнувшегося ученого, и я еще долго любовался им на жаркой африканской платформе.

* * *

Через две недели мы были в Бомбее. Полтора месяца назад меня окружал серый, стылый Скарборо. Сухая, давящая жара, суматоха и цвета Индии с размаху ударили по чувствам. Чудовищная нищета в десятке шагов от гостиницы с кондиционерами, где нас расквартировали. Сотни людей, спящих прямо на улицах, — это я видел собственными глазами каждую ночь. У меня едва хватало сил переваривать впечатления.

Не успел я обжиться в Бомбее и привыкнуть к прогулкам на Малабар-хилле, в оазисе парадного великолепия колониальной Индии, как меня отправили в мою собственную железнодорожную одиссею. «Фронтир-мэйл», флагман местной железнодорожной сети, подхватил меня и унес в глубь континента чуть ли не на 1400 миль, до Равалпинди у подножия Гималаев, туда, где Пенджабская равнина вклинивается в афганские горы. Перечень остановок звучал вдохновленной литанией британского владычества: Ратлам, Нагда, Кота, Бхаратпур и Муттра; Дели, Чандигарх, Амритсар и Лахор; а уже после Лахора оставшиеся 180 миль по Пенджабу до Равалпинди. Всю дорогу я беспокоился об одном: сохранить револьвер; едва мы высадились в Индии, как нам начали твердить, дескать, революционеры пошаливают. Лишиться табельного оружия было все равно что лишиться головы. И все же, несмотря на опасения, я никогда не испытывал чувства, будто мне что-то угрожает, хоть я и ехал один на поезде, набитом сотнями индусов. Вот до чего прочным казалось наше господство.

Мое пребывание в Равалпинди укладывалось в стереотип о жизни британского офицера в колониальной

Индии. Мне выделили домик с верандой, на который обычно претендуют в чине не ниже полковника, а кроме того, приставили денщика и *дхоби*, то есть мужчину-прачку. Раз я только что окончил учебку и владел самой свежей информацией о радиоделе, меня назначили лектором.

Пришлось выучиться сидеть и в седле, коль скоро Британская Индийская армия до сих пор передвигалась верхом. Я уж не говорю про старые модели армейских раций, которые перевозили на вьючных животных вроде мулов. А еще у нас на вооружении были гелиографы, эдакие треножки с круглыми зеркалами, которые в светлое время суток расставляли на линии прямой видимости. Я словно неспешно погружался в прошлое, в архаический военный быт.

Чего не отнять у той армии, так это ее восхитительной традиции давать щедрый отпуск. Когда подошла моя очередь, я решил отправиться в Кашмир. Сел рядом с водителем «автобуса», который на поверку оказался грузовиком с решительно бессердечными рессорами — и это считалось «посадочным местом первого класса», — после чего трясся двести миль по холмам, все выше и выше, в громадное колено Джеламской долины, а оттуда в Сринагар. Вот так я попал в самый райский уголок на земле.

Здесьние горы — невероятные колоссы из камня и снега, сливающиеся с небом; сыну Северной Европы этот дол представился изобильным садом Эдемским: роскошь и доступность фруктов, о которых я и слыхом не слыхивал, повсюду зелень, цветы... Я снял себе небольшой плавучий домик в южной части озера Дал и с неделю жил в идиллии, питался как вельможа, гулял по

Шалимарским садам, а по ночам сидел отшельником на своей лодке под небом, ломившемся от звезд.

Из Пахалгама, расположенного на высоте 2740 метров над уровнем моря, я в компании английских миссионеров отправился еще выше в горы — так высоко, как только мог. Верхом на лошадях, а багаж несли мулы. Впереди лежали Каракорум и Тибет. Два дня мы карабкались по Лиддарской долине, пока, наконец, ко второму вечеру не вышли к Шешнагу, величественному водяному зеркалу на высоте двух миль у самого края мира. Дальше долину перекрывал ледник. Помню, было солнечно и морозно; я ел крутые яйца и запивал водой из топленого льда, а надо мной в воздухе висела льдистая искрящаяся стена.

Ранним утром снег на горных вершинах попадал солнцу под руку и розовел; лишь после этого свет спустился в долину. И еще была тишина. Ни до, ни после я не слышал такой тишины, не испытывал такого покоя. Да, потом выдавались беззвучные минуты, но тяжелые и тошнотворные, пропитанные страхом и насилием.

Кашмир заполнил мою душу. Был как якорь, за который я цеплялся позднее. Не знаю я, что есть на свете абсолютное совершенство, не уверен, что смог бы продержаться и выжить.

* * *

Пришел приказ о назначении: мне предстояло возглавить секцию связи в 5-м артполку, который тогда размещался в Наушере, что на северо-западной границе, милях в восьмидесяти от нас. Полк формировался для «тропической службы», и вот в нем появился шотландец, считавший, что индийских тропиков более чем

достаточно. Впрочем, сейчас я был верноподданным винтиком в военной машине Его Величества.

Наша часть была не новая, имела свои традиции и собиралась еще долго охранять самый романтический аванпост Империи. Не тут-то было. Началась ускоренная мобилизация: как-никак, а полк был недоукомплектован и личным составом, и техникой. Из орудий имелось лишь шестнадцать гаубиц калибром 114 мм, вспомогательного снаряжения не хватало катастрофически. Вскоре после моего прибытия в Наушеру в полк для буксировки его орудий подбросили новенькие тягачи «КТ 4», в обиходе «Спайдер», которые было приказано выкрасить в зеленый цвет. Знающие офицеры предрекали, что теперь нас ждет Малайя.

11 октября орудия и тягачи покинули Наушеру на трех литерных составах. Мобилизация требовала множества поездов, и, видя, насколько они важны для войны, я почувствовал, как меркнет ореол невинности вокруг железных дорог, если не сказать собственно локомотивов. Наконец, 17 октября генерал Уэйкли, командир 7-й Индийской дивизии, принял наш прощальный парад на просторном плацу перед казармами.

На параде Уэйкли объявил, что нам, возможно, придется воевать с японцами. Не припомню, чтобы кто-либо из старших офицеров делился подобными соображениями с личным составом, и это придало мероприятию дополнительный привкус нервного возбуждения.

Генерал добавил также, что горячо советует бить япошек именно по ночам, потому как, дескать, они страдают «куриной слепотой».

На следующий день, покидая Наушеру в спецэшелоне и под марши Линкольнширского полкового оркестра, мы еще не знали, что сами были не лучше слепцов на поводу у незрячих.

* * *

Парой-тройкой дней позже на наших глазах в Бомбейский порт зашел внушительный транспорт. «Орион», флагман британского пароходства «Ориент Лайн», служил еще одним восхитительным свидетельством, до чего война демократична: отныне любые наши передвижения были на спецсоставах и реквизированных круизных лайнерах.

Последним, за полночь, на борт поднялся я — под недобрый взглядом капитана. Дело в том, что мне вверили несколько ящиков со здоровенными оплетенными бутылками, где бултыхалась прозрачная как слеза, чистейшая, неразбавленная, полная своей химической мощи серная кислота, которую мы подливали в аккумуляторы раций, потому как в противном случае сигнал терял силу. Капитану моя кислота была нужна как японская торпеда в борт. Но наш полковой командир каким-то образом убедил его, что от меня с моими бутылками зависит судьба всей дальневосточной Британской империи, и вот, под поощрительные вопли солдат нашей части, судовой кран перенес на палубу сетку с моими ящиками.

После краткой остановки в Коломбо, главном цейлонском порту, мы взяли курс на восток, уже подзревая, как именно называется пункт назначения. 6 ноября по правому борту, с юга, показались зеленые, покрытые джунглями горы; точно такой же берег про-

глядывался и с севера, на левом траверзе. Все ясно: мы идем узким фарватером между двумя громадными кусками суши, то бишь Малаккским проливом. Стало быть, Сингапур.

«Орион» встал в гавани Кеппель-Харбор в южной части острова. Если наш вояж и был военной тайной, то уж прибытие точно явилось секретом Полишинеля. Вдоль причальной стенки выстроился Манчестерский полковой оркестр, со смаком игравший «Англию навсегда» и прочий патриотический репертуар; его трубы, тубы и тарелки заливали все окрестности медным грохотом летних торжеств. Триумф и радость. Не обошлось и без толпы важных лиц: ответственные работники порта, государственные чиновники, военные. Кто-то показал нам генерал-лейтенанта А. Э. Персиваля. Этому человеку поручили превратить Сингапур в «неприступную крепость», и мы прибыли ему в помощь.

* * *

Месяцем позже я обитал в палаточном лагере у обочины дороги на восточном побережье Малайи. Это был симпатичный песчаный уголок со множеством кокосовых пальм в полумиле от морского пляжа. За лагерем простирались нескончаемые плантации каучуконосных гевей с характерной мясистой, глянцевой листвой.

Теплый воздух был постоянно насыщен мельчайшей взвесью влаги, и это даже как-то успокаивало нервы. Полковым штабом служила кучка охраняемых палаток, а мы, три десятка связистов, представляли собой костяк лагеря. Рации работали непрерывно, создавая гудящий звуковой фон. За каждым аппаратом обязательно сидел дежурный оператор с наушниками, готовый

в любой момент начать прием или передачу. Местечко называлось Куантан.

Мы ждали наступления японских сухопутных войск и флота, которые, как нам было известно, сосредоточились где-то за горизонтом — а все потому, что сейчас мы официально находились в состоянии войны с Японской империей.

Ранним утром 8 декабря я спал в окопе, где меня и разбудил посыльный, вручивший листок со зловещим кодом «O ii U». Это означало сообщение наивысшего приоритета. Японцы начали широкомасштабное наступление по всему ДТВД — Дальневосточному театру военных действий; разгромлена база Перл-Харбор на Гавайях, все американские линкоры выведены из строя, Сингапур подвергся воздушному налету, а под Кота-Бару, в паре сотен миль к северу от нас, возле малайско-сиамской границы, японцы высадили морской десант.

Наша военная машина отреагировала мгновенно. На все батареи разослали приказы как с посыльными, так и по радио; наблюдательные пункты и охраняемые объекты усилили людьми. Нервный накал был необыкновенный, и все же война казалась далекой от этого обманчиво мирного тропического лагеря. Она словно сделала последний, особенно глубокий вдох, прежде чем нанести разящий удар — после всех фальстартов и угрожающих предвестий.

Из нашего лагеря мне не было видно ни одной артиллерийской позиции. Рассредоточенные по всему району, они прятались среди зарослей папайи с их тяжелыми желтыми плодами, в кущах алых как пламя делониксов, с интервалом в целую милю, чтобы не накрыло всех сразу огнем главных калибров япон-

ского флота. Я мог выйти из своей палатки и просто гулять или даже кататься на мотоцикле километра на два вглубь, почти забыв о притаившейся смерти, наслаждаясь иллюзией полнейшего одиночества в этом райском месте, в окружении до удивления роскошной флоры. И тут, в сердцевине леса, ты вдруг натыкался на одинокую молчаливую гаубицу за стеной из мешков с песком. Рядом — неразговорчивые люди, нервно тебящие затворы винтовок.

Мы старались постоянно быть с ними на связи. Как оно сплошь и рядом бывает на войне, теоретические знания одно, практика в джунглях — совсем-совсем другое. Если на то пошло, наши громоздкие рации не выдавали так уж много мощности, к тому же листва и стволы деревьев активно поглощали электромагнитные волны, отчего искажалась речь, и сообщения «забивались» статикой. Пришлось перейти на беспроводную связь по проводам. Звучит дико, но на самом деле это была гениальная импровизация, мы окрестили ее «телефонным радио». Мы ставили свои антенны в паре метров под обычными телефонными и телеграфными проводами. В результате радиоволны как бы притягивались этими проводами, шли по ним как по рельсам, и другая антенна, аналогично установленная на приемном конце, могла уловить передаваемый сигнал. Мы обнаружили, что наша армия была составной частью взаимосвязанной системы и что машины обладали лишь ограниченными возможностями. Они по-прежнему нуждались в наших голосах и наших глазах, питавших их «разум» информацией.

Чтобы добиться хорошей разборчивости речи, приходилось все больше и больше опираться именно на

проводную сеть; телефонные линии опутали всю местность. Наш старомодный телефонный коммутатор, которому самое место где-нибудь в заштатной гостинице, смотрелся до абсурда гражданской вещью внутри командного пункта, откуда можно было обрушить на врага жуткий арт-огонь.

Личный состав по большей части состоял из индусов: соседи к западу — сикхи, к востоку — гархвалы. Мы располагались на параллели, рассекавшей полуостровную часть Малайи практически пополам, а Сингапур находится гораздо южнее, будто подвешен под этим полуостровом — и как раз Сингапур являлся единственной причиной нашего здесь появления. Этот остров был Крепостью, «неприступной крепостью», как его всегда именовали в официальных документах; именно на нем зиждилась оборона азиатской части Империи. Цитаделью этой крепости служила прославленная военно-морская база в северной части острова, откуда корабли Королевского ВМФ могли господствовать над Сиамским заливом и всем Южно-Китайским морем. Могучие 15-дюймовые орудия защищали южный берег острова, поскольку именно отсюда ожидался враг: он должен был прийти с моря. Мы надеялись, что наши линкоры уже вышли на поиск и уничтожение японского флота вторжения, а пока что мы всего лишь охраняли соседний аэродром, который был частью сухопутной линии обороны. И тут руководство нашей страны наконец-то осенило, что японцы, чего доброго, возьмутся наступать на Сингапур с тыла, и совсем не обязательно ночью, а с тыла-то остров был более чем уязвим.

Отчетливо помню, что не прошло и нескольких часов после моего прибытия в Сингапур, как один штабист-связник, отменно порядочный и безнадежно наивный человек, взялся мне объяснять, отчего японцы не могут атаковать через Малайю, по суше. Он сказал так: «Там же нет ничего. Сплошные джунгли. Да не полезут они оттуда».

Сейчас и сингапурские штабисты, и уж конечно мой командир-полковник, и каждый рядовой в нашей части — все до единого знали и понимали, что при всем спокойствии окружающей обстановки мы находимся в ловушке. После высадки в Сингапуре нам довелось неплохо познакомиться с Малайей, от Ипо на западе и далее к востоку поперек всего полуострова до нашей нынешней точки. И знаете что? Нет там никаких сплошных джунглей. Зато есть активно возделываемая, плодородная земля с массой отличных дорог для торговцев — или солдат.

Единственное место, где не хватало дорог, — это наш Куантан. Если бы японцы обрушились на нас с севера, отступить пришлось бы по одному-единственному маршруту, на Джерангут, что лежал в шестидесяти милях. Там пришлось бы форсировать реку Паханг, широкий и быстрый поток с паромной переправой к востоку от города. И если это препятствие вызывало определенные опасения, то у нашего Куантана тоже была своя река, как раз к западу — и при взгляде на нее у любого военного волосы становились дыбом. Широкая, бурая, вялая лента воды с паромом из двух проржавевших барж, прихваченных борт о борт, которые перемещались посредством кабельного ворота: примитивная водяная версия той системы, на которой

работал старый эдинбургский трамвай. И вот эта штука должна нас спасти, когда дела пойдут наперекосяк. Тут пахивало кровавой баней и катастрофой; если не убьют на суше, так прикончат в воде. Мы вообще не могли понять, что за люди выбирали для нас это замечательное местечко; какая тут может быть оборона — нам останется лишь хором сдохнуть в своих окопах. Впрочем, приказы как раз того и требовали: оборонять аэродром до последнего солдата. Гартвалам поручалась защита одиннадцатимильного морского пляжа плюс собственно городок Куантан — силами жалкой горстки из четырех рот. У сикхов людей было не больше. На оборону побережья к югу от нас вообще никого не оставалось. И ноль человек, чтобы присматривать за основным путем отхода...

Но мы были солдатами, составной частью великой традиции, так что старались не размышлять о мудрости наших руководителей, а просто готовились сражаться. Кроме того, японцы не казались особо страшными. Ну, наподдали американцам исподтишка, думали мы, но нас-то врасплох уже не застанешь...

В первый раз японцы пожаловали на следующий день после того, как мой сон был прерван сенсационным сообщением. Тем утром мы услышали в небе новую мелодию, не похожую на привычный гул «хадсонов» или «бленхеймов», тех бомбардировщиков, что взлетали с нашего аэродрома. В ясном, чистом небе я увидел волны двухмоторных самолетов с эмблемой восходящего солнца на плоскостях. Три волны по девять машин, словно караван гусей. Они пролетели разок, пролетели другой над тем местом, где, как мы знали, лежал аэродром, — и сбросили бомбы, которые с этого рас-

стояния смотрелись маковыми зернышками. Взрывы смешались с трескотней легких пулеметов и тьяканьем зенитки, когда с земли ответила рота сикхов. На это японские бомбардировщики спокойно и методично обрабатывали их участок в пару заходов, затем развернулись и ушли.

После полудня мы услышали, как стартуют наши самолеты; они делали круг, потом брали курс на юг. В наступившей солнечной тишине показалось, что из-за деревьев доносится шум автоколонны; грузовики явно удалялись. Майор Феннель, второй человек в командовании нашего полка, приказал мне с небольшой группой сопроводить его на аэродром, чтобы разобратся в происходящем.

Мы подъехали к длинной и просторной взлетно-посадочной полосе, которую проложили непосредственно в лесу: все выкопали, затем грунт сравнивали. Летное поле было пустым за исключением нескольких изувеченных крылатых машин, и кругом царил такая тишина, что можно было слышать зудящий гул насекомых в джунглях. Туда я и направился. Сразу нашлись хижины для проживания, лачуга радиопоста была спрятана чуть глубже. Ощущение жутковатое, будто из-под деревьев, из тени, на нас смотрели винтовочные прицелы. Но хижины оказались брошенными, на полу раскидана одежда, среди курток и маек рассыпаны фотоснимки женщин и детей. На радиопосту полнейший разгром, кишочки проводов тянутся из разбитых панелей, под башмаками хрустят стекло радиоламп. А еще мы нашли кружки с недопитым, остывшим чаем — на летном поле, возле одного из самолетов, над которым до этого трудились механики. Я подобрал с земли тощенький

синий конверт с австралийской маркой. Нераспечатанный.

Итак, то место, ради которого нам предписывалось сложить свои головы, было попросту брошено без каких-либо объяснений. Наше командование не сказало нам ничего; летчики перед побегом тоже с нами не советовались. Нас оставили как есть, без прикрытия с воздуха.

С этого момента любой сценарий развития событий выглядел один другого хуже. В тот же день, только поздним вечером, кто-то из наблюдателей на пляже сообщил, что видит японские десантные суда, идущие на север, в сторону соседней деревни. Пока спускалась тьма, я передал на батарее приказ подполковника Джефсона. В наушниках проквакал голос артиллериста, подтвердившего прием, и буквально через несколько секунд гулко ухнула первая гаубица, за ней еще и еще. Всю ночь напролет, словно тараны по массивной, шатающейся двери, били орудия. Временами мы видели короткую вспышку, на мгновение из тьмы выхватывало силуэты каучуковых деревьев, но не более того. Я знал, что батареи работают с переносом огня, бичуя пляж и море, и что десантные суда вместе с солдатами разлетаются на куски и тонут, копируя геометрическую фигуру, изображенную на карте офицера-артиллериста.

Забрезжил рассвет. Мы выпустили более тысячи снарядов. Ответа на ночной обстрел не последовало, и когда мы выслали разведчиков, они сообщили, что подполковник Джефсон молотил по пустому морю. Не было десанта.

Позднее тем же утром я отправился на пляж. Почти всю ночь пришлось дежурить вместе с моими связиста-

ми. Злешние пляжи невероятно красивы, с кокосовыми и мангровыми пальмами, с мелким чистым песком на фоне теплой зелени моря. Я остановился под кронами деревьев, восхищаясь рисунком волн, набегавших на берег. Странно было стоять в тихом одиночестве на безлюдном пляже протяженностью в милю, имея за спиной длинную стену из пальм. В ту минуту мне чудилось, будто я совершенно один жду появления японцев. И тут вновь раздался ворчливый грохот, только более низкий и далекий по сравнению со вчерашним, словно где-то на море бушевала гроза. До только дело было в другом, и продлилось это примерно с час.

Сам того еще не зная, я услышал начало обрушения Британской империи. Там, на море, прямо за горизонтом от того места, где стоял я, два самых могучих, самых непобедимых линкора в мире — «Принц Уэльский» и «Отпор» — вместе со своим эскортом из эсминцев попали под атаку целого роя японских торпедоносцев. У них не было воздушного прикрытия. Подобно сухопутному броненосцу, каким был Сингапур, подобно нам, эти корабли играли сейчас трагическую роль в военной драме на тему «У кого новее, тот сильнее». Они отжили свой век. Помню, как я стоял там, слушая гул разрывов, пока мои товарищи, такие же связисты, сидели на радиопостах, в захлопнувшихся стальных ловушках под мостиками громадных линкоров.

Для нас эти корабли были ключом к спасению. Мы их ждали, но надежда лопнула, когда по радио подтвердили, что оба линкора потоплены буквально в двух часах хода от Куантана. Адмирал Филипс направил свое титаническое оружие к нам, потому что тоже считал, что мы угодили под вторжение, он тоже слышал про

японский десант в нашем секторе. Вот как оно вышло: наш же, свой наблюдатель-паникер невзначай приблизил конец стратегической и даже исторической эпохи. Абсурд. Хиленькие, близорукие, страдающие от «куриной слепоты» японцы уничтожили наше средство устрашения в последней инстанции. Мы впервые все-раз задумались над возможностью разгрома.

10 декабря мы получили подкрепление: несколько броневиков и остатки сикхского батальона 12-го Пограничного полка: закаленные солдаты, отошедшие с севера Малайи. И пусть у нас в Куантане больше не осталось аэродрома, зато появился собственный капеллан, приятный человек по фамилии Пью. Приказом Персиваля всем пограничным и прочим войскам на севере предписывалось принимать бой с японцами, «сковывая и сдерживая продвижение противника», после чего отступать и вновь сражаться. Вскоре и нам предстояло узнать, что лягушачьи прыжки с арьергардными боями куда проще придумывать в штабах, нежели воплощать на деле.

Один из гражданских, который работал в малайском лесном хозяйстве и хорошо знал здешнюю местность, помог нам расставить аванпосты на возможных путях подхода японцев с севера. То и дело поступали донесения о каких-то непонятных подразделениях, шнырявших в джунглях. Каждый день мы ждали боя. Это все была ложная тревога — и непрерывное взвинчивание нервов. Так длилось две недели. Мы встретили Рождество, для нашего полевого лагеря и лесных артиллерийских подразделений Пью провел впечатляющую службу, куда стеклись едва ли не все. Питались неплохо; настреляли себе кучу местных уток.

Конкретно нашей части было предписано держать оборону ныне заброшенного аэродрома. Мы стоически приняли этот приказ, мысленно задаваясь вопросом, а что бы сказал Персиваль, видя, как джунгли отвоёвывают летное поле. Однако через пару суток после Рождества нам приказали немедленно отходить для перегруппировки к западу от реки. Внезапное отступление в таком масштабе обернулось бы хаосом, и бригадир Пейнтер, возглавлявший куантанский участок, выразил решительный протест своему командиру в чине генерал-майора. Предыдущему приказу вернули силу. Я послушно передавал эти противоречивые распоряжения от одного начальника к другому.

Пока длились дебаты, на связь вышел один из наших аванпостов: японцы атакуют, уничтожено несколько наших грузовиков. Сейчас мы, уже без всякого сомнения, оказались в зоне боев, и японцы не хотели нас выпускать. Они попытались разбомбить наш древний паром, но он каким-то образом уцелел.

Первым из моих товарищей погиб лейтенант-артиллерист Таффи Дейвис, с которым мы были дружны еще со времен Наушеры. Он в компании двух связистов, по фамилии Картрайт и Хау, уехал на мотоцикле, сопровождая грузовик с боеприпасами для батареи. Как я потом узнал, он на пару с Картрайтом решил возвращаться самостоятельно. Несколькими часами позже на дороге возле разбитого мотоцикла обнаружили тело Таффи. Он был расстрелян из пулемета, искромсан штыками, без ботинок, краг и снаряжения. Там же валялся велосипед Картрайта, от его хозяина ни следа. Пройдя дальше на север по той же дороге, мы наткнулись на сгоревшие грузовики и три десятка убитых гартвалов.

Тут нам вновь поменяли приказ, в третий раз за последние три дня: все орудия и машины перебросить за реку.

Переправа была чистым кошмаром. Затоп оказался почище предсказанного: вереница техники выстроилась с милю длиной. Солдаты надрывались, переправляя орудия по четыре ствола за раз через грязно-бурый поток. Я сидел на мотоцикле в самом тылу этой цепочки, мечтая, чтобы грузовик передо мной наконец тронулся. Помню смертельный страх, что какой-нибудь случайный японский бомбардировщик вдруг заметит плотную колонну из мишеней.

К трем часам ночи первого дня 1942 года, в темноте, подсвеченной лишь керосиновыми светильниками да лампочками, которые мы запитали от автомобильных аккумуляторов, реку пересекла последняя боевая единица куантанского гарнизона.

Едва переправа завершилась, объявили сигнал сбора и переключку. Я с ужасом обнаружил, что пропало одно из моих отделений, три связиста на грузовике. Кинулись искать, надеясь, что они форсировали реку с другими машинами, но на этом берегу обнаружить их не удалось. Сев с сержантом Вильсоном на мотоциклы, мы с паромом вернулись обратно. Двигатели завели, лишь когда оказались на той стороне. Не включая фар, двинулись в сторону Куантана, Вильсон метрах в двухстах за мной, оглушительно стрекоча мотоциклетными моторами в лунном свете. Я надеялся, что подслеповатые в темноте японцы не развили в себе компенсирующее свойство: особо тонкий слух. Со стороны просек по обочинам, с обширных каучуковых плантаций не доносилось ни звука. Если не считать пары брошенных

машин и следов от покрышек на темной глине вдоль вымазанной гудроном щебенки, никаких признаков того, что мы хоть когда-то здесь были. Рассекая этот пустынный ландшафт, я скорее чувствовал кожей, нежели слышал море. Я знал, что впереди, совсем близко, враг передвигает свои танки и велосипеды. Причем до сих пор не видел ни одного японского солдата. Той ночью мне повезло, и пусть я не смог найти ни исправного грузовика, ни кого-либо из наших, с японцами я тоже не пересекался.

Мы вернулись и в последний раз воспользовались паромом. Через несколько часов объявилось и пропавшее отделение: они, видите ли, ошиблись местом сбора и теперь ждали нагоняя, но я просто не мог подобрать нужных слов. Подорвав кабельные ворота и понтоны, мы отступили к аэродрому, что лежал в шести милях в сторону. Два часа спустя к переправе вышли японцы, а еще через двое суток аэродром подвергся массивной атаке по всему периметру. Но я к тому моменту был уже на пути в Джерангут, в составе медлительной колонны из тягачей, орудий и грузовиков. Из-за спины доносилась неумолчная ружейно-пулеметная пальба и разрывы снарядов. Обескровленный пограничный батальон под командованием подполковника А. Э. Камминга героически вел арьергардные бои, давая нам шанс унести ноги.

* * *

Отступление вышло скомканным, трех- или четырехдневные марши вдруг сменялись приказом развернуть орудия, открыть огонь в поддержку чей-то пехотной контратаки где-то в нашем тылу, после чего

бригада выдвигалась вновь. Мы знали, что выходим из ловушки, направляясь в очередной, уже гигантский, котел, а еще нам было известно, что пушки серьезного калибра, размещенные в пункте нашего назначения, смотрят на море, в противоположную сторону от врага.

Был случай, когда я ехал в грузовике по длинной прямой дороге сквозь каучуковую плантацию и размышлял о том, до чего тоскливо в глазах отступающего солдата выглядят все эти бесконечные, однообразные акры каучуковых деревьев. Вдруг перед нами возник самолет, летевший очень низко и прямо нам в лоб. Он сверкал на солнце серебряной каплей. Мы тормознули и попрыгали в придорожную канаву, прямо в черную вязкую жижу у корней деревьев. Самолет сбросил несколько бомб, одна едва не угодила нам на голову. Вновь я испытал шлепок невидимой ладонью взрыва. Второй раз в моей жизни смерть промахнулась на волосок, и своим спасением я был обязан геологии: ближайшая бомба дала камуфлет, то есть глубоко зарылась в грязь и лишь потом взорвалась. Окажись грунт по тверже, не писал бы я эти строки.

Мы достигли Сингапура за неделю до того, как подорвали дамбу, соединявшую остров с Малайей. По дороге пришлось продирааться сквозь толпы перепуганных малайских и китайских крестьян, которых гнал страх перед наступающими японскими частями. Улицы города тоже кишели беженцами. Никто не знал, сколько их здесь; мне сказали, что не меньше полумиллиона. Солдаты жили прямо в машинах, на которых сюда добрались. В воздухе постоянно висел всепроницающий смрад гнили, испражнений и тревоги: запах разгрома.

И все же нас тут было чуть ли не сто тысяч, хорошо вооруженных и готовых воевать. Что до меня, то вашего покорного слугу затребовали в Форт-Каннинг, штаб генерала Персиваля, расположенный в южной части города: они очень нуждались в офицерах-связистах. Это и был знаменитый «Баттлбокс», подземный штабной бункер. Зашел я в эту «коробочку» — и вышел только через три недели. Для меня осада Сингапура свелась к потоку полуразборчивых радиопризывов о помощи да скучным сводкам с хроникой катастрофы.

Все это время я провел в основном под землей, выслушивая и передавая приказы и сведения, рассылая указания о переформировании частей в отчаянных попытках предотвратить неизбежный коллапс. 8 января японская артиллерия открыла шквальный огонь по всему побережью пролива Джохор; на рассвете 9-го числа я услышал, что они высадились на северо-западе острова. Наши же войска были в основном на востоке. За трое суток японцы оттеснили нас к югу и заняли поселок у высоты Тима. Возле военно-морской базы на северном берегу были сосредоточены огромные запасы топлива, и последние двое суток вся эта возвышенность, которая господствовала над островом, была затянута черным дымом. Гора словно превратилась в действующий вулкан.

Впрочем, я и так-то почти не видел дневного света: мы дежурили по восемнадцать часов в сутки, а спали прямо на полу командного центра, между рациями и телефонами. Бункер представлял собой цепочку проходных комнат, так что посыльные и нарочные постоянно сновали через наш радиопост, переступая через спящих. В общем, мы практически так ничего и не

увидели вплоть до самого конца, а то, что слышали, было отчаянно запутанным и противоречивым. Нам было известно, что японцы захватили нефтехранилище и открыли сливные вентили; что над головой ежедневно проносятся их самолеты, безнаказанно бомбя и расстреливая из пулеметов наши позиции. Крупные суда покидали гавань Кеппель-Харбор, вывозя гражданских; в городе орудовали дезертиры, число которых росло день ото дня. Ближе к концу командиры не могли даже отдавать осмысленные приказы, потому что поступало слишком мало информации. Несколько раз в коридорах Форта или на нашем пункте связи я видел генерала Персиваля, высокого, тощего человека, с беспросветным, подавленным взглядом; он уже сломался. Вот-вот его имя станет чуть ли не синонимом самого катастрофического разгрома за всю историю Британской армии.

В воскресенье, 15 февраля 1942 года, один из коллег-офицеров сказал мне, что готовится капитуляция. Ранним вечером того же дня старый форт накрыла мертвая тишина. Бункер затопила волна депрессии и бесконечной усталости. Мы на своем пункте связи раскидали матрасы прямо поверх кабелей и проводов, и все попросту повалились спать. Будто лопнула пружина, державшая нас на взводе в течение нескольких недель.

Я проспал часов десять, а следующим утром вышел наружу и увидел, что на холм медленно взбираются четыре машины, на крыльях кузова по вымпелу с эмблемой восходящего солнца. Их седоки сидели как куклы, можно сказать, по стойке «смирно», прижав руки к бокам. Кавалькада подкатила к главному входу, из машин

вышла группа японских офицеров с длинными мечами в черных ножнах, свисавших с поясов их темно-зеленых кителей. Так впервые в жизни я увидел японских солдат. Они властно и уверенно зашли внутрь Форта.

Теперь Малайзия принадлежала этим людям. Именно они главенствовали сейчас на морях от Индии до Полинезии, поставив на колени по меньшей мере три европейские империи в Азии. Я был их пленник.

Глава 4

Через день после того, как я увидел завоевателей, оставшимся в городе британским войскам было приказано пешком следовать в Чанги, на восточную окраину острова, где находилась тюрьма и прилегающая к ней небольшая деревня. Расстояние — пятнадцать миль.

Мы вышли из Форт-Каннинга, захватив с собой лишь то, что могло поместиться в вещевой мешок. Японцы разрешили также взять несколько автомашин. Наша колонна растянулась на полмили; по ходу следования мы видели и других солдат, старательно маршировавших в ногу. Все эти группы с разных сторон подтягивались к главной дороге, ведущей в Чанги. Вскоре образовалась плотная, колыхающаяся масса нагруженных вещами людей, пытавшихся сохранить остатки дисциплины и чувства собственного достоинства. Британская армия на пути к унижению.

Разгромленное войско — странная вещь. Наша мощная машина уничтожения сейчас послушно исполняла команды врага, которого мы даже не видели: в Чанги никогда не было более пары дюжин японских

охранников; во всяком случае, такое возникало впечатление. Когда мы добрались туда, то были распределены по жилым зонам, наши повара со своими котлами обустроились в крошечных бытовых кухнях местных лачуг, чьи хозяева куда-то пропали; шел централизованный сбор продуктов и медикаментов. «Не дать людям сидеть без дела» — вот чем сейчас были одержимы наши командиры, так что стрижка газонов, очистка выгребных ям и возня на огороде вскоре стали основным занятием бойцов. Как грибы после дождя возникали мелкие мастерские. Я заказал деревянный пенал-очешник для своих очков — одна из самых удачных покупок за всю мою жизнь. Каждый знал, кто его непосредственный начальник. И вместе с тем настоящая, единственная цель и первопричина существования нашего могучего коллектива — оборона военно-морской базы и британской власти на Дальнем Востоке — исчезла, как задутый ветром огонек.

На место былой движущей силы пришла — или скорее даже вползла — неопределенность: негативная сила, питавшаяся тревогой и страхом. Раньше нас толкала вперед пружина агрессии; сейчас тянуло назад нечто вроде резиновой ленты из нервозности. Мы по-прежнему хотели сражаться, однако нашу молодую энергию горечи посадили под замок. Развилась та самая всепроницающая, доминирующая особенность жизни в плену: чувство вечной тревоги, предельной беспомощности, разочарования и крушения всех надежд. От этого тягостного бремени не убежать, оно преследует тебя даже во сне. Так что время мы заполняли тем, что дисциплинировали себя и своих подчиненных, все как один злые и замученные бездельем.

Три недели кряду царил странный, жутковатый «мирный» период, в течение которого я лично не видел ни одного японца. У нас даже в Чанги до сих пор имелось несколько револьверов и винтовок, мы по-прежнему были армией, тем не менее бесцельно шатались из угла в угол, поджидая, когда же нами займутся наши хозяева. Чуть ли не первым приказом они лишили нас чувства времени, по которому мы сверяли свой распорядок: было объявлено, что отныне мы живем по токийскому времени, то есть на полтора часа вперед. Соответственно теперь приходилось вставать раньше, к тому же затемно. Лично я ко времени отношусь с пиететом (в моих глазах даже график следования поездов может быть элегантным); я испытываю потребность точно знать, когда и что именно можно делать. За «воровство» времени я их возненавидел. Это стало делом принципа, камнем преткновения между мной и японцами.

Пока что я жил с другими связистами бывшей «Крепости» в небольшой хижине, откуда открывался великолепнейший вид на море, что лежало к востоку: необъятное, завораживающее пространство, в котором мы потерялись. Здесь, на побережье, словно раскинулась громадная свалка из десятков тысяч военнопленных из нескольких союзнических армий — без какого-либо шанса поднять паруса и отчалить.

Однажды утром наше странное, псевдонормальное существование получило серьезную встряску. Полковник Поуп, командир связистов в южном оборонительном секторе, заявил, что многие никогда не видели японцев, что после капитуляции нас предоставили самим себе и что из-за этого у людей появилось обманчивое чувство безопасности.

Выяснились, что он опросил целую группу военнопленных, которые только что прибыли в Чанги, и они рассказали ему, что произошло в госпитале на улице Принцессы Александры, главном военном госпитале Сингапура, когда в него ворвались японцы буквально за несколько часов до сдачи города. Они убили врачей, санитарок и раненых, даже тех, кто лежал на операционных столах. Остальных выволокли наружу и закололи штыками.

У полковника имелось для нас еще одно сообщение, над которым он призывал задуматься. Эту историю ему поведали пленные, доставленные с Суматры и соседних островов. Непосредственно перед капитуляцией Сингапура из города вышла флотилия малых судов с медперсоналом и ранеными. Один из этих транспортов был потоплен близ острова Банка. Среди выживших находилась значительная группа австралийских медсестер, которые вплавь добрались до берега, где их окружили, приказали вернуться в море и расстреляли из пулеметов в пене прибоя. По сведениям полковника, погибло несколько десятков женщин.

История про медсестер заставила нас пересечь очередной порог, войти в новую область дурных предчувствий. Мы еще не были готовы — да и с чего бы? — принять тот факт, что нам, возможно, придется на себе узнать пределы человеческой жестокости. Но вот медсестры... Они у военных в особом почете, окутаны ореолом романтического благоговения, так что их гибель выглядела нереальной, непостижимой. Резюмируя, полковник был лаконичен: «Мы почти не видели японцев. Это еще не повод считать их безвредными».

Вскоре после этого «урока бдительности» японцы организовали церемонию группового унижения поистине библейских пропорций. Всем поголовно, кроме лежащих больных, было приказано выстроиться вдоль дорог Чанги. Пятьдесят тысяч человек, сплошной шеренгой по два, на мили и мили вокруг лагеря. Мимо прокатил кортеж штабных машин, во главе которого ехал грузовик с киноштативом в кузове. Шла съемка пропагандистского фильма для имперских нужд, а мы были статистами. Уверен, что мы произвели яркое впечатление: сонмище мужчин в военной форме, которая уже начинала смахивать на обноски, не говоря уже про тех, на ком остались лишь грязные тропические шорты да майки, — и вот мы стоим навтыяжку, приветствуем по стойке «смирно» кучку японских генералов, вальяжно катящих мимо в конфискованных британских джипах.

Ломка воли армии требует времени. Каждый новый виток затягивания гаек воспринимается как унижительное ограничение; хотя теперь я понимаю, что они укоротили нас очень быстро. К примеру, в конце марта японцы объявили, что отныне командирам запрещено носить офицерские знаки различия. Вместо этого над левым карманом форменной рубашки требовалось нашить звездочку. Другими словами, они хотели сказать, что им плевать на наши тяжким трудом заработанные регалии, что в лагере были просто военнопленные такой-то и такой-то разновидности.

Если на то пошло, весной нам дали ясно понять, что все мы представляем для них интерес лишь с одной точки зрения: как рабская сила. Перед этим согнав нас в гурт, сейчас они принялись «отщипывать» от него

нужные им кусочки. Японцам все чаще требовались бригады для работы в Сингапуре, а в начале апреля свыше тысячи человек были «призваны на заморскую службу». Этот первый контингент невольников был отправлен неизвестно куда под командованием британского полковника.

Словно желая подчеркнуть, до чего мало мы теперь значим, а может, ради очередного оскорбления, судьба распорядилась так, что 14 апреля я в компании других связистов стоял на улице рядом с нашей хижинкой, — и тут из-за горизонта показалась чудовищная армада японских боевых кораблей, шедших курсом на запад. В кильватерном, парадном строю, с гордо поднятыми стволами орудий, с залихватски запрокинутыми дымовыми трубами, серые титаны шли мимо нас через Сингапурский пролив. Казалось, веренице не будет конца: линкоры, крейсера, эсминцы, канонерки и прочие суда помельче; целый боевой флот, хозяин морей, дефилировал перед «Крепостью» в Сингапуре. В памяти всплыло, до чего глубоко я был потрясен зрелищем наших боевых кораблей в устье Клайда чуть больше года назад, до чего непобедимыми мы тогда казались... И особенно горько было видеть эту вражескую армаду стоя на клочке травы, с криво нашитой звездой на прохудившейся рубашке.

Когда японцы в конце месяца объявили набор в бригаду для некоего «проекта» в городе, я вызвался добровольцем. В который раз нарушил золотое правило, вековую солдатскую мудрость, — но я был уже как на иголках, да и неведомое тянуло больше, чем беспросветность Чанги.

Нас отвели в бывший полевой лагерь ВМФ, что располагался в Кранджи, на севере города. Двадцать миль пешком. На протяжении следующих двух месяцев мы каждое утро выходили из этого лагеря, затем по кварталу Букит-Тима, мимо фордовского автозавода, где Персиваль подписал официальную капитуляцию своего гарнизона, поднимались на собственно гору Тима.

Однажды утром, покидая лагерь, мы на обочине дороги увидели шесты с отрубленными головами. Шесть китайцев. На расстоянии они выглядели масками для Хеллоуина; теперь каждое утро мы ходили мимо них. Уже давно носились слухи, что японцы зачищают остров от гоминьданских партизан. Сейчас я с трудом могу объяснить, отчего зрелище поистине средневековой дикости не особенно нас потрясло. Сработал иммунитет: эти головы были трофеями внутреннего азиатского конфликта, мы же являлись британскими солдатами — и даже не сообразили, что жестокость, спущенная с цепи, не будет разбираться, кто есть кто.

Нам предписывалось очистить гору от плотных зарослей леса и кустарника, все выкорчевать, убрать лианы и прочие ползучие растения, проложить дорогу до вершины, после чего срезать макушку этого конуса и выровнять площадку. Здесь японцы хотели устроить военный мемориал, заметный из любой точки острова. Я рад, что законченный курган так и не попал мне на глаза, даже на фото. Его взорвали в 1945-м. Впрочем, работа подарила мне восемь недель относительной свободы, когда я не был занят раздачей указаний землекопам из Брэдфорда, чтобы они поумнее рыли канавы, иначе стоять придется по колено в грязи. Происходящее пока мало напоминало страшные вещи, которые

могут случиться в плену: японцы попросту воспользовались британской иерархической цепочкой, мы делали порученное дело, и они не вмешивались. Однако сам труд был тяжелым: выкорчевка длинных корней тропических фруктовых деревьев требовала огромных затрат энергии, напряжения всех сил. Расщепленный бамбук рассекал кожу не хуже опасной бритвы, а раны тут же загнивали. Можно запросто вывести из строя кучу людей, если заставить их долгое время заниматься такой работой; нам раньше и в голову не могло прийти, что кто-то именно так и поступит.

Однажды вечером я покинул лагерь в компании бывшего шанхайского полисмена по фамилии Уайлд; тот некстати оказался в Сингапуре и угодил в плен. Нам нужно было встретиться с неким Мендозой, португальцем и, следовательно, нейтралом. Нас ему отрекомендовал китайчонок Лим, у которого мы покупали яйца. В темноте, соблюдая предельную осмотрительность, мы пробирались сквозь сады и плантации бывшего жилого квартала, отведенного европейцам.

Мендоза был гражданским лицом и жил в симпатичном бунгало на главной улице, взбиравшейся на горю-мемориал. После настороженной, протрупуывающей беседы ни о чем Уайлд аккуратно выложил на столик золотое кольцо и озвучил наше предложение. Мы хотели найти местных китайцев, связанных с гоминьданом, чтобы они тайком переправили нас в Китай или хотя бы сопроводили до Бирманского тракта, который ведет в Китай через Сиам и Бирму.

Безумная затея и куда более опасная, нежели я мог себе представить на тот момент. Однако Уайлд обладал уникальным лингвистическим даром, и китайский был

одним из его талантов. Вот мы и решили, что это обеспечит нам «зеленый свет».

Потихоньку начинало доходить, что ограда лагеря военнопленных была в той же мере психологическая, как и физическая, что мы, вообще-то, можем милую за милей бродить по ананасовым плантациям Кранджи, ни разу не наткнувшись на японца, что мы можем продавать ворованное японское добро местным китайцам — но идти некуда: к северу лежал длинный язык Малаккского полуострова, отрезанный от Бирмы и, стало быть, от Индии высокими горами с непроходимыми джунглями; к югу и западу лежали оккупированные голландские колонии Ява и Суматра; на востоке одно лишь море.

У нас за лагерем имелся невысокий холм. Каждый вечер, под самый закат, на него взбирался один здоровяк из наших, делая это подчеркнуто театрально. Картинным жестом прикладывал ко лбу ладонь козырьком, будто разведчик в пантомиме, медленно и торжественно оглядывал весь горизонт, после чего замечательно громким басом возвещал: «Хоть бы один ср..ный корабль».

На свете есть религии, где признается существование Чистилища. Так вот, если для него характерна такая же смесь висельного юмора и отчаяния и если там впрямь обитают призраки, зависшие между жизнью и адом, я без труда узнаю это место, когда там окажусь.

В июне мы закончили земляные работы, и нас возвратили в Чанги. От Мендозы ответа так и не последовало, а сейчас он тем более не мог с нами связаться. Вернувшись в лагерь, я обнаружил, что численность пленных уменьшилась. За время нашего отсутствия

процесс удушения успел сильнее затянуть свою петлю. Сейчас людей забирали активно, по несколько тысяч человек за раз. С сингапурского вокзала отправили двадцать пять крытых товарных вагонов, набитых пленными; три тысячи австралийцев были вывезены морем; еще тысячу отослали непосредственно в Японию. С каждым месяцем все больше и больше.

Мы жили в мире полупроверенных сведений, обрывочных новостей и слухов. Ходившие по лагерю рассказы лишь усугубляли вечную тревогу. И ты отчаянно цеплялся за надежду, что уже предел, что хуже не будет.

Стали поговаривать, что такая масса рабочих рук требовалась для некоего грандиозного проекта. Японцы строили железную дорогу. Среди имперских штабистов выискалась особь, придумавшая способ избежать встреч с союзническими эсминцами и подлодками в малайских водах. Как мы догадывались, японцам нужно было перебрасывать военные грузы из Японии в Бирму и далее в Индию, куда они уж наверняка не преминут вторгнуться. И вот они решили проложить железную дорогу между Бирмой и Таиландом, маршрут до того сложный, что, как мне было известно из книг, наши колониальные британские инженеры в свое время отказались от этой затеи: она требовала просто нечеловеческих усилий. Я поверить не мог, что японцы на это решились; и уж полной неожиданностью стал тот факт, что теперь меня, подневольного раба, заставят строить дорогу для машин, которые доставляли столько радости, когда я был свободным человеком.

Нашей плененной армии окончательно пустили кровь на исходе лета. Для начала нас обезглавили. Генерал-лейтенанта Персиваля, губернатора Сингапура

сэра Шентона Томаса, а также всех офицеров от подполковника и выше вывезли в один прием; в общем и целом пропало четыре сотни человек из старшего командного состава. Куда их отправили, зачем — нам, понятное дело, не сказали.

Сейчас от нас осталось порядка восемнадцати тысяч. Назначили нового коменданта малайских лагерей, генерала по имени Фукуэ Симпэй, который сразу отменил приказом, что каждый пленный должен подписать «обязательство не совершать побег». На это согласились лишь четыре человека. Тогда, чтобы показать серьезность своих намерений, Фукуэ расстрелял четверых пленных на пляже близ Чанги. Они якобы пытались бежать. Разумеется, до нас донесли все жестокие подробности — Фукуэ позаботился. Поздним утром 2 сентября он приказал полковнику Холмсу, старшему из оставшихся командиров, прийти на пляж с шестью своими офицерами. Приговоренных привязали к врытым в песок столбам; расстрельный взвод из солдат Индийской национальной армии, прояпонского формирования из перебежчиков и предателей, выстроился картинным полукругом. Тщательно срежиссированная мизансцена политического театра предписывала, чтобы британцев расстреливали их бывшие подданные. После первого залпа ни одного убитого, лишь раненые. Лежащих на окровавленном песке солдат неторопливо добили одиночными выстрелами.

Не прошло и часа, пока лагерь переваривал эту новость, как японцы приказали всем пленным перебраться в бывшие казармы Селаранг по соседству от Чанги. Тех, кто не придет в предписанное место к восемнадцати ноль-ноль, ждет уже известный пляж. Под

палящим солнцем мы проковывляли две мили, таща на себе наших больных, тяжеленную кухонную утварь и припасы.

Нас ждал современный гарнизон с казармами, построенными для одного-единственного батальона Гордонского хайлендерского полка: семь трехэтажных зданий, возведенных буквой П вокруг плаца. Вскоре на этой площадке, рассчитанной на 800 человек, набилось свыше шестнадцати тысяч, причем еще две тысячи серьезно больных до сих пор оставались в Робертсовском лазарете. Дисциплина и порядок требовали, чтобы каждому подразделению было предоставлено определенное пространство. В результате занят оказался каждый квадратный дюйм площади. Тела людей устилали плац сплошным ковром, пленные бок о бок сидели на плоских крышах, переполняли балконы, лестничные пролеты и собственно казарменные помещения. Мы раскопали гудронированную щебенку плаца, чтобы устроить дополнительные выгребные ямы, но ничто не могло избавить от всепроницающего смрада человеческих экскрементов и пота плотно сбитой людской массы. По цепочке передавали кусочки еды. Готовить пищу было негде, приходилось импровизировать. На население целого городка имелась лишь одна водяная колонка.

Вечером вторых суток, которые также совпали с трехлетней годовщиной начала войны, австралийцы организовали концерт. При свете масляных плашек их «хор» выстроился вдоль одной из сторон плаца и спел «Вальсирующую Матильду», невеселый гимн оторванных от родины людей. Припев подхватывали все, шестнадцать тысяч голосов заполняли темноту за ка-

зармами мелодией, где слились мечта и бунтарский дух. Вслед за «Матильдой» последовала «Англия навсегда», и, наконец, музыкальный вечер завершился потрясающим «Краем надежды и славы». Что бы сказал Элгар, услышав, как тысячи голосов поют его волнительный марш в кругу света, за границей которого расхаживают японские караульные с примкнутыми штыками?

На следующий день стало ясно, что наступил предел. Наши военврачи наперебой перечисляли нависшие опасности; хуже того, японская комендатура уведомила, что намерена перебросить к нам всех больных из Робертсовского лазарета. То есть попросту устроить эпидемию, и пусть все зараженные перемерут. Полковник Холмс издал приказ, чтобы мы подписали обязательство. Мы подчинились и выстроились в очередь к столам. Документ гласил: «Я, нижеподписавшийся, торжественно клянусь, что при любых обстоятельствах не предприму попытку побега».

И нас вернули в Чанги. До этого я более месяца пользовался определенной свободой, но Селаранг стал переломным этапом. Это был важный виток в спирали капитуляции и жестокости. Отныне все смотрелось в ином свете. А 25 октября, уже неоднократно побывав свидетелем того, как наши ряды покидают тысячи людей, я сам стал частью Исхода.

В компании пары дюжин человек мне приказали сесть в товарный вагон. Дверь не закрывали, чтобы было чем дышать, пока состав катил среди яркой зелени и грязи полей. Снаружи тянулся наводящий тоску пейзаж из каучуковых плантаций, высаженных словно по линейке. Мы сидели кто на голом стальном полу, кто на своих пожитках, разговаривали или дремали.

Поезд отстукивал милю за милей на север вдоль Западного побережья, периодически делая остановки — застенчиво именуемые «по надобности», — и вот, когда мы наконец пересекли границу Сиама, в виду появились морские пляжи. Из воды торчали скалы, узкие и вытянутые, как печные трубы, сплошь поросшие зеленью, ни дать ни взять заплесневелые великанские зубы.

Пока наш поезд медленно тянулся вдоль длинного — в две Англии — перешейка, я читал «Первых и последних людей» Олафа Стэплдона, пророческую «историю будущего», изданную в 1930-м. В душном переполненном вагоне было нелегко воздавать должное красноречию и полетам фантазии, однако стэплдонская картина глобального конфликта, чьей кульминацией стало «нарастание ярости в радиопередачах, а вслед за этим — война», падение Европы и новый цикл Темных Веков, все равно производила сильное впечатление. Он писал свою книгу от имени одного из Последних Людей, через многовековую пропасть обращающегося к нам, детям неустроенного XX века, с предостережением, да еще в момент, когда излучение некой «ненормальной звезды» в далеком будущем обрело Землю на гибель. В те годы было легко вообразить себе апокалипсис, но вот переживать его лично оказалось делом болезненным и отвратительным.

На станции Прай, где мы остановились для погрузки съестных припасов, я прошел в голову состава, чтобы поглядеть на паровоз, и обнаружил, что это «японец», локомотив серии С56. О нем я знал разве что место рождения — завод в Осаке, — да и то, что его явно пришлось приспособлять для работы на узкой колее Малайи и Сиама. По всему было видно, что

японцы намерены остаться здесь всерьез и надолго, раз уж взялись за передислокацию поездов на территорию их новой империи. Несмотря на ноющие конечности и общую слабость, несмотря на грызущую душу неопределенность нашей судьбы, я невольно восхитился качеством инженерной проработки конструкции и отделки этого крупного локомотива с его дымоотбойниками перед котлом и шестеркой внушительных движущих колес. Даже в тот момент я не мог не потешить собственную слабость.

На длинном перегоне между Сунгей-Патани и Алор-Стар на северо-западе Малайи я попал в ситуацию, когда мне отчаянно потребовалось сходить по нужде. Хоть вешайся. А нам в вагон даже поганого ведра не поставили. Пришлось сказать ближайшим соседям, и четыре британских офицера взяли меня страховать, пока я на ходу висел в распахнутом проеме товарного вагона. Я никогда не был склонен к жизнерадостному физиологизму, и мне было невыносимо стыдно за столь откровенную, публичную демонстрацию известного чего. До сих пор ежусь, вспоминая тот случай, и считаю его самым унижительным за всю мою жизнь.

Отмахав свыше тысячи миль от Сингапура, поезд добрался до станции Банпонг. Приказали вылезать. Мы еле шевелились, так все затекло за долгую поездку. Нравилось мне или нет, сейчас я был человеком с железной дороги.

* * *

Банпонг оказался крупным поселком, обладавшим одним важным — с точки зрения японской армии — достоинством: из всех станций ТБЖД именно эта на-

ходилась ближе всего к прибрежной равнине Южной Бирмы, которая лежала на расстоянии свыше двухсот миль и за горными перевалами. В результате этот населенный пункт стал узловой станцией новой японской железнодорожной системы, которая должна была связать Сингапур с Бангкоком и далее с Пномпенем, Сайгоном, Ханоем и Китаем. Сейчас селение представляло собой бурно растущий городишко со множеством лагерей и барачков с пленными; станция ломилась от составов, на реке было не протолкнуться из-за лодок и катеров. В соседнем поселке Нонгпладук размещались запасные пути с маневровыми паровозами — непривычно выглядящими четырехколесными агрегатами. Повсюду царило невероятное оживление.

Со временем мы отлично разобрались, что к чему, а поначалу в глаза бросились лишь лавки в зданиях из тика и красного дерева, крытые пальмовыми листьями хижины да каменные дома в колониальном стиле. По улицам носились дети и цыплята, низкорослые элегантные женщины в ярких одеждах стояли за небольшими прилавками с холмиками ярко-зеленых и красных стручков перца, плодами манго и папайи. Похоже было, что в Банпонге одна длинная главная улица, от которой зигзагом разбегались улочки поменьше. На окраине отыскивались, как водится, возделанные поля, пятна диких кустарников, дальше начинался лес.

Идти оказалось недолго. Нас встретил лагерь из низких барачков с пальмовой крышей, и даже с дороги было видно, что каждый такой барак одним торцом нависал над огромными глинистыми лужами, оставшимися после сезона дождей. Вонючий малярийный рай — вот что наверняка царило на таких торцах. Нас

распределили по баракам, где всякий старался устроиться повыше, как можно дальше от воды. С тупой рассудительностью вся эта благодать называлась Мокрым лагерем. С первого взгляда было ясно, что бал здесь правит смерть.

Через несколько дней примерно сотню человек перевели в другой лагерь, отстоявший где-то на четверть мили. Как выяснилось, там находились мастерские с японскими инженерами и механиками, а нам надлежало помогать им с ремонтом техники. Своего рода передышка.

В нашей команде было четыре офицера: майор Билл Смит, капитан Билл Вильямсон, лейтенант Гилкрист — и я. Пятым из нас был старший сержант Ланс Тью из артиллеристско-технической службы.

Не возьмусь утверждать, что получился сплоченный коллектив. Пожилые Смит и Гилкрист принадлежали к резервистам британских владений на Малаккском полуострове и воспитывались среди сингапурских плантаторов, торговцев и их наемных работников. Да, многие из этих людей мужественно проявили себя во время сражений, однако регулярные части всегда относились к ним как-то настороженно, полагали, что из-за легкой жизни они потеряли интерес к защите Сингапура. Да и я сам никогда не считал, что есть много общего между мной и этими двумя, с кем сейчас приходилось делить кров.

Недостаток умственного развития майора Смита особенно резко проявлялся в экстремальных условиях. Долговязый, нескладный, он с трудом понимал, что творится, и его инстинктивно исключали из любых ситуаций, где требовалось принимать решения.

Как-то само вышло, что мы приклеили ему прозвище «папаша». Пятидесятилетний коротышка Гилкрест не обладал ни стоящим военным опытом, ни иными достоинствами; таких, как он, людей в условиях плена склонны быстро и несправедливо причислять к бесполезному балласту.

А вот с Биллом Вильямсоном у меня сложились куда более теплые отношения. Симпатичный и скромный человек, причем отлично разбирающийся в жизни, он служил своего рода адъютантом при лагере. Вильямсон умел добиваться результата, и когда я узнал, что он учит японский, стало ясно, что мы с ним найдем общий язык. Он одолжил мне свой учебник японской грамматики и помогал осваивать базовый словарь, уметь хоть что-то разбирать из речи наших тюремщиков, когда они проходили мимо барака или орали на нас. Я позаботился, чтобы мое место на нарах было рядом с Вильямсоном.

Старший сержант Тью оказался до чрезвычайности грамотным технарем, для которого армия была лишь одним из способов реализовывать страстное увлечение механикой. Дома, в Сандерленде, он держал небольшую радиомастерскую, а попав на фронт, занялся сборкой и ремонтом радиостанций для артиллерийско-технической службы. Крепкого, внушительного сложения и даже со шрамом на лице, он был, можно сказать, не от мира сего. Обожал таинства радиотелеграфии и мечтал о радиостанциях, как я — о своих поездках. Запечатлейнейший и невезучий человек.

Один наш барак мог запросто вместить сотню пленных и лишь недалеко ушел от навесов, искусно сплетенных из местной флоры: бамбук и «аттап», как малай-

цы именуют пальмовые листья, просто перевязываются лианами. Глинобитный пол отвердел, как черепица, хотя под нарами так и остался сырым. В таких местах даже темнота не мешала прорасти побегам, и сквозь доски вечно торчали какие-то стебли. Кроме того, эти прохладные укромные уголки были отличным пристанищем для всевозможной ползучей живности, в том числе жутких скорпионов и змей. Мы с Вильямсоном взяли в привычку бродить по лагерю, обсуждая книги и иностранные языки, и я как-то раз рассеянно сдернул с дерева что-то свисавшее. По счастью, когда я наконец разглядел свой «трофей», им оказался безобидный удав.

Мало что по своей тошнотворности могло превзойти крупных волосатых сороконожек, которые, если бы удалось вообразить их в неподвижности, без гнусного колыхания, оказались бы длиной сантиметров тридцать. С тварями помельче мы научились разбираться с ходу; тараканы шныряли как металлические мыши и под мозолистой пяткой хрустели не хуже нынешних пластиковых бутылок. Кровля кишела жуками, муравьями и пауками.

Так как Нонгпладук был начальным пунктом новой железной дороги, станция наполнилась путеукладчиками. Из-за бешеного темпа работ они то и дело ломались, и их приходилось чинить в Банпонге. В составе этой техники были так называемые локомотивы, то есть грузовики с комбинированной ходовой частью, способные двигаться как по обычным автодорогам, так и по железнодорожным путям. Имелись и платформы для перевозки рельсов — две четырехколесные тележки, соединенные на болтах парой самых обычных рельсов. Образовавшуюся в итоге жесткую восьмиколесную

конструкцию нагружали рельсами и шпалами; такие платформы вечно следовали за бригадами путеукладчиков. После разгрузки их разбирали, снимали соединительные рельсы, а сами тележки укладывали сбоку от пути, после чего трактор подтаскивал новую платформу, и все начиналось заново. Когда запас истощался, тележки ставили на проложенный путь и откатывали обратно в Нонгпладук за следующей партией рельсов и шпал.

Работы велись сумасшедшими темпами. Японцы непрерывно подгоняли пленных, несмотря на палящее солнце и скудный рацион. В Банпонге с едой было еще более-менее ничего, здесь ее можно было раздобыть вне лагеря, но чем дальше уходила дорога, тем труднее было находить пищу. Сами того не понимая, бригады рабочих собственными руками прокладывали путь к своей же голодной смерти.

В погонном метре тех широкоподошвенных рельсов, которые мы укладывали, было примерно тридцать два килограмма, а сам рельс, как правило, имел в длину порядка восьми метров. Понятно, что голодные люди с трудом могли ворочать подобным весом, а на этом безумном строительстве потоку рельсов не было конца. Их крепили к деревянным шпалам самым примитивным способом: просто вгоняя здоровенные стальные гвозди, так называемые костыли. Передышки устраивались редко, любая попытка сбавить темп беспощадно наказывалась.

Железные дороги всегда ломали своих строителей телесно и психологически. Из книг я знал, что, к примеру, на Панамской дороге погиб каждый пятый; что участок через Скалистые горы потребовал чудовищных

жертв и что даже трансальпийские туннели называли «смертельной западней», — и это говорила крепкая, хорошо питавшаяся крестьянская молодежь, которая их пробивала. Наша уникальная ТБЖД навевала картины ветхозаветной эпохи типа возведения пирамид. Это было не только самое бесчеловечное предприятие золотого века паровозов, но и самое бездарное. Наихудшая в истории инженерно-строительная катастрофа.

Даже когда я попал в Банпонг, в глаза бросилась какая-то небрежность, а следовательно, и преступная легкомысленность всего проекта. Впрочем, мне еще везло: меня поставили в помощь слесарям по ремонту грузовиков, тележек и локомотивов. Мы трудились на японцев-железнодорожников — сборщиков, токарей, сварщиков, большинство из которых обладали вполне человеческим характером; здесь, в мастерских, не царила жестокость. Я мог их даже уважать, а они не трогали ни меня, ни моих товарищей.

Однако за пределами лагеря ярко проявлялась звериная натура этой вручную прокладываемой дороги. Однажды — вскоре после моего перевода непосредственно на строительство — я забрел чуть подальше (майор Смит, а если точнее, Вильямсон руками майора Смита, назначил меня ответственным за провизию и пищеблок, вот я и получил возможность более-менее свободно рыскать по окрестностям), так вот, наткнулся я там на холм, из которого «выгрызли» порядочный кусок. Сотни полуголых людей перетаскивали корзины с землей на другую сторону, чтобы возвести там насыпь: по громадной корзине на пару шатающихся от изнеможения людей. Практически никакой механизации, лишь мотыги, кирки да пилы. Попутно надо

было сдирать с холма бамбуковые заросли на ширину полсотни метров. Корни уходили глубоко, все это требовалось вырывать руками, в лучшем случае сначала обвязывать веревками; твердую тропическую древесину приходилось долбить тупым инструментом... Я еще на Букит-Тима узнал, до чего это мучительно. Наверное, так могли рыть сталинские каналы — но мало какие железные дороги строились столь дикарским способом.

Чтобы кормить нашу бригаду, я кое-что тратил из тех десяти центов в день, которые нам платили японцы: покупал продукты у местных крестьян и торговцев. Рис, растительное масло, немного яиц и кусочков рыбы; свежие овощи, если они оказывались по карману; изредка пару уток или даже поросенка. В качестве печки я приспособил 200-литровую бочку, устроив дверку в одном из ее днищ, а для варки риса сгодились жестяные тазы.

Иногда я выходил в город с парой других пленных и японским охранником. Этот тип, кстати, умудрялся превращать такие экспедиции в удовлетворение несколько иных нужд. Скажем, остановится возле кофейного домика, сунет мне в руку винтовку — и шмыг внутрь. И вот я стою в тени под навесом у входа, с заряженной винтовкой своего врага и тюремщика, пока сам он развлекается с местной шлюхой. Мимо под палящим солнцем бродят деревенские, тянется дорога до самого края поселка. И охраннику, и мне было понятно, что ничего я с его винтовкой сделать не могу и бежать мне некуда.

В Банпонге я столкнулся с мистически-загадочным бюрократическим «вывихом». Как-то раз нас с Вильямсоном вызвали в лагерную комендатуру. Там

перед японским офицером лежала высоченная кипа личных карточек на пленных. Самая верхняя — моя. Оказалось, что мне присвоили регистрационный номер 1. А всего их было за двадцать тысяч. Ощущение такое, будто на меня направили луч прожектора, приписали некую важность, от которой я бы с радостью открестился. Война все равно что лотерея, и в речи солдат можно часто слышать, мол, «выпал его номер», так что канцелярская причуда судьбы показалась мне неприятной шуткой.

Мы выживали, однако этого было не достаточно. Вся та энергия, выход которой капитуляция перекрыла, никуда не делась, мы были настроены воинственно и крайне желали знать, как разворачивается война. Хотелось понять, не случился ли коренной перелом; мы жаждали победы, пусть и добытой чужими руками. А поскольку мы были молоды и сообразительны, разбирались в технике, с энтузиазмом воспринимали концепции новых видов транспорта и связи, мы сделали естественный, логический шаг — и взялись мастерить подпольный радиоприемник.

При переводе из Чанги удалось захватить с собой кое-что из радиооборудования; его разобрали по кусочкам и распределили между людьми, чтобы у каждого имелось лишь нечто крохотное. Кроме того, в наличии были и наушники. Впрочем, собрать из этого функционирующий приемник — все равно что заставить работать ворох деталек от часового механизма. Было решено не задирать планку, а ограничиться скромной конструкцией с аккумуляторным питанием, лишь бы она могла принимать Всеиндийское радио, вещавшее из Нью-Дели. Но и эта задача была ох как нелегка.

Предстояло заново изобрести беспроводной телеграф, обшаривая весь лагерь в поисках недостающих материалов. Радиолампы выменяли у местного деляги на стянутые у японцев инструменты. Мне поручили рассчитать оптимальную длину антенны для приема строго определенной волны, на которой работала нужная нам станция, однако нечего было и думать выставлять на показ полномасштабный вариант, так что ограничиться пришлось так называемой четвертьволновой антенной. Кому-то доставались и куда более причудливые поручения: пойти найди кусочек неизмятой фольги, или пластинку тонкого алюминия, или столько-то метров медной проволоки такого-то диаметра, или добудь нам канифоли. Вопросов никто не задавал: надо — значит, надо. Целенные вообще на редкость хорошо умеют держать свое мнение при себе.

Радиомастером был наш Тью. Во многих отношениях он смахивал на слегка тронутого ученого-самоучку, человека рассеянного и безразличного к опасности. В ту эпоху сборка радиоприемника означала массу пайки, и в пищеблоке на условиях строжайшей конспирации для Тью грели паяльник. Но вот задача: как незаметно пронести докрасна раскаленную железяку? Однажды Тью решил эту головоломку, попросту забыв, где находится. Он невозмутимо пересек апельплац, держа пылающий жаром паяльник перед собой, словно в мире нет ничего естественней, чем военнопленный, расхаживающий с радиомонтажным инструментом.

В главном бараке организовали систему прикрытия. В стратегических точках расставили людей, которые на первый взгляд либо читали, либо что-то мастерили из дерева, хотя на самом деле они стояли «на стреме»,

пока Тью на своих нарах занимался сборкой. Настал вечер, когда все было готово. Тью залез под ветошь, служившую одеялом, и включил свой примитивный детекторный приемник. Помнится, он загодя взял карандаш и вылез из-под покрывала с улыбкой до ушей и кусочком исписанной бумаги. Все сработало на славу. Сквозь статику разрядов четко пробивался голос диктора: тонированная мелодика неподдельно британской речи.

Конструкция была примитивной донельзя, по сути дела элементарный детектор, настроенный лишь на одну волну и не способный посылать сигнал. Кроме того, это был воистину шедевр простоты и эффективности. Размером двадцать на десять сантиметров, приемник отлично вписался в банку из-под кофе с фальшивым съемным верхом, куда мы набросали арахиса. Банка с невинным видом стояла у Тью в изголовье — заржавевшая, некогда серебристая емкость, таившая в себе радиолампы и конденсаторы.

Воцарился ежевечерний, строго соблюдаемый ритуал. По лагерю расставляли людей, чтобы те оповещали о появлении любого японца; многие даже не понимали зачем. Тью подключал приемник к антенне, которая пряталась в пальмовой кровле, включал питание и заматывал одеялом голову с наушниками. Радиооператором всегда был он сам, так как лучше всех мог справиться с любыми проблемами настройки, если сигнал терялся. Сводка занимала в эфире минут десять, и по мере приема Тью записывал наиболее важные новости. Затем драгоценный клочок бумаги шел по рукам круга избранных, а Тью разбирал аппарат и прятал его. До сих пор перед глазами стоит, с какой заботливостью

брал он эту хрупкую, неказистую поделку в свои сильные руки, до чего ярко проявлялась нежность истинного мастера к своему детищу.

Информацию мы воровали даже у тюремщиков. Поступали сведения об их разгроме на Соломоновых островах, в Новой Гвинее и на Гвадалканале; мы слышали, что немцев остановили в России и отбросили в Северной Африке. С ноября 1942-го, когда заработало наше радио, мы вновь почувствовали, что нас и впрямь могут освободить, что наша победа не за горами.

Ланс Тью порой вел себя до того наивно, что волосы вставали дыбом. К примеру, нам позволялось бродить в лагерных окрестностях, где частенько встречались крошечные сиамские поселения. Однажды Тью наткнулся на «заброшенный буддийский храм» — его собственные слова — с маленькой позолоченной статуэткой Будды в пыльной нише и россыпью засохших цветов на полу. Ничтоже сумняшеся, наш сержант прибрал золотого божка к рукам: отличный выйдет сувенир из Сиама. Когда статуэтка случайно попала нам на глаза, мы гневным хором заставили Ланса вернуть ее на место. Во-первых, мы испугались, что придется жестоко заплатить, а во-вторых, на нервы сильно действовала легкая улыбочка маленького будды и ощущение облака дурной кармы, которое буквально висело вокруг него. Позднее — и отнюдь не в шутку, не от праздного безделья — я задумывался, уж не в наказание ли за это богохульство произошли все те события, что имели место потом.

А может, поступок Тью был всего лишь очередным симптомом нашего бесшабашного отношения ко всему на свете, нахального пренебрежения к японцам и само-

му плену. «Да нам все трын-трава», мы до сих пор чувствовали себя непобедимыми. Слабость, покорность — ничего этого капитуляция с собой не принесла.

Вместе с тем на станцию Банпонг, что лежала где-то в миле от наших мастерских, прибывали и прибывали длинные эшелоны, всю зиму напролет. Товарные вагоны, набитые грязными и голодными людьми, приходили из Сингапура. Японским и британским паровозам приходилось вместо угля жечь местную древесину, которая давала характерный жиденький, пахучий дым. Не реже пары раз в неделю, когда стихал шум прибывающего поезда и отдувающийся локомотив уже стоял на станции, над кронами деревьев мы видели его рваные ленты. Эта дорога топилась людьми.

Глава 5

Официальным посредником между тюремщиками и лагерным контингентом в Банпонге был молодой японец-переводчик с американским акцентом. Его мы прозвали Ханки-янки. Вполне дружелюбный человек, и когда в начале февраля 1943-го он пришел сказать нам, мол, завтра переезд, так что подготовьтесь, эта новость не вызвала особой тревоги.

К тому же мы, по крайней мере, знали пункт назначения: Канчанабури, городок милях в тридцати к северо-западу от Банпонга, на новом железнодорожном участке, который вел в Бирму через Перевал трех пагод. Сейчас мы практически не сомневались, что этот маршрут должен выйти на бирманский Моулмейн, туда, где река Салуэн впадает в Мартабанский залив.

Вздохнув с облегчением, что нас не посылают на уже известную стройку в диких холмах Канчанабурской провинции, откуда приходили чудовищные слухи, мы с воинственной бравадой начали упаковывать пожитки. С собой мы брали утварь для пищеблока, запас медикаментов, каким бы скудным он ни был, ну и «мебель», скажем, пару табуреток, самодельный столик, импровизированную книжную полку из фанеры — словом, все те вещи, которыми за минувшие месяцы удалось разжиться на помойках, чтобы хоть как-то обставить наши бараки.

Мы еще задирали нос, поплевывали на опасность и смеялись над нашими поработителями, потому как не до конца понимали, что нам может грозить. Так уж водится среди молодежи: когда ее сгоняют в кучу, происходящее принимает оттенок некой игры. Лишь позднее приходит осознание, что ты, вообще-то, угодил в капкан. Мы чуть ли не дразнили японцев сворованным у них добром. Помнится, кто-то беспечно приторочил пилу к брезентовому вещмешку, которым я обзавелся в Чанги. Какого только инструмента не было в нашем багаже: и зубила, и молотки, и отвертки. Я уж не говорю про тот знаменитый паяльник... Если бы побег означал одно лишь проламывание тюремных решеток, мы бы давно покинули свою клетку.

Нас набили в грузовик, который вел кто-то из британских рядовых. Я сидел в кабине; с краю, между мной и водителем — японский охранник. Наша небольшая автоколонна выехала из лагеря и свернула на запад, оставив за собой бамбуковую изгородь и длинный барак. На поддороге в Канчанабури — или «Канбури», как это слово произносили пленные англичане, — у

водителя соскользнула нога с педали, и мы ткнулись в передний грузовик. Охранник взбесился, принялся орать на водителя, выталкивать его из кабины. Я тоже осторожно выскользнул на землю с другой стороны, не вмешиваясь и настороженно следя за японцем.

А того уже распирало от ярости, страха и презрения. Вряд ли сильно старше меня, он имел над нами абсолютную власть, но сейчас она чуть ли не уплывала из рук, к тому же нас много, а он один. За такие вещи надо карать, вот он и полоскал водителя на чем свет стоит. На память пришли всякие истории, перед глазами всплыла картинка с расстрелянными медсестрами в полосе прибоя... У этого типа уже костяшки пальцев побелели под смуглой кожей, до того сильно он стискивал свою винтовку. Хорошо еще, он вовремя пришел в себя, приказал нам лезть обратно в кабину, и грузовики вновь тронулись в путь.

Пока что все наши контакты с японскими зверствами были как бы опосредованы, потому что даже отрубленные головы злосчастных китайцев в Сингапуре не угрожали нам напрямую: мы ведь были британцами, пусть и плененными. Вплоть до этого момента я ни разу не видел, чтобы кому-то из моих товарищей по несчастью грозила расправа, хотя работа в путеукладческой бригаде дико выматывала физически. Да, бывали случаи, когда кого-то заставляли часами изнывать на солнцепеке за некое нарушение лагерных правил, но чтобы прямое нападение... В то утро я остро ощутил, до чего близко оказался к проявлению подлинного насилия. Трудно было сказать, в чем тут дело: то ли нам попался психопат, то ли у него просто сдали нервы из-за каких-то особо мрачных новостей, то ли он

предчувствовал, чем для Японии кончится война... Эта жутковатая сценка на шоссе, в окружении чуть ли не театральных декораций из зелени раскидистых пальм и манговых деревьев, явилась новым шагом к опасности, утратой даже тех лохмотьев цивилизации и комфорта, за которые мы до сих пор цеплялись. «Нулевой километр» находился на восточной окраине Банпонга. Я начинал опасаться, что эта железная дорога будет отсчитывать свою протяженность отрицательными числами, которые измеряются на принципиально иной шкале.

Поначалу все решили, что вновь счастливо отделались. В ту пору Канбури был небольшим городком, обнесены остатками оборонительной кирпичной стены. Внутри располагалась единственная главная улица, параллельно которой, но уже снаружи, текла река Мэклонг. Здесь, на поросшем сорняками пустыре, стояли лавчонки торговцев, кое-какие деревянные здания и ангары из гофрированной жести. Отдельные постройки доходили до реки, чьи берега напоминали обрывистые утесы над полосой бурой жижи.

Неподалеку от городка располагался основной, или, как его называли японцы, «Аэродромный», лагерь. В южном предместье находились железнодорожные мастерские, где инженерные знания вновь оградят нас от самого худшего. Этот производственно-технический лагерь японцы называли «Сакамото-бутай», то есть «в/ч Сакамото», потому что комендантом был майор Сакамото. Как обычно, бамбуковые, крытые аттапом лачуги приспособили под мастерские, склады и конторы. В таких же постройках, только на отдельной площадке, ютились пленные. Плюс маленькое скопление жилищ приличнее для японцев. Хижины были расставле-

ны с равными интервалами примерно в собственную ширину. Отхожее место устраивали под прямым углом возле каждой хижины: относительно неглубокая канава с поперечным мостком и бамбуково-пальмовой кабинкой. Весь лагерь был обнесен не очень убедительной бамбуковой изгородью с караульным помещением возле главных ворот. На противоположной стороне периметра, в сотне метров от железнодорожного полотна, стоял скучающий часовой.

Запасные пути находились под городом, а ближе к центру располагалось локомотивное депо с деревянной водонапорной башней и громадным складом дров. Все местные паровозы топились деревом, которое потребляли в несметном количестве. В очередной раз наш лагерь играл роль ремонтной базы для тракторов путеукладческих бригад, локомотивей, а впоследствии и собственно локомотивов.

Наш коллектив пополнился офицерами и сержантами из других лагерей. Среди них был Фред Смит, сержант Королевской артиллерии, кадровый военный, первостатейный технарь и человек, в котором стойкость и неунывающий характер сочетались с невероятной физической выносливостью. Впоследствии я осознал, что это была одна из самых примечательных личностей, которых я встретил за всю свою жизнь. Еще хочу упомянуть майора-артиллериста Джима Слейтера, бывшего владельца заводика по выпуску текстильных станков; он стал непосредственным начальником нашего Билла Смита. Чудаковатость и «неугасимый» пессимизм Слейтера заработали ему славу лагерной Кассандры. Еще был Гарри Найт, добродушно-веселый инженер-австралиец, работник одной из малай-

ских горнодобывающих компаний, полезный человек и надежный товарищ. Александр Мортон Макей, еще один офицер-артиллерист, родом из Шотландии, но проживший много лет в Канаде. Ему было за сорок, хотя подвижность и общительность делали его гораздо моложе. Мак, или Мортон, стал одним из самых близких моих друзей.

Два новичка в нашем бараке — капитан Джек Холи и лейтенант Стенли Армитаж — всегда всплывают в памяти одновременно, как сиамские близнецы, хотя между ними не имелось ничего общего. Армитаж был тихим, задумчивым ирландцем, Холи — его крайней противоположностью. Этот лохотный, даже пижонистый, человек строил себя под романтических киногероев вроде Рональда Колмана и до войны всю жизнь наслаждался легкой клубной жизнью в Сингапуре, где подвизался на «Бритиш Америкэн Табакко Компани».

* * *

В мастерских мы сумели нащупать хитроумные способы, как поддерживать безбожно эксплуатируемую технику вроде бы в работоспособном состоянии. Правда, с маленьким «но»: по какому-то злосчастному совпадению где-то через недельку ее приходилось возвращать к нам на ремонт. Я постигал искусство саботажа увертками, отговорками и неявным сопротивлением. Из меня медленно, но верно вырастал умелый воришка.

Я стал своего рода неофициальным плотником для всего лагеря, строгал и прокладывал деревянные мостки, чтобы нам не шлепать по жидкой глине из-за вечных дождей. Попутно выяснилось, что нужный

инструмент и материалы легче всего раздобыть у всех на виду: среди бела дня зайти на склад и попросту взять требуемое. Меня никто никогда не останавливал. Жаль только, не сразу выяснилось, чем обернется беспечность охраны и какая у этого имелась сумрачная изнаночная сторона.

Японцы уже приучили нас жить по токийскому времени, что означало утренний подъем по большей части в темноте. Когда они объявили, что отныне офицерам тоже полагается работать, меня сделали маркировщиком и по совместительству табельщиком: я должен был отбивать сигналы начала и окончания работы в главных мастерских. Восемь раз в день с перекурами, а часы, с которыми я, по идее, должен был сверять свои звонкие удары, представляли собой простенький японский будильник, стоявший на полке возле генератора.

Вскоре я сообразил: хотя трудовая смена длится десять часов, рабочего времени в ней может быть куда меньше. Тщательно соблюдая моменты официального начала и окончания смены по утрам и вечерам, в промежутках между ними я «подкручивал» часовой механизм, и с каждым новым днем перекуры становились все длиннее, а собственно рабочее время короче. Так что сейчас у наших тюремщиков воровали не только информацию, но и время. Этот революционный и широко популярный метод управления трудовыми ресурсами нашел одобрение даже среди некоторых японских слесарей. Увы, мои проделки всплыли на поверхность, и ценную должность отдали одному из японских солдат. Единственным наказанием, которое я понес, был полный перевод на маркировочные и малярные работы.

Больше всего на свете нам хотелось ставить японцам палки в колеса, всячески мешать, выдавать некачественную продукцию, но так, чтобы нельзя было отследить виновника, хоть индивидуального, хоть коллективного. Даже те, кто ломал спину в каменоломнях — что, кстати, считалось «легкой» работой, — махали кирками со сверхъестественной медлительностью, выполняя лишь минимально приемлемые нормы. Думаю, все пленные до единого стали в итоге лодырями и саботажниками, причем кое-кто из нас так себя ведет и по сей день, раз уж в молодости потратил на это столько времени.

Мысль о побеге не оставляла. В каком-то смысле мы жили в огромной тюрьме под открытым небом и надеялись, что когда-нибудь выпадет шанс вырваться на свободу через север Сиама. Однако для любого похода за пределы первой пары миль от лагеря категорически требовалась информация — информация в виде карты.

Для меня всегда было приоритетом знать, где я нахожусь, так сказать, осуществить прецизионную локацию самого себя в окружающем мире: как можно подробнее его охарактеризовать, описать и классифицировать. Своего рода поставить точку опоры там, где сейчас царил лишь хаос. Будучи официально назначенным маркировщиком, я обладал доступом к карандашам, а в мастерской всегда имелась бумага для слесарных чертежей. Вот я и стянул крупный лист нелинованной бумаги, где-то полметра на полметра, со стола главного инженера. На складе приглядел небольшой атлас, охватывавший порядочную часть Юго-Восточной Азии и Сиама; я его «позаимствовал» и старательно оттрасси-

ровал нужные страницы в карандаше, работая в масштабе порядка 50 миль на дюйм. Конечно, для практических целей масштаб был слишком мелкий, но знали бы вы, какой надеждой окрыляла меня эта работа, когда я кропотливо наносил на карту всяческие подробности, выведенные у водителей грузовиков, таких же пленных, что и мы, но которым довелось побывать на северных участках железной дороги. Кроме того, в ход шли заученные наизусть топографические сведения, которые мы подглядывали на японских документах, когда их на минутку оставляли без присмотра.

На карте была проложена и собственно ТБЖД: я сумел «вычислить» ее маршрут, так как на всей протяженности путей у нас была внедрена своего рода сеть информаторов. Сначала дорога довольно долго шла вдоль реки, и, держась неподалеку, нам было бы проще находить себе пропитание — если и когда решимся на побег. Впрочем, вычерчивание железнодорожного маршрута само по себе приносило удовольствие.

Моя карта была образчиком запретного искусства, однако в тот период склонность к конспирации была скорее инстинктивной, своего рода проекцией общей настороженности военнопленного, нежели сознательной реакцией на тот риск, которому я себя подвергал. Нам никто не запрещал чертить карты, однако от этого занятия за версту несло смертельной опасностью. Вот я и принял тщательные меры предосторожности: держал карту в «тубусе» из бамбука и прятал с превеликим тщанием. Карта была испещрена каллиграфически выписанными названиями местечек, на нее легли любовно нарисованные границы Сиам и русла местных рек, которые я вырисовывал со всей доступной мне

изящностью. Со временем бумага приобрела чуть ли не антикварный внешний вид, края у нее пошли волной, и сама она стала много мягче из-за частых прикосновений моих рук и той влаги, которую поглощала из сыроватого воздуха.

* * *

При желании было совсем нетрудно выйти за пределы лагеря, так что в скором времени мы обследовали все окрестности. Чуть ли не повсюду росла перистая разновидность бамбука, а фруктовых деревьев было столь много, что мы не знали, куда девать такую пропасть фруктов. Еще дальше к северу и западу виднелся извилистый гребень плотно заросших зеленых холмов.

До Канбури с его рынками было меньше мили. Нам разрешалось закупать провизию в городе, так что мы не умирали с голоду, пусть даже и сидели на рисе и каком-то примитивном вареве. Иногда покупали себе вяленую рыбу или сиамские деликатесы вроде бананов в тесте, которые местные крестьянки жарили в тазах с растительным фритюром.

Чем больше проходило времени, тем отчетливей мы понимали, что японские инженеры выбрали для дороги самый сложный маршрут, что они хотят как можно дольше идти вдоль русла реки Кхвэной: это позволяло подвозить рабочих по воде. Кроме того, это означало нечеловеческую нагрузку на наших товарищей: на этом участке известковые холмы спускались прямо к реке, и как гражданские рабочие, так и военнопленные были вынуждены сквозь них прорубаться. Попутно приходилось устраивать всевозможные путепроводы, грунтовые выемки, эстакадные мосты — и все это топором, пи-

лой, лопатой и руками. Так что нам в наших мастерских грех было жаловаться.

Даже сейчас среди тюремщиков можно было найти остатки человечности. В Канбури служил один весьма корректный, здравомыслящий офицер по фамилии Исии, «выпускник Кембриджа», как он сам отрекомендовался. Не знаю, вправду ли ему довелось хоть разок побывать в Болотном краю, но английским он владел превосходно. Ему нравилось обсуждать с нами всяческие инженерные темы и даже спорить о войне. К примеру, мы могли спросить, что творится в мире, и он давал нам более-менее официальную версию событий в Новой Гвинее, хотя и признавал, что из Соломоновых островов Япония уже потеряла Гвадалканал. Однажды, с манерной неторопливостью, как бы в подражание истинному англичанину и джентльмену, он заявил, дескать, отчего бы вам не оформить себе газетную подписку, раз уж вас так интересует война. Приняв это за шутку, которую в силах оценить лишь представитель другой расы и культуры, мы решили подыграть и с невозмутимым видом дали ему некую сумму из сэкономленных денег. Не прошло и недели, как в лагерь с почтой стали доставлять англоязычную «Бангкок-Кроникл». Сейчас эта газета находилась в японских руках и была напичкана дезинформацией, однако при критическом подходе к чтению мы все равно могли почерпнуть много ценного. Так, в одной из статей, которая вызвала бурное оживление, говорилось о том, что немецкие войска в Северной Африке «успешно развивают наступление на запад». Прямо скажем, странный способ выбрал себе Роммель для захвата Суэцкого канала. Следуя аналогичному подходу, мы с растущим

восторгом узнали, что страны Оси отступают в России, Африке и Азии.

Все это хорошо, но нам следовало быть более — куда более! — осторожными, когда рядом находится враг, день за днем теснимый в угол и постепенно приходящий в бешенство. Те японцы, с которыми мы в основном имели дело в мастерских, были благоразумными, умеренными людьми. Но отнюдь не каждый из наших тюремщиков мог сойти за человека, просто ставшего невольным участником войны, которая забросила его за тысячи миль от родного дома. К нам в лагерь прибился черный котенок, премилое существо, в котором мы души не чаяли. Это создание было еще более беззащитным, чем военнопленные, так что мы взяли над ним шефство. Как-то раз, пока он игрался в пыли, мимо проходил какой-то охранник из корейцев. Этот тип спустил винтовку с плеча и насадил крошечное животное на длинный, чуть ли не полуметровый штык, как на шампур, будто собрался зажарить.

* * *

Приемник функционировал вновь и даже был несколько доработан. Фред Смит стал нашим вторым радиомастером. Оказалось, что еще в Сингапуре он стащил старенький радиоаппарат из какого-то дома в квартале Букит-Тима, а в лагере Чанги сумел его починить с помощью радиоламп, которыми тоже каким-то образом обзавелся. Перед отправкой к нам на ТБЖД он разобрал приемник на части и спрятал их на случай обыска. Из полевого телефона Фред с Лансом вытащили старый аккумулятор, который теперь питал наш

приемник. После многочасовой возни им удалось настроиться на нужную волну и отфильтровать атмосферные шумы так, что сейчас голоса дикторов Би-би-си звучали вполне разборчиво.

По вечерам повторялся все тот же ритуал: настороженные люди вокруг барака, накрытый одеялом Тью, затем жаркие споры. Незнакомые названия со смутно помнящихся карт: Харьков, Курск, Тробрианские острова... С воюющим миром нас соединяли невидимые нити побед и поражений.

Новости распространялись доверенными людьми по длинной цепочке: сначала в мастерских, затем миля за милей вдоль железнодорожного полотна, вплоть до самых настоящих лагерей смерти. Мы приняли меры, чтобы один из наиболее надежных товарищей, артиллерист Томлинсон, был приписан к поезду, который подвозил продовольствие к путеукладческим бригадам, и тщательно проинструктировали его, что и как именно сообщать на местах. Как для нас, так и для тех, кто страдал и умирал там, было крайне сложно вычленивать правду из слухов, понять, чему и в какой степени можно верить. Одному Богу ведомо, как искажались новости, передаваемые из уст в уста, как правда превращалась в вымысел и наоборот; и все же даже эти обрывочные сведения чудесным образом поднимали наш дух, укрепляли чувство связи с миром, который мы потеряли. Для военнопленного радио значит куда больше, чем это может себе представить обыватель; оно в буквальном смысле придавало смысл нашему существованию, делало его хоть в чем-то «нормальным». Возникало ощущение, что сейчас мы знаем, для чего живем.

Еще одной важной частью этой «нормальности» и чувства собственного достоинства были книги. У меня имелась Библия, так называемая «Авторизованная версия»; потом я обменялся ею с австралийцем по фамилии Харкнесс, получив взамен Моффатское издание 1926 года¹, которое до сих пор меня сопровождает: эта книга пережила все. Некогда черная коленкоровая обложка истерлась так, что стала мягкой и серой, с проглядывающими чернильными пятнами. Корешок где-то потерялся. Текст чуть ли не в каждом абзаце подчеркнут синей перьевой ручкой Харкнесса; колонки на всех страницах каждой из библейских книг сопровождаются комментариями из крошечных, аккуратно выписанных заглавных букв. Пустые места, оставшиеся на последних страницах, испещрены тем же синим, рукописным бисером. Да и моя собственная Библия была точно так же аннотирована, когда я читал ее в Банпонге и Канбури, раз за разом обращаясь к Новому Завету..

Откровение Иоанна Златоуста по-прежнему действует на меня более чем сильно. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец...» Представленная в этой библейской книге картина Апокалипсиса и последних мгновений мира, который разваливается на куски лишь с тем, чтобы вновь собраться в свете и счастье, как раз и лежала в

¹ «Авторизованная версия» (Библия короля Якова): англоязычный перевод Библии 1611 года, санкционированный и одобренный королем Яковом I. Официально признается большинством англиканских церквей в Великобритании и протестантских церквей в США. Шотландец Джеймс Моффат выполнил новый перевод с древних языков на современный английский, но внес определенные изменения, в частности перекомпоновал последовательность некоторых фрагментов.

основании той веры, которой придерживалась Община, и продолжительных проповедей на улице Шарлотты. Ничто после прибытия в Малаю не заставило меня усомниться в том, что катастрофа и впрямь может наступить, что великие империи могут распасться или что в экстремальных условиях человек действительно может оказаться беспомощным.

Пожалуй, лишь пленники, без объявленного срока или правил содержащиеся на потеху своим тюремщикам, в состоянии понять Иова:

Я пресыщен унижением; взгляни на бедствие мое; оно увеличивается. Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня и чудным являешься во мне. Выводишь новых свидетелей Твоих против меня; усиливаешь гнев Твой на меня; и беды, одни за другими, ополчаются против меня.

Делиться многими глубоко личными вещами мы не могли, зато ничто не мешало нам обсуждать религию, пусть даже большинство моих товарищей были членами Англиканской церкви, а я принадлежал к одной из баптистских сект. Помнится, в лагере по рукам ходили письма со страстными призывами к духовному подвигу. Так мы поддерживали то лучшее, что было в нашей человеческой сути, и это помогало выживать.

Я по-прежнему хотел учиться, расти и совершенствоваться. В памяти осталось, как я на обрывках зеленой бумаги вел что-то вроде конспекта по языку хиндустани, с аккуратными колонками слов и временных глагольных форм, а с моим другом Вильямсоном мы даже изучали японский. Освоили базовый словарный

запас, что порой позволяло понять, о чем там говорят охранники.

А тем временем 1943 год шел своим чередом. Нежная весна уступила место одуряющей духоте лета. Мы почти что приспособились к высокой влажности и дождливым сезонам, поддерживали нечто вроде внутренней жизни, куда японцам был вход заказан. Привыкли ходить полуголыми, бронзовые от загара и худые, как жерди; привыкли вечно почесываться из-за въевшейся в кожу грязи, как оно всегда бывает при отчаянной нехватке мыла.

Хотя Канбурский лагерь угнетающе действовал на психику, в целом его можно считать «неплохим». Практически вся работа требовала той или иной квалификации, нас редко направляли на объекты за пределами лагеря, изнуряющих заданий было относительно немного, а заведовали всем этим хозяйством — как и в Банпонге — японские инженеры, а вовсе не кадровые военные, среди которых попадались идеологические фанатики. Не так уж много было и охранников из корейцев — те вымещали на военнопленных унижение, которое сами терпели от японцев¹. К тому же до Канбури с его драгоценными продуктовыми рынками было полчаса ходу.

Другим повезло куда меньше. В один из апрельских вечеров я обратил внимание на группу измотанных, подавленных, грязных британских солдат, вповалку устроившихся на своих вещмешках возле главных во-

¹ Корейцы, чья страна стала японской колонией в 1910 году, в 1938-м получили право добровольцами записываться в Императорскую армию. Лишь в 1944-м они подпали под обязательный призыв.

рот, откуда шла дорога на север. Их были сотни. Они просто лежали в полной неподвижности, как свойственно людям, которые уже вынесли один бог ведает что, но при этом знают, что дальше будет хуже. Один из них рассказал мне, что они только что пешком отмахали тридцать миль из Банпонга — без еды и почти без воды, — погоняемые обозленными корейскими охранниками, причем никто понятия не имел, сколько еще предстоит идти и что там их ждет, когда они наконец доберутся до места назначения.

Измочаленная армия из запущенных солдат, лежавших на траве вдоль дорожной обочины, ярко напомнила о склонности японской военной машины к безразличию, а вернее, полнейшему наплевательству на гуманистические ценности. Эти смертельно уставшие люди представляли собой авангард так называемых рабочих команд «F» и «H», присланных из Сингапура в Банпонг спецэшелонами. Отсюда в направлении отдаленных участков ТБЖД, которая уже близилась к завершению, ежедневно и еженощно уходили поезда, груженные новыми рельсами и техникой.

На протяжении двух следующих месяцев колонны донельзя грязных, измученных людей проходили мимо мастерских Канбури. Мы делали для них все, что могли, делились пищей и водой, но это уже были живые мертвецы. По какой-то немислимой, безумной оплошности их так и не передали на довольствие японской администрации Сиама, которая, соответственно, и не была обязана их содержать. А те, кто отвечал за питание этих людей, за саму их жизнь, сидели по своим конторам в Сингапуре, за тысячу миль отсюда.

Пока что я старался не забежать вперед и не освещать события сквозь призму ретроспективной оценки, однако судьба этих людей — уже наполовину безумных к тому моменту — требует, чтобы я прямо сейчас о ней рассказал. В командах «F» и «H» была зафиксирована самая высокая смертность среди всех военнопленных, работавших на строительстве ТБЖД. Их прислали, чтобы подстегнуть темпы, дать «последний толчок» и тем самым завершить строительство с опережением — своего рода штрафбат, бросаемый в прорыв. Некоторым из них предстояло пешком преодолеть две сотни миль по холмам. Погиб каждый третий, а многие из выживших остались калеками на всю жизнь¹.

Даже в те дни мы спорили, нет ли во всем этом безумии некоей системы, жестокого подтекста? Адмирал Ямамото, спланировавший атаку на Перл-Харбор и, может стать, величайший флотоводец в истории Японии, погиб во время инспекционной поездки по Соломоновым островам. Перевозивший его самолет был сбит над Буганвилем 18 апреля — и сразу после этого командам «F» и «H» приказали пешком добираться до конца ТБЖД. Не было ли это своего рода коллективным наказанием, порождением воспаленного ума? Что, если смерть Ямамото вызвала у японцев желание ото-

¹ Упомянутые рабочие команды формировались из британских и австралийских военнопленных, причем британцы были представлены в первую очередь рядовым и сержантским составом 18-й саперной дивизии. Им пришлось проделать своим ходом почти 300-километровый марш. Прибытие на место строительства совпало с началом сезона дождей и эпидемии холеры, что в сочетании с нечеловеческим трудом, голодом, авитаминозом, тропическими язвами, малярией и зверствами японцев и корейцев привело к гибели 44 процентов из первоначального семитысячного контингента.

мстить, отыграться на военнопленных? Такие вопросы не давали покоя там, и я до сих пор не получил на них ответа.

Пленные, проходившие мимо нашего лагеря, ночевали прямо под открытым небом, без какой-либо защиты от насекомых, которые нещадно на них набрасывались с наступлением темноты. После ухода этапиремых мы замечали брошенные вещи, части снаряжения, лишь бы как-то облегчить поклажу. Сколько же у них осталось — да и осталось ли вообще? — к концу пути, невольно задавался я вопросом.

Примерно в то же самое время начали прибывать и гражданские депортированные рабочие. Поначалу жиденький поток азиатов — китайцев, индусов, малайцев, индонезийцев, бредущих из Банпонга в Канбури. А потом словно шлюзы распахнули: настоящий потоп, цунами из подавленных людей, среди которых порой встречались даже женщины и дети. Вся эта людская масса устремлялась в верховья реки Кхвэной и самые дальние лагеря на маршруте ТБЖД. Подобно военнопленным, их пригнали, чтобы ускорить ход работ. Однако, в отличие от нас, гражданские не были организованы. Просто люди сами по себе, в одиночку или семьями, без какой-либо структуры или иерархии.

Уже тогда, несмотря на скудность моих знаний о масштабах захлестнувших нас событий, я понимал, что эти злосчастные будут гибнуть как мухи. Именно они станут основными жертвами дороги.

И все же даже здесь, в лагере и рядом с людьми, на ком лежит ответственность за организацию столь чудовищной жестокости в таких масштабах, рядом с теми, кто был способен не задумываясь, с ходу пойти

на варварские зверства в отношении других людей — даже здесь я находил удовольствие в машинах, которые я любил и к которым был сейчас так близок, пусть и не по своей воле. Человек вообще сохраняет в себе больше простодушия и невинности, чем принято считать. Однажды, вскоре после ухода команд «F» и «H», в той стороне, где лежал новый бирманский участок, показался столб дыма и пара. На этом свежепроложенном пути еще ни разу не ходил локомотив, так что я немедленно наострил уши. Состав — небольшой, из трех-четырех вагонов — въехал прямо в наш лагерь. Его тянул один из самых удивительных паровозов, которые я когда-либо видел. Великолепно сохранившаяся машина выпуска конца XIX — начала XX века, построенная на локомотивном заводе Краусса в Мюнхене, о чем извещала начищенная латунная табличка. Помню, до чего я был счастлив увидеть это чудо на пыльном, приходящем в негодность запасном пути под пальмовыми кронами. Скотосбрасыватель гордо контрастировал с обводами высокой дымовой трубы; лаково-черный котел и латунная отделка вызывали к жизни полузабытые, призрачные воспоминания о курортных поездках, о душистом аромате прощаний и о беспечно прожигаемой жизни.

* * *

Роль подневольного строителя железной дороги внезапно завершилась в августе 1943 года.

Предали нас, или же японцам просто повезло, я не знаю и не узнаю. Сколько бессонных ночей за минувшие полвека я потратил, силясь понять, проследить источник утечки. Может, кто-то просто не сдержал восторга от очередной победы союзников, а некий ох-

ранник это услышал; может, какой-то глупец вел дневник, записывая новости, которые доходили до него через водителей, бывших нашими курьерами... Было время, когда до зарезу требовалось знать, кто нас представил, хотя бы сдуру, потому что в наших глазах он был ничуть не лучше тех, кто предает сознательно. После войны выжившие устроили бы на него охоту... Но у нас на руках была всего лишь нескончаемая, болезненная неопределенность, натирающая душу как наждачная шкурка.

29 августа 1943 года, после утренней поверки, мы не услышали привычную команду «разойдись». Вместо этого караул продолжал держать пленных по стойке смирно. Рассвет только брезжил, было даже прохладно. Группа солдат пошла по нашим баракам, остальные — непривычно настороженные и агрессивно настроенные — сомкнулись вокруг нас кольцом, с пристегнутыми штыками. Было слышно, как в бараках роятся, поначалу вяло, без огонька, но затем их словно подменили. Грохот, треск, что-то валится — по нарастающей.

Прошел час. Солнце припекало, однако нам запретили даже шевельнуться. Свыше сотни пленных в одних майках и лохмотьях обмундирования замерли как статуи. Обыск продолжался, за нашими спинами росла гора каких-то вещей, которые выкидывали наружу. Вскоре образовалось нечто вроде кургана. Еще возникало впечатление, что особый интерес у охраны вызывает тот угол, где стояли нары Тью.

Часа через три солдат-японец выкрикнул его имя. Тью зашел в барак. Нас распустили, мы обернулись — и увидели кучу автомобильных аккумуляторов, динамо-машин, деревянных и жестяных коробок плюс неверо-

ятное разнообразие слесарного инструмента японского производства: остатки тех запасов, которые мы распродавали местным сиамцам и китайцам сквозь дырки в ограде. Подъехал грузовик, и вся эта контрабанда была увезена прочь. Сержанту Тью разрешили вернуться к нам. На нем лица не было. Японцы нашли приемник.

Один из пленных стоял так, что мог видеть происходящее в бараке. По его словам, обыск поначалу шел спустя рукава. Солдаты бродили вдоль нар, порой беря в руки что-то из вещей. Затем какой-то японец обратил внимание на складки одеяла Тью. Наверное, заметил крошечный кусочек белой бумаги, не больше почтовой марки, будто дразнящий намек на недозволенную шалость. Кусочку бумаги здесь было явно не место.

Охранник с невинным видом щелкнул по нему пальцем и потянул за уголок. Показался небольшой сложенный лист, отлично мне знакомый. На нем была вычерчена довольно верная карта Соломоновых островов. Мы скопировали ее с иллюстрации в какой-то японской газете, которую стащили у охранников. Она была нужна нам, чтобы отслеживать ход событий в сводках Всеиндийского радио, где упоминались жестокие бои на островах Рендова, Мунда и Нью-Джорджия. Одеяло полетело в сторону — и открылась пара самодельных наушников: черные кружочки динамиков, обмотанные холщовым ремешком цвета хаки, ни дать ни взять крошечный спящий зверек.

Дальнейшие поиски, как мы заранее предчувствовали, принесли охране не просто один радиоприемник, а целых четыре, разной степени завершенности. Да, мы не теряли времени даром и с большим тщанием старались повторить прошлый успех. Как и самый пер-

вый аппарат, его младшие братья были собраны столь же аккуратно, с любовью, и помещались в кофейных банках со съёмным днищем, которое и служило в роли шасси для деталей. При поверхностном обыске сойдет, но сейчас творилось нечто совсем иное.

Когда мы вернулись в бараки, то обнаружили полнейший хаос. Все бросились к личным тайникам... Пусто. Каждый вещмешок, каждая коробочка были вывернуты наизнанку, вытряхнуты, все нары обысканы вдоль и поперек. Даже побеги пассифлоры, тянувшиеся по стене офицерского барака, и те были сорваны и разодраны на кусочки.

Белый день почернел. Пессимисты, в особенности их мрачнейший пророк Джим Слейтер, говорили, что теперь лагерь уничтожат. Оптимисты же надеялись, что такая находка сама со себе достаточна, но вид у них был осунувшийся и растерянный. В тот день лагерь вышел на работу в страхе и молчании. Тюю был центром облака беспомощного сочувствия, взяась — без улыбки, одеревенелый от напряженности — над дизель-генератором в мастерской. Ночь выдалась бессонная. Над нарами, словно паутина, висел встревоженный шепоток; одни лишь жуки бодрились, падая с кровли нам на голову и разбегаясь по доскам.

Ранним утром японский комендант лагеря вызвал к себе Тюю и еще одного солдата, у которого нашли наибольшее количество вещей, выкраденных со склада. После короткого допроса нарушителей выставили наружу, прямо на солнцепек. При этом температура в тени была градусов под сорок. Они стояли навтыжку, рядом — охранник. Та же самая картина наблюдалась несколькими часами позже. Это было типовое, уже из-

вестное нам наказание, и оно могло продолжаться хоть целые сутки.

Днем Тью куда-то отвели, затем он появился вновь, на этот раз с тяжелым кузнечным молотом. Его опять поставили на солнце, вдали от любых источников тени, но рядом с деревянным чурбаном, по которому он и принялся бить своим молотом, раз за разом, час за часом. Глухие удары металла по дереву разносились по всему лагерю как неумолчный звуковой фон, аккомпанировали шагам пленных, когда те шли в мастерские или покидали их. Словно тамтам, оповещающий о каком-то зловещем, безымянном событии.

Тью никто не назвал бы слабаком, но все мы были истощены и уж во всяком случае не годились для бессмысленного оббивания чурбана молотом. Вечером начальник караула послал на пищеблок за едой для Тью. Кухонная команда расстаралась на славу: в большой котелок положили овощей чуть ли не на несколько человек и даже что-то мясное, ополовинив наши скудные запасы белка, а сверху замаскировали невинно выглядящим рисом. Японский офицер заглянул в котелок и махнул рукой: должно быть, белесая клейкая масса выглядела как дополнительное наказание. Тью получил свой ужин.

Его отпустили поздно вечером, до смерти изнуренного, в кровоподтеках, ссадинах и волдырях от солнечных ожогов. Не могу сказать, с чего мы хором решили, что это только начало; должно быть, сработал некий инстинкт, уже накопленный опыт знакомства с японской манерой согласовывать серьезные вопросы в новых инстанциях и на новых уровнях, каждый из которых выдавал свое мнение — или вид наказания.

Невозможно описать, что переживает военнопленный в такие моменты, пока заносится карающая длань. Работа и кормежка продолжались как ни в чем не бывало, однако теперь повсюду витал липкий страх вдобавок к повседневной неопределенности, которая заполняла мысли всякого заключенного. В бараках и на улице люди сбивались в маленькие кучки, бесконечно пережевывая мрачные варианты и перспективы.

Под первый удар попал Билл Вильямсон. Его с транзитной командой направили куда-то на прокладку путей. В тот момент казалось, что ему можно позавидовать: японцы явно решили, что он не столь уж важная птица в нашем подпольном предприятии. Из Билла получился хороший друг, но в военное время расставаться приходится по правилам, которые не дают поднять голову эмоциям. Сдержанность куда безопаснее.

Через неделю этапировали и Тью вместе с пожитками. Хотя ему позволили выходить на работу после первого раунда наказаний, он ни секунды не тешился самообманом, что выкрутился из передраги.

Прошло еще два дня, и в офицерский барак заглянул новостной «курьер» из главного лагеря в Канбури, в миле от нас. Мы узнали, что едва Тью туда попал, как начались многочасовые допросы со зверскими избиениями. После этого его — едва держащегося на ногах — поставили по стойке смирно на улице возле караулки. На пятьдесят часов. Весь день и всю ночь на протяжении двух суток.

10 сентября наступил черед Фреда Смита. Как и Тью, его тоже этапировали в «Аэродромный» лагерь. Бить не били, просто заставили стоять навтыжку — четверо суток подряд. Когда он терял сознание и па-

дал, его поднимали пинками и вздергивали за шиворот. Смит был невероятно вынослив физически, но сотня часов подобных мучений может сломать любого.

Как и всегда, эта новость попала к нам через вторые или третьи руки, причем на расстоянии все выглядело еще ужаснее. То, чего не могли видеть наши глаза, обретало чудовищные пропорции. В будущее тянулись, разбегались ветвистые нити возможных перспектив, одна другой болезненней; лабиринт с ловушкой на выходе. Я уже упоминал о той неопределенности, которая гложет ум заключенного и заполняет его дни напряженной тревогой. Так вот эти три недели были сущим адом неопределенности.

Любой намек на «нормальный», безопасный ход дел был насквозь фальшивым. Перед глазами так и норовили всплыть картинки, где японцы строчат бумага, перезваниваются, обсуждают, что делать дальше. Словно сидишь в камере смертников, даже не получив формального приговора. И все это время мы наблюдали странную смесь из головотяпства и маниакальной одержимости мелочами: больше никаких обысков японцы не устраивали. Ну почему они знали, вдруг у нас припрятаны и другие радиоприемники? За эти недели мы могли запросто от них избавиться...

Впрочем, на уме было кое-что еще; из памяти не шла история с Поумром, Ховардом и Келли. В феврале на участке ТБЖД неподалеку от Канбури был совершен побег двумя группами, одна из капитана Поумроя и лейтенанта Ховарда, вторая из трех рядовых под командованием сержанта Келли. Офицеры ушли весьма далеко, хотя пробираться пришлось через каменистые гряды, джунгли, непроходимые заросли кустарника и

бамбука. Думаю, у них не было даже карты, хотя бы такого качества, как моя.

Сначала поймали группу сержанта Келли, затем офицеров. Всех шестерых умертвили без какого-либо разбирательства или военно-полевого суда. Одни говорили, что их просто расстреляли на месте, другие заверяли, что палачи не торопились, закалывали штыками по очереди, после того как каждый выкопает себе могилу. Кому верить?

День за днем в офицерском бараке лагеря Сакамото-бутаи царили опасения и беспокойство, люди изобретали все новые версии наихудшего развития событий — и тут же от них отмахивались. Я не раз потом задавался вопросом, почему в таких обстоятельствах я не избавился от своей карты. Сейчас у нее был новый тайник: в пустотелом куске бамбука в задней стене сортира за баракom. Наверное, я сохранил ее потому, что она давала какую-то, пусть слабенькую, надежду. Насколько мне было известно, больше никто из пленных не имел на руках столь тщательно вырисованной карты достаточно обширной местности. Вот я и хранил ее на случай, если мы решимся на побег, на тысячемильный бросок к Бирманскому тракту. А потом, она была такая красивая...

21 сентября мы узнали, что нам приготовили.

Ранним утром четверо заросших, расхристанных японцев ввалились в офицерский барак. Один, помнится, был жирный, как боров. Кто-то из них заявил, мол, пять офицеров этапируются в другой лагерь. В нашем бараке жило девять человек, хотя в тот момент внутри находилось семеро. Вот и пришла та минута, которую мы поджидали; наступал конец, и принесла

его кучка опустившихся, безразличных ко всему лагерных охранников. Нам с товарищами даже не надо было перекидываться словами: все как один понимали, что происходит. Я присел на нары. Пузатый японец зачитал список: майор Смит, майор Слейтер, майор Найт, лейтенант Макей и лейтенант Ломакс.

Пока он говорил, к бараку подъехал грузовик. Двое оставшихся, капитан Холи и лейтенант Армитаж, сидели, не шелохнувшись и молча, потому как чего тут можно сказать? Или сделать... Японцы приказали тут же собрать вещи и залезать в поджидавший грузовик. Если не считать единичного упоминания о другом лагере, мы понятия не имели, куда нас отвезут.

Следующие несколько минут были апофеозом тихой паники. Я снял свою противомоскитную сеточку, положил ее на старый полевой тюфячок, скатал его в рулон. Все остальное уместилось в вещмешке, кое-что из одежды и мелких предметов я сунул в рюкзак и противогазную сумку. «Мебель» — колченогий столик, бамбуковая табуретка, полки, вешалки с бельевой веревкой — все это добро, над которым тряслись, которое копили в течение столь долгого времени, в одночасье стало бесполезным хламом. Сейчас могло интересовать только одно: как уцелеть.

Пока я собирал пожитки, в голове наперегонки носились мысли, что отнюдь не всегда идет на пользу. Коль скоро нам грозит великая опасность, шансы выпутаться крайне малы, если все пустить на самотек. Я знал, что на пути, который нам уготовили японцы, очень даже светит познакомиться с расстрельным столбом или виселицей. Вот я и подумал — если, конечно, так можно назвать импульсивно принятое решение, —

что, если мы все-таки решимся бежать и выберем себе северный маршрут, то есть по джунглям до Бирманского тракта, тогда карта нам более чем пригодится. В общем, я решил взять ее с собой, куда бы там нас ни занесло. Карта была моим талисманом, якорем, опорной точкой; она давала ощущение, что слепые шаги, которые мы теперь предпринимаем, все же ведут в строго продуманном направлении.

Я испросил разрешение сходить по нужде и отправился к бамбуково-пальмовому сортиру, что стоял над земляной ямой. В нагрудном кармане у меня лежал «дневник»: пачечка листков из туалетной бумаги, на которых я крошечными буквами записывал то кое-какие примечания к книгам, то события, произошедшие после сдачи Сингапура. Мелькнула мысль выбросить это в сортир, но стало жалко, да и вещь была очень уж безобидная. Голова шла кругом, все путалось. Оправившись, чтобы не вызывать подозрений, я сунул руку в бамбуковую полость, где держал карту. Она охотно вылезла, а вместе с ней и черный скорпион, крайне раздраженный, так и норовящий укусить. Я стряхнул его на землю, и он тут же рассек воздух своим ядовитым хвостом. Меня предупреждали, что опаснее всего как раз черные особи. Я потом часто ломал голову: интересно, а что было бы со мной дальше, попади я тогда под скорпионье жало?

Никто не заметил, как я достал и сунул под рубашку карту. Вернувшись в барак, я переложил ее в кожаный чехол для инструментов по ремонту радиостанций, где теперь держал всякую мелочь. Грязные, запущенные охранники тем временем отошли поодаль, и такое безразличие к нам еще больше взвинтило градус на-

пряженности. Складывалось впечатление, что нас для собеседования и трудоустройства вызывает какая-то крупная организация, где всем на все наплевать.

Мы впятером забрались в грузовик и устроились на ворохе пожиток. Японцы тоже залезли в кузов, сели чуть ли не впритык к нам; они дали понять, что за малейшую попытку бежать придется расплатиться жизнью. Лязгнула коробка передач, машина тронулась.

Среди военнопленных заведено стенать и охать на чем свет стоит, сутками напролет, и днем и ночью. Пожалуй, вся британская армия только и делала, что жаловалась друг другу. Это была своего рода отдушина в тоскливой рутине войны и плена. С другой стороны, солдаты понимали, что офицеры стараются как могут, порой сильно рискуют, защищая своих подчиненных в глазах лагерного начальства. Ну и, разумеется, они знали про обнаруженные радиоприемники. Когда случалось нечто экстраординарное — а сейчас люди уже знали, что произошло что-то очень опасное, — «нижние чины» смыкались за нами стеной поддержки. Все, кто собрался возле нашего барака, махали нам вслед. Кто-то отдавал честь робко, другие подчеркнуто, как на параде. Большинство из них видели нас в последний раз.

Нешадно трясаясь в дощатом кузове, мы быстро проскочили мимо караулки и свернули вправо, на главную Канбурскую дорогу. Я словно оцепенел от паники и напряжения; близость крайней опасности отзывалась головной болью, конечности стали неподъемными, внешне отяжелевшее тело подавляло инстинкт бегства. Где-то через милю мы въехали в главные ворота Канбурского лагеря, куда ранее этапировали Тью и Смита.

Здесь находилось несколько сотен военнопленных, а местная японская комендатура отвечала за все лагеря на начальном, южном участке ТБЖД.

Грузовик остановился сразу за воротами, возле КПП. Нам велели вылезти, вещи пошвыряли на землю. Потом заставили все это разбирать, каждый взял свой жалкий скарб — и автоматически стал нести ответственность за каждый предмет своего багажа. После долгого ожидания охранники из корейцев обыскали наши вещи, но сейчас там не было ничего интересного даже для самого дотошного служаки — за исключением одного объекта. Рывшийся в моих пожитках кореец так его и не обнаружил.

Охранники отвели нас к караулке, где приказали встать навтыжку в нескольких метрах от постройки, вдали от тени или какой бы то ни было защиты от солнца. Сама караулка представляла собой хлипкий навес с тремя стенами и пальмовой крышей, внутри помещался стол. У ближайшей к воротам стены застыл часовой; еще несколько охранников сидели за упомянутым столом, и среди них мясистый, пижонисто одетый, седовласый военный. Он и залаял на нас на беглом английском, вернее, его американском варианте. Приказал шагнуть ближе. Агрессивно настроенный, с презрительной ухмылкой, враждебными повадками, он принялся проверять наши личные документы, то и дело бросая уничижительные ремарки насчет двуличности и трусости западной цивилизации.

Быстро разделавшись с бумагами, он приказал вновь выйти на солнце. Там мы и стояли вдоль длинной канавы, через аккуратные интервалы, как телеграфные столбы на обочине. Время — десять утра.

Потянулись минуты, каждая длиной в час. Солнце давно перевалило через зенит, а мы все стояли по стойке «смирно» на нещадном солнцепеке. В такой ситуации тебе не остается ничего иного, кроме как прокручивать в голове мысли. Но этот процесс, по идее, должен управляться человеческой волей, а в условиях предельного стресса мысли становятся как бы сами по себе, бегут все быстрее и быстрее, словно вышедшая из повиновения машина, локомотив без машиниста.

Мы просто стояли, поджидая уже известного продолжения. Проклятая караулка была по размеру не больше подсобки, и те несколько охранников, что там вальяжно развалились, или их напарники, что следили за нами со спины, контролировали жизни нескольких сотен людей. Такая прорва народу — и зажата в одной-единственной горсти.

Мы простояли двенадцать часов. Когда враг сзади и буравит тебя глазами, нервы и кожа на спине становятся на удивление чувствительными. Ежесекундно чудилось, что вот-вот винтовочный приклад разможжит хребет или под лопатку вонзится штык. Из всех звуков доносилась лишь японская речь, порой грубый хохот.

Палящее солнце, неотвязные мухи и москиты, кормящиеся мокрой от пота, зудящей кожей, резь в глазах, уставших моргать от ослепляющего света, и даже сам страх мучительной смерти — все это к вечеру отошло на второй план. За дело взялась чудовищная жажда. За весь день так и не дали воды, хотя разрешали отойти в сортир. В одну из таких оказий я с крайним сожалением избавился от своего «дневника». Тоненькие листки, аккуратно испещренные записями о книгах, грамма-

тическими правилами, списками марок для филателистических коллекций — все это полетело в смердящую канаву.

На закате нашу пятерку сбили поплотнее и передвинули ближе к караулке. Темнота упала, будто кто-то щелкнул выключателем. Нас со спины освещала лишь слабая лампа караулки. Где-то ударили в рельс, и со стороны комендатуры повалила шумная толпа японцев и корейцев. Скорее сержантский состав, чем рядовые, но все равно замурзанные, в неряшливом обмундировании. У каждого в руке по черенку от лопаты. Остановились переброситься парой слов с охраной, будто решали, что с нами сделать.

Майору Смигу приказали выйти из шеренги вперед и поднять руки над головой. Долговязый, изможденный, со вздернутыми худыми руками, он напоминал огородное пугало — того и гляди переломится, страшно и жалко смотреть. Он стоял на краю круга света. На секунду подумалось — последний глоток надежды, — что это начало более изощренной формы столь любимой ими стойки навтыжку. Крепко сбитый японский унтер шагнул к нему и своей дубинкой хватил Смита поперек спины. Таким ударом и быка свалить недолго. Майор, конечно, упал, но пинками его заставили подняться. Все тот же охранник опять нанес удар, ничуть не слабее первого. И здесь налетела остальная сволочь. Через секунду только и было видно, как вздымаются и с глухим, тошнотворным звуком падают дубинки на барахтающееся тело. Порой несчастного вздергивали на ноги, чтобы тут же вновь сбить на землю. Билл Смит кричал, что ему уже за пятьдесят, молил о милосердии... Тщетно. Казалось, что эта банда палачей двигается в унисон со

своей измочаленной, еле шевелящейся жертвой, пока она слепо уползала в темноту, за границу жиденького света из караулки. Но даже оттуда, из мрака апельплаца, до нас по-прежнему доносились удары чего-то твердого по чему-то мягкому и мокрому.

Они орудовали дубинками вроде посохов или черенков от лопат, точь-в-точь как от шанцевого инструмента в британской армии; а может, это и вправду были черенки¹. Тот первый удар напоминал «пробу пера»; будто рабочий нашупывал ритм, а потом уже подтягивались остальные, аккомпанируя нестройным хором ударов и шлепков по мясу и костям. Собыют на землю, вздернут на ноги, вновь собыют — и так до тех пор, пока он вообще не перестал шевелиться. Мертвый ли, живой — я понятия не имел. Даже не мог сказать, сколько времени это заняло. Удары заменили собой пустые секунды проходящего времени; впрочем, думается, что ушло минут сорок, пока он не затих.

Солдатня вышла на свет. Вперед вызвали моего близкого друга Мортон Макея. Следующим стоял я. Когда они взялись за Мортон, когда на него обрушился град жутких ударов, я краем глаза заметил еще одну кучку охранников, которые гнали перед собой спотыкающийся, издерганный силуэт. Оказывается, Смит был еще жив; ему позволили упасть в канаву неподалеку от входа в караулку.

Макей ревел как лев, когда его сбивали с ног, но это повторялось вновь и вновь, пока и его не выгна-

¹ Деревянные посохи *бо* (дл. 180 см) и *хамбо* (90 см) традиционно использовались в японских вооруженных силах в рамках занятий физподготовкой, не говоря уже про полицию, где они до сих пор находят себе применение в качестве нелетального оружия и средства сдерживания.

ли в полутьму, за границу освещенного круга. Он тоже был оцеплен кольцом беспрестанно вздымающихся и падающих дубинок. Помнится, в голову почему-то пришло, что в тусклом свете эти орудия напоминают крылья мельниц, вот до чего механически-бездушным были их движения. Наступила минута, когда и Макея сволокли в канаву, швырнули рядом со Смитом.

Те мгновения, пока я ждал, когда выкликнут меня, были самыми страшными за всю прожитую жизнь. Что при этом творится в душе, описать невозможно; пронеслось воспоминание об услышанной в детстве истории о протестантских мучениках, на чьих глазах гибнут друзья, вздернутые на дыбу. Быть сначала свидетелем чужих пыток и видеть, как готовятся взяться за тебя, — это уже само по себе пытка, особенно когда исхода нет. Переживать такое означает начало какой-то разновидности безумия.

Что ж, теперь я. Должно быть, к этому времени уже отбило полночь. Я снял часы и аккуратно выложил их на стол в караулке. Будто собрался окунуться в бассейне. Очки сложил заботливым жестом, бережно положил рядом. Кажется, для этого пришлось немного отшагнуть назад. Никто из охраны не шевельнулся, даже слова не сказал. Наверное, от изумления.

Меня вызвали вперед. Я встал по стойке «смирно». Солдатня торчала напротив, сопя и отдуваясь. Пауза. Казалось, она тянулась минуты — и тут я повалился от удара в спину. Он отозвался по всем костям, обдавая тело жидким огнем боли. Внезапные удары сыпались теперь отовсюду. Я чувствовал, что падаю в какую-то бездну, что туда меня толкают могучие вспышки твердого света, который обжигал и мучил. Удавалось выч-

ленишь периодически удары по голове: кто-то топтал мой затылок, вдавливая лицо в щебенку; со щелчком лопались кости; вот выбили зубы, а вот я инстинктивно пытаюсь прикрыться от ударов в пах, силюсь встать на ноги, меня вновь сшибают наземь...

В какой-то момент я вдруг понял, что совсем плохо дело с бедрами, помню, как взглянул наверх, увидел падающие дубинки, нацеленные как раз на тазобедренный сустав, — и я выставил руки, чтобы отвести удар. Это послужило словно командой перенести теперь внимание именно на руки. Помню тот удар, которым мне перебили запястье. Дубина легла точно поперек; страшная боль от раздробленных тонких косточек. И все же самые мучительные удары приходились на тазовые кости и основание позвоночника. Думаю, они хотели разломить мой тазовый пояс. Все туловище словно вычерчивали ударами, вытравляли скелет кислотой боли.

Это продолжалось и продолжалось. Насколько долго? Есть вещи, которые нельзя измерить во времени, и случившееся — одна из них. Покажется абсурдом, но мне часто приходит в голову сравнение, что попытка и впрямь чем-то сродни собеседованию при устройстве на работу: точно так же странным образом сжимается время, и под конец ты не можешь сказать, сколько она длилась: то ли пять минут, то ли час.

Зато я точно помню, о чем думал: вот и смерть пришла. Мне никогда не забыть, как я звал Бога, звал на помощь в предельном отчаянье и беззащитности. Я скатился в глубокую канаву с гнилой вонючей водой, которая за пару мгновений до утраты сознания окатила меня свежестью родника.

Придя в себя, я обнаружил, что стою на ногах. Совершенно не помню, как выбирался из той канавы, но солнце, во всяком случае, уже взошло. Мое тело было одним прямостоящим сгустком боли, кровоподтеков и сломанных костей; солнечные лучи с жестокой игривостью дергали за воспаленные нервы. Возле меня лежали Смит и Слейтер, почерневшие, все в крови. Чуть поодаль в таком же виде пребывали Мак и Найт. Мы находились едва ли в паре метров от караулки, совсем рядом с тем местом, где стояли предыдущей ночью. Слейтер был почти голый; возле него на земле валялись лохмотья одежды, забрызганные грязью и кровью.

Сейчас охранники не обращали на нас никакого внимания. Занимались своими делами, будто рядом не лежат едва живые, избитые до полусмерти люди.

К середине утра в моей голове, должно быть, несколько просветлело, и я задался вопросом: а с какой, собственно, стати я стою, когда другие лежат? Я медленно растянулся на земле рядом со Смитом и Слейтером. От караульных по-прежнему ноль реакции.

После полудня со стороны комендатуры пожаловал рослый переводчик, изъяснявшийся на американском английском, присел рядом на корточки и окинул нас критическим взглядом. Затем отослал охранника за ведром чая, которым и принялся нас отпаивать, зачерпывая котелком. Люди зашевелились; не вставая, в различных горизонтальных позах мы умудрились проглотить немалое количество жидкости. Я присел. Попробовал взять котелок в руки, но запястья и ладони распухли и болели так, что от них не было никакого толку. Японский переводчик нашел выход, вливая

теплый чай прямо мне в рот. Я давился, кашлял, чай оказался каким-то прокисшим, но какое же это было облегчение — наконец утолить жажду!

Затем японец взялся нас поучать. Триумфально-издевательским тоном он сообщил, что через его руки не так давно прошли Тью и Смит, что их пришлось немножко «обработать», что они выдали все подчистую насчет сборки радиоприемников и распространения новостных сводок, что японцам теперь известно, какую роль мы играли, и что вскоре нам тоже зададут парочку-другую вопросов. Еще он сказал, что полное и чистосердечное признание облегчит последствия, а вот если мы будем упрямыться да артачиться, то — к величайшему, конечно, сожалению — придется повторить «события» прошлой ночи. Тут переводчик умолк, подарил нам какой-то странный, чуть ли не уважительный взгляд и присовокупил: «Вы очень мужественные люди. О да, очень мужественные».

С этими словами он удалился, а мы вновь рухнули наземь. Солнце висело уже высоко, и защиты от него у нас не было. Потом Слейтер рассказывал мне, что пришел в сознание, когда кто-то пытался прикрыть его обнаженное тело какими-то лохмотьями. Мы лежали так чуть ли не до самого вечера, когда начальника караула вдруг осенило, что мы уже достаточно отдохнули. Вот он и заорал, чтобы мы вставали. Весь аж затрясся от злобы, визжит, бесится. Мы попытались подчиниться. Я и Слейтер сумели подняться, у остальных не хватило сил. После этого начальник караула вновь утратил к нам интерес. Остаток дня, вечер и всю ночь этого 22 сентября мы опять-таки провели на улице.

На следующее утро рабочий контингент военнопленных в этом лагере разобрался на команды и уже готовился идти на строительство возводимого через реку моста.

Японцы требовали, чтобы всякая рабочая команда пересекала ворота лагеря парадным маршем и брала «равнение направо!» или «налево!», проходя мимо караулки. Каждый военнопленный считал делом чести выполнять это как можно небрежнее; зачастую на людей накатывал приступ кашля или чиха по мере приближения к охранникам.

В то утро авангардное подразделение выглядело как всегда: группа злых и отощавших мужчин в невообразимых одеяниях; у одних еще сохранились рваные шорты из комплекта тропического обмундирования, на других были одни лишь набедренные повязки, кто-то в грязных форменных рубашках или майках в сеточку; большинство в ветхих шляпах или самодельных головных уборах от нещадного солнца. Они волочили ноги, готовясь показать привычный спектакль презрения к тюремщикам. На сей раз, однако, их командир выкрикнул «Равнение направо!», когда они поравнялись с нами, еще за несколько десятков шагов от караулки. Шарканье исчезло как по волшебству, каждый четко, без малейшей помарки выполнил команду. Им позавидовали бы и кадеты военного училища в Сандхерсте. Все последующие группы взяли с них пример. Кому еще из офицеров выпадала такая честь?

Тем же утром, только позднее, мы увидели нечто походившее на маленькую похоронную процессию. Она остановилась возле караулки. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это две пары пленных

с носилками в сопровождении своего же товарища с красным крестом на рукаве, и в придачу охранник-японец. Японец о чем-то поговорил с начальником караула, носильщики взяли тех из нас, кто выглядел хуже, остальным было приказано следовать на своих двоих. Пленный с красным крестом представился военврачом из голландского контингента на Яве. Он отвел нас в лагерьный лазарет и сообщил, что ему поручили нас «отремонтировать».

Лазарет — или «госпиталь», как его именовал врач, — представлял собой небольшую хижину с пальмовой крышей и глинобитным полом. По обеим сторонам центрального прохода были впритык устроены низенькие бамбуковые лежаки. Молчаливые санитары помогли нам на них устроиться на манер плотно упакованных сардин. На пол полетели остатки одежды, затем каждого осторожно обмыли теплой водой с ног до головы. Принесли напиток со свежесжатым лимонным соком, и мы упились бы им до тошноты, если бы нас вовремя не оттащили. В жизни не пробовал ничего более освежающего.

Когда основную грязь и кровь отчистили, врач смог приступить к осмотру повреждений. В моем случае обе руки и несколько ребер оказались сломанными. Явно пострадал и один из тазобедренных суставов. Врача особенно поразило, что у меня не осталось ни единого участка нетронутой кожи между лопатками, в паху, по обеим сторонам грудной клетки, на бедрах и голених. Сама-то кожа была на месте, только иссиня-черная и набухшая, как бы плюшевая. Все тело ныло так, что я не мог определить источник боли. Четверо моих товарищей были ничуть не лучше, хотя

по какому-то выверту судьбы лишь я один оказался с переломами.

В скором времени санитары нас перебинтовали, а военврач лично вправил кости в моих руках и поставил шины. Обезболивающего не имелось, однако новая боль была почти незаметна. Заодно я отметил про себя, что вот уже второй раз мои косточки вправляют без помощи анестезирующих средств. Бойскаутскому вожатому в Эдинбурге и в кошмаре бы такое не при-
виделось...

Мы попытались успокоиться и просто спать до конца дня, попивая лимонный сок, если захочется, но от боли нас словно парализовало. Кстати, из всех медикаментов в этом крошечном лазарете и был, пожалуй, один сок. Тем временем кто-то забрал наше барахло из караулки и принес его нам. Мои очки и часы оказались в целости.

Японцы настрого запретили с нами общаться; лишь медикам было позволено вести с нами разговоры, и то лишь в связи с лечением. Понятное дело, мы часами болтали с нашим чудесным врачом. Он рассказал о том, как обошлись со Смитом и Тью, и добавил, что они куда-то пропали. Экзекуция, которой нас подвергли, была тщательно спланирована: японцы заранее объявили, что тем вечером все должны сидеть по своим баракам и что любой нарушитель, замеченный на улице, будет застрелен без предупреждения. Всю ночь напролет вооруженный караул патрулировал лагерь по периметру и в проходах между бараками.

После начала экзекуции военврач начал готовиться к нашему появлению. Внимательно прислушиваясь к происходящему, он подсчитывал удары дубинками, и

когда все закончилось — а это случилось перед самым рассветом, — их оказалось порядка девятисот.

Днем я проснулся и узнал, что возле караулки выстроили очередную группу офицеров, на этот раз из лагеря Сакамото-бутай. Из описания было ясно, что наступил черед Холи, Армитажа, Гилкрита и еще одного офицера, по имени Грегг, его я знал плохо. Они простояли там весь день; санитары всякий раз возвращались с один и тем же докладом, мол, по-прежнему торчат на солнцепеке, все в мухах. И вновь в районе десяти вечера банда заплечных дел мастеров взялась за свое.

Видеть мы ничего не могли, зато многое услышали. Глухие удары дерева по мясу, тяжелый топот, рев и визг агонии, пьяные выкрики японских унтеров.

Ранним утром за военврачом пришел охранник. После некоторого отсутствия врач вернулся с новостями: двое очень плохи, он постарается сделать все возможное. Голос у него был глухой, сдавленный, и мы даже сквозь боль могли видеть, что он чего-то недоговаривает. По идее, всех четверых наших друзей должны были уже принести в лазарет, но их все не было.

Доктор-голландец ничем не смог помочь Холи и Армитажу. На его глазах солдаты отволокли два безжизненных тела в японский сектор, где и скинули в яму под сортиром.

Гилкрита — то ли из-за крошечного роста, то ли из-за далеко не молодого возраста, то ли по необъяснимой прихоти фанатического ума — пальцем не тронули. Грегг, четвертый из них, тоже избежал экзекуции. Наш доктор вновь считал удары. На этот раз их было четыре сотни.

Два или три дня мы лежали в нашем убежище, не в силах шевельнуться от боли и онемения в конечностях, зато в голове бешено роились мысли, одна кошмарная фантазия нагоняла другую, до тошноты. Мы все ждали, что к нам, беспомощным и неподвижным, вот-вот придут, чтобы прикончить. К физическим ранам прибавилась жестокая психологическая мука: ожидание неизвестного. Мы понимали, что предусмотрена целая последовательность шагов, что каждый из них будет страшным, что мы не можем предвосхитить будущее, не можем сказать: «Ну, теперь все закончилось, мы достигли своего рода островка безопасности». В душе воцарился гибельный страх: худшее еще впереди.

Кормили хорошо, по высшему лагерному разряду. Пленные тайком приносили нам всяческие лакомства; мы литрами поглощали лимонный сок и с каждым днем чувствовали себя лучше. Исчезал иссиня-черный оттенок кожи, организм сам себя чинил, на теле начали проступать бледные пятна. Поразительно, до чего быстро происходит физическое исцеление; это как раз врачевание души требует времени.

Однажды утром в наш госпитальный барак без предупреждения пожаловала группа лощеных японских офицеров, а с ними и седовласый пижон-переводчик. С агрессивной бесцеремонностью нас осмотрели, задали пару вопросов врачу, объявили, что «неустрашимых повреждений нет» — и удалились. Похоже, мы до сих пор были у них на особом счету.

Когда я с помощью Макея и Слейтера прошелся по своим вещам, то все оказалось на месте. За исключением одного-единственного предмета: моей вручную нарисованной карты Сиам и Бирмы с нанесенной трассой ТБЖД.

Глава 6

В четыре утра 7 октября 1943 года нас вдруг разбудили. В сумраке дверного проема маячили три-четыре молчаливые фигуры. Кое-что удалось разглядеть. Знаки различия на их воротничках были мне незнакомы, однако ошибиться я не мог: эти люди куда опаснее любой толпы ошалевших от пьянства унтеров. Они представляли собой нечто более холодное, более расчетливое, организацию, чья тень нависала над самыми жуткими кошмарами любого заключенного, кто только работал на ТБЖД. Кэмпэйтий заработал себе репутацию подставить гестапо. А в наших глазах и того хлеще, потому что мы лучше других знали, чем в 1930-е годы прославилась японская секретная полиция¹ в Китае.

Снаружи ждал грузовик. Я вышел последним. Стараясь собрать свои немногочисленные пожитки, да только длинные шины на обеих руках вызывали боль при любом движении. Мак — что уже вошло в обычай за последние дни — помог уложиться. Выйдя из

¹ Японская военная полиция *кэмпэйтий* была организована в 1881 году по образу и подобию французской жандармерии. Вплоть до аннексии Кореи в 1910-м она действительно выполняла функции обычной военной полиции, но затем стала присматривать за общественным порядком как внутри Японии (через механизм МВД, хотя в стране имелась и отдельная гражданская секретная служба *токубэцу кото кэйсацу*), так и на оккупированных территориях. В ее функции входили выдача пропусков для передвижения, разведка и контрразведка, пропаганда и контрпропаганда, продрозверстка и контроль за карточной системой, вербовка на работы в метрополии и колониях, охрана тыловых объектов. Упразднена в 1945-м. В комплект униформы входила нарукавная повязка с двумя иероглифами *кэмпэй* в старом написании (справа налево). Название военнослужащего — *кэмпэй*.

лазарета, я присоединился к остальным, и мы залезли в кузов. Уже светлело, когда мы проскочили главные ворота Канбурского лагеря. Не оставляла мысль, что эта поездка вполне может быть последней, и холодный свет зари подходил идеально.

Грузовик вновь отвез нас лишь на небольшое расстояние; мы двигались черепашьям шагом по кругам мучений. Теперь выяснилось, что нас доставили непосредственно в город Канбури. Машина шла параллельно руслу Мэклонга, по узкой улочке, застроенной длинными кварталами вполне солидных домов сиамских и китайских торговцев. Я не раз видел это место белым днем. Как правило, первый этаж отводился под лавку, склад и контору; на втором этаже жили хозяева. Возле одного из таких домов мы и остановились. Это было высокое строение со специальной защитной стеной, выходявшей на улицу. Возле узенького входа вооруженный часовой. Вплоть до этой минуты мы и не догадывались, что у кэмпэйтая имеется местная штаб-квартира. Наша война вдруг резко поменяла характер: теперь оружием становились тайны, подозрительность и паранойя.

Нас согнали с кузова и торопливо провели по сумрачному коридору на задний дворик, который неширокой полосой тянулся до реки. Хотя глянцевый простор мутного потока раскинулся совсем близко, берега оказались слишком отвесными, а сама река протекала далеко внизу. По левую руку дворик заканчивался стеной, вдоль нее были устроены небольшие клетки: в длину метра полтора, ширина сантиметров семьдесят пять, высота менее полутора метров. Потолок сплошной, гладкий и твердый; на солнце работает как электро-

плитка. Передняя стенка была собрана из перекрещенных стволов бамбука.

Нам разрешили оставить при себе по одеяльцу, кружке для воды и майку с шортами, которые были на нас надеты. Остальные вещи, в том числе обувь, отобрали. Нас постепенно лишали последних крупиц личного достоинства и уже успели зачихать чуть ли не в стойла.

Дверцы закрыли на замок, и мы остались наедине со своими мыслями. Я лег на пол, по диагонали. Во мне больше метра восьмидесяти, поэтому пришлось поджать ноги, а руки развернуть вверх, чтобы не придавить места переломов собственным весом. Впрочем, деваться было некуда. Хотя громоздкие шины и повязки ужасно мешали, стоять пригнувшись тоже не выйдет, да еще под самым потолком. От дикой жары перехватывало дыхание; солнце поднялось и словно высосало воздух из клетки.

Друг с другом мы не общались; о том, чтобы перекрикиваться, не могло быть и речи: в дворике стоял часовой с безжалостной физиономией, и длинный штык его винтовки отбрасывал тень на землю перед нашими клетками. Где-то ближе к полудню нам дали по чашке отчаянно пересоленного риса, слепленного в тяжелые, будто свинцовые комки. Вечером последовала новая порция этой обезвоживающей массы. Я отнесся к ней с крайним подозрением и старался есть как можно меньше. А вдруг они так пытаются нас сломать, жаждой довести чуть ли не до сумасшествия? Увы, вплоть до самого конца нас кормили два раза в сутки этим пересоленным рисом. Я все сильнее и сильнее страдал от голода, а уж пить хотелось ежесекундно.

Впрочем, я хотя бы ел не руками, а ложкой. Правда, ужасно длинной. Один из санитаров в Канбурском лагере примотал для меня ложку к палке, так что вся эта конструкция была в длину под полметра. Обычная ложка не годилась, так как я не мог вскинуть руки достаточно высоко, а японцам я, видимо, был еще нужен живым, вот мне и разрешили оставить этот удивительный столовый прибор.

Под вечер клетка превращалась в самую настоящую духовку. Красные — самые свирепые — муравьи ползали по стенам и по мне. Невозможность пошевелить руками сводила с ума: я ведь не мог смахнуть насекомых ни со спины, ни с ног.

Следующие несколько дней слились в нечто зыбкое. Я уже не замечал смены дня и ночи. В голове все путалось, порой я впадал в забытье.

Думаю, прошло наверняка не меньше полных суток, прежде чем начались допросы, — а вот дальше все в тумане. Как-то утром двое охранников отвели меня в главное здание. По пути я миновал другие клетки и видел в них сидящие на полу силуэты, но никто из них даже не шевельнулся. Очутившись внутри, я под толчки в спину проковылял по коридору и попал в комнату, сплошь обшитую деревом, какой-то темной тропической породой, отчего здесь вечно царило сумеречное настроение. За узким простеньким столом (тоже из темного дерева) сидели два японца.

Один из них был рослым, широкоплечим, мускулистым человеком с налысо бритым черепом. Судя по обмундированию — унтер-офицер, а судя по чертам лица и могучей шее — любит и умеет применять насилие. Вторая личность, одетая как обычный рядовой, была

куда более хрупкого, чуть ли не изысканного сложения. Красиво вылепленная голова, черные как сажа волосы, широкий рот и четко очерченные скулы. Рядом со своим мясистым и brutальным коллегой он выглядел решительно не по-военному. Непринужденности в этой парочке не читалось; было очевидным, кто именно тут командует.

Хлипкий начал первым. По-английски он говорил с резким акцентом, невнятно, но весьма бегло. Представился переводчиком, который помогает сержанту «специальной полиции», как он выразился, расследовать «массовые антияпонские действия», имевшие место в близлежащих лагерях военнопленных. Нам известно, сказал он, что этими «противозаконными действиями» руководят офицеры из лагеря Сакамото-бугай.

Тут заговорил, вернее, залаял унтер, и хлипкий приступил к собственно переводческой работе. Практически до самого конца допроса их стили подачи разительно отличались: унтер чуть ли не упивался своей агрессивностью, заранее приписав мне вину и полнейшую никчемность, если судить по тем презрительным формулировкам, в которые он облакал вопросы. Его более молодой напарник звучал как некий механический болванчик, который лишь отрабатывает свои обязанности при полнейшем безразличии. Он вроде бы побаивался этого унтера — а может, мне просто хотелось так думать. Сейчас он переводил длинную угрожающую речь, подавая ее сбивчивыми кусками. По сути дела, это предваряющее выступление сводилось к следующему: «Ломакс, мы уже допросили ваших коллег Тью и Смита. Они во всем признались, рассказали о том, как собирали радиоприемники в лагере Сакамото-бу-

тай. Сознались, что распространяли новостные сводки. Ломакс, они все рассказали нам о вашей роли, о сборе денег на покупку радиодеталей из Бангкока, о том, что вы передавали новости по другим лагерям. Кое-кто еще до вас собирал приемники, их всех поймали и казнили. Как бы то ни было, вас, Ломакс, тоже скоро убьют. Однако советуем не терять времени даром и рассказать всю правду. Сами знаете, как мы умеем обращаться с людишками, если того захотим».

«Вас тоже скоро убьют...» Равнодушная констатация факта, чуть ли не малозначащая ремарка в сторону. Меня только что приговорил к смерти мой ровесник, который делал вид, будто его тут вовсе нет, и которому моя судьба полностью безразлична. Сомневаться в его словах не приходилось.

Я знал, что был единственным британским офицером-связистом в радиусе нескольких миль от Канбури. Мой опыт и технические знания в первую очередь навлекут подозрения, так что я практически ждал обвинительного акта, произнесенного переводчиком, и ничего не мог возразить.

Приступили к допросу. Им захотелось узнать историю моей семьи: последовали дотошные расспросы о моих дедушках, бабушках, прочих родственниках, про мать с отцом, чем те занимаются... В комнате было душно, я страшно вымотался, устал от боли. Бессмысленность происходящего начинала серьезно действовать на нервы. Вот я в сиамской деревне пытаюсь объяснить переезды моих ланкастерских и шотландских предков паре ничего не смыслящих японцев.

Они хотели знать о моей работе до войны, о моем образовании, послужном списке вплоть до сдачи Син-

гапура в феврале 1942-го. После этой даты расспросы стали предельно подробными. А когда мы — по истечении нескольких часов — наконец добрались до моего перевода в Сакамото-бутай, мне пришлось рассказывать чуть ли не о каждом проведенном там часе.

Еще их интересовал мой довоенный досуг. Я попытался было объяснить свое увлечение поездами и железными дорогами, попробовал донести хоть что-то, чем именно может быть притягательна жизнь в стране, положившей начало промышленной революции. На физиономию молодого переводчика легла маска холодного недоумения. Японцы перебросились горстью комментариев к моим ответам и двинулись дальше.

А именно к более серьезным и, с учетом обстоятельств, более абстрактным вопросам: кто победит в войне, где будут высаживаться союзники?.. Потом они могли вдруг перескочить на нечто конкретное, скажем, с какой стати нам вообще захотелось слушать радиосводки? Почему нас не устраивают новостные колонки в англоязычных японских публикациях и местных газетах? Встречались и тупые вопросы, например нравится ли мне рис. И т. д. и т. п., до тошноты.

По-настоящему их интересовала антияпонская деятельность в лагере, а еще больше — есть ли у нас какие-либо контакты с партизанами, агентами или движением Соппротивления. В эту точку они били раз за разом; очевидно, я был для них кусочком какой-то сумасшедшей мозаики, объединявшей и Сингапур, и Малайю, и Таиланд — словом, все те места, где они сталкивались с неудачами или противостоянием оккупации. Я знал, что фатальным станет хотя бы намек на существование подобных контактов; да и не было их у нас вовсе.

Через меня пытались устроить перекрестную проверку тех показаний, что уже добыли от Смита и Тью, и вот почему задавали вопросы, какого именно числа мы впервые услышали радионовости, о чем там шла речь и как часто мы включали свой приемник. Я старался отвечать расплывчато, отвлеченно и нудно. По ходу дела переводчик обмолвился, что Фреда с Лансом до сих держат где-то неподалеку, и с этим знанием вспыхнул проблеск надежды.

В случаях, когда я заранее был уверен, что им кое-что известно, приходилось идти на подтверждение тех или иных фактов, но это, в свою очередь, вело к целому списку противоречий с предыдущими версиями событий, и все начиналось вновь.

В ходе одного из этих удушливых, бесконечных допросов — может статься, на вторые сутки, где-то после полудня, хотя я окончательно утратил чувство времени — мне в голову пришло, что неплохой тактикой оказался бы отвлекающий маневр. В молодом переводчике читалась какая-то основательность, школярское прилежание и даже намек на удовольствие, когда заходила речь о британском образе жизни и культуре. Хотя, конечно, вычленить его эмоции было сложно, тем более что я успел возненавидеть нескончаемый поток монотонных вопросов, туповатую настойчивость и самодовольно-ограниченную эффективность, с которой японцы пропускали меня сквозь отработанную систему. Складывалось впечатление, что я из этой комнаты не выходил месяцами. И все же, когда вновь зашла речь о моем образовании — будто ключ к проблеме, отчего рушатся их имперские амбиции, можно найти в расписании занятий моей эдинбургской школы, — я

улучил подходящий момент и попросил рассказать что-нибудь о японской системе обучения. Переводчик по собственной инициативе поделился кое-какими воспоминаниями, и мы даже с интересом обменялись мнениями насчет изучения языков. В эту минуту — были и другие похожие моменты — я и ненавидел его, и нуждался в нем, как в якорю, а все потому, что мы разделяли с ним общий язык и питали друг к другу взаимное любопытство.

Унтер-кэмпэй наконец заподозрил что-то неладное и пристал к переводчику, который напомнил мне, кто в этой комнате имеет право задавать вопросы. Этот парень служил всего лишь каналом связи, и когда «сигнал» застревал или искажался, сержант орал и на переводчика, который в такие минуты чем-то смахивал на человека вроде меня. Впрочем, ненавидел я их обоих, а переводчика даже больше, потому как именно его голос меня допекал, не давал передышки.

Конечно, они были одержимы нашими радиоприемниками, но все же долго выжидали, прежде чем перейти к передатчикам. И тут началось: а у вас был передатчик? как бы вы сами взяли его собирать? какие материалы понадобились бы? раз уж вы собрали приемник, отчего не стали собирать передатчик? Ломакс, а вы сами умеете их собирать? ах, умеете? стало быть, собрали! Ну-ка выкладывайте, чего вы там передавали!.. Вот из подобных-то вопросов мне и стало ясно, до какой степени они были невежественны в радиоделе: к примеру, пожелали узнать, как простенький детектор превратить в передатчик — что невозможно.

Отвечать на такие вопросы не трудно, куда сложнее убедить в том, что говоришь правду. Преодолеть раз-

рыв, что пролегал между нашими знаниями, не удалось; я вдруг стал жертвой всего моего воспитания и культуры, коль скоро мои тюремщики происходили из относительно отсталого общества. Сейчас — после сногшибательного научно-технического прогресса Японии на протяжении полувека — в это нелегко поверить, но в 1943 году японская армия была технически примитивной, отражая частично феодальный уклад всей страны. У мужчин, сидевших напротив меня, попросту недоставало знаний, чтобы дать оценку моим словам, когда я уверял их, что слишком сложны технические проблемы, связанные с изготовлением рации, что никаким пленным не удастся сотворить чудо из тех жалких материалов, которые имелись в их распоряжении.

Однажды японцы поменяли унтера: предыдущий не сумел извлечь нужные им ответы. Пока что меня никто и пальцем не тронул, однако от нескончаемых оскорблений, передаваемых бесстрастным молодым человеком, голова шла кругом; на меня обрушивали поток идиотских вопросов, не давали спать... Час за часом я сидел, уронив сломанные руки на колени и мечтая лишь о сне. По восемнадцать часов кряду, с рассвета до заката. Пару-другую раз меня будили ночью, приводили в допросную. Утомительные однообразные вопросы повторялись бесконечно. В голосе переводчика было так мало интонаций, что он поселился даже в моих ночных кошмарах.

Думаю, я был первым англо-говорящим человеком, который ему встретился после обучения. И вот он помогает этого человека сломать. Я ненавидел его все больше и больше. Именно он задавал вопросы, не да-

вал мне покоя. Меня уже тошнило от одного его вида, я был готов его убить за вечную назойливость, монотонно-механическое любопытство к вещам, которых ему никогда не понять.

В памяти всплыли все те разговоры среди пленных, мол, когда ты видишь, что уже точно конец, так отчего бы не забрать с собой кого-то из этих... Сказать-то легко, а если у тебя обе руки сломаны? Но сейчас эта мысль не давала мне покоя. Переводчика — вот кого я постарался бы прикончить.

Понятно, я не мог навешать им лапши на уши или вообще дать волю фантазии, потому что боялся последствий, когда мою игру раскусят. Я ведь не знал наверняка, что конкретно и в какой степени им известно; ясно было лишь, к чему они клонят. Моя задача звучала так: дать им достаточно удовлетворительную информацию, но чтобы не подвести кого-то еще. На меня постоянно давила близость катастрофы из-за одного-единственного непродуманного слова. Японцы хотели знать, с кем мы вступили в контакт, каков механизм передачи информации по ТБЖД, у кого мы покупали радиодетали — вот я и отвечал, дескать, какой-то мужчина в форменной рубашке, но без знаков различия, и мы понятия не имели, из какого он подразделения; не я занимался передачей информации, а какой-то другой, безымянный пленный из чужого барака; мы просто оставляли записку снаружи и не видели, кто именно ее забирал...

Я упрямо держался своей линии и был ежесекундно начеку. Стоило лишь намекнуть на членство в более широкой подпольной сети, как они тут же взялись бы пытаться всех по очереди, выбивая контакты. Шофе-

ра-артиллериста Томлинсона, к примеру, взяли бы в оборот, чтобы он выдал имена тех, кому передавал новостные сводки, и эти невинные слушатели Би-би-си тоже пострадали бы по цепочке. Пока что создавалось впечатление, что я единственный из нашей команды попал в столь тщательную проработку, а все потому, что именно Королевские войска связи были в японских глазах источником и организатором коммуникационного саботажа.

Странное чувство: быть приговоренным к смерти, когда тебе лишь двадцать с небольшим. Как ни удивительно, это даже позволяет чуток расслабиться, если знаешь, что каждый новый день дается словно неожиданный подарок. Однако продолжалась и психологическая пытка. Памятуя о судьбе капитана Поумроя и лейтенанта Ховарда, я не ждал никакой иной развязки, чем быть привязанным к столбу напротив расстрельного взвода где-нибудь в лесу — если серьезно повезет. Залп, и точка. Родители, конечно, так и не узнают, где моя могилка.

Меня предоставили игре моего собственного воображения, а это самый жестокий истязатель из всех. Я ждал смерти, но не было четкой, а главное, осмысленной картинки конца. Сейчас я обитал в мире, лишенном правил: враг в любой момент мог изобрести нечто новое, а у меня ни координатной сетки, ни точек опоры. В знакомом мне мире на постоянство чуть ли не молились, это был мир, предсказуемо и чудесно организованный; прибытия и отбытия играли важную роль, однако в конечном счете являлись подконтрольными событиями. В моем мире поклонялись всем видам коммуникаций и средствам связи, и я сам, своим

собственным самобытным путем, был предан делу их улучшения и прогресса. Насилие все разметало на клочки.

Когда меня не допрашивали, я лежал в своей клетке. С момента нашего здесь появления нам ни разу не дали ни помыться, ни побриться, и сейчас я был грязнее грязного. Клетке досталось еще больше. По ночам оправляться не выводили, а жили мы исключительно на рисе. Думаю, именно Слейтер из клетки по соседству «допек» хлипкого переводчика, когда тот шел мимо: дескать, ни вам, ни нам не нужно, чтобы мы ходили по нужде прямо на пол или в кружки для воды. В итоге нам раздали бамбуковые трубки, заткнутые с одного конца. Сюда можно было облегчаться по ночам. Впрочем, сам я никогда не видел переводчика вне той душной, обшитой деревом комнаты. Общаться со Слейтером я тоже не мог из-за вечного часового, да и чем меньше мы говорили друг другу, тем лучше.

По ночам света не было, и я, невыразимо подавленный, просто лежал поперек клетки. За ходом времени старался следить, рисуя на стене черточки рыбьей костью, которую нашел в рисе. В темноте меня одолевали полчища moskitov, налетавших со стороны реки, и единственным спасением от них было с головой закутаться в одеяло, но при этом становилось нечем дышать, так что приходилось мириться с укусами насекомых.

В ночном бреду, когда я валялся в клетке в рубашке и шортах со сверхдлинной ложкой за компанию, меня посещали исступленные видения. Голова будто превращалась в машину, производившую тексты, слова и картины, которыми затем меня и питала, причем пи-

тала бессвязно, путано, скомкано — хлам из речовок, лозунгов, сцен и выдумок. Я становился экраном, где кусками и обрывками что-то разворачивалось. Порой эти фантазмы звучали, да еще как громко; порой глаза болели от насыщенности образа. Картины религиозного характера, исполненные невероятного и убаюкивающего величия, были основаны на самых экзальтированных текстах, а именно на протестантской литературе семнадцатого столетия. Такие, к примеру, сентенции:

Се, стою у двери и стучу:

если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему...

Ну кто же собственным страданиям рад? ... Кто б не бежал из Преисподней:

- Близок ли путь до Вавилона?
- Эдак миль пятьдесят.
- Так я попасть туда к ночи успею?
- Еще и вернетесь!

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, и знал ли агнец наш святой зеленой Англии луга? Где глас остереженья? Горе вам, живущим на Земле! Но человек рождается на страдание, как искры — чтоб устремляться вверх.

В худшие минуты время полностью уходило из моего внутреннего мира боли и бессонницы. Однажды, проведя на допросе вроде бы целую ночь, я вышел наконец во дворик и увидел реку в маслянистом рас-

светном свете, который заливал наши клетки бледными тенями. Тут вдруг стемнело, и я понял, что был свидетелем вовсе не рассвета, а заката.

Японцы вернули предыдущего унтера на прежнее место. Он любил хлопать по столу деревянной рейсиной или угрожающе ей размахивать, чтобы привлечь мое ускользящее внимание. «Ломакс, вы нам все расскажете». С каждым днем его агрессивность только росла.

Как-то утром меня опять привели к ту комнату — и я увидел на столе развернутую карту. Мою карту. Такую аккуратную, опрятную, точную... Унтер с переводчиком глядели в окно, повернувшись ко мне спиной. В комнате царила полнейшая тишина. Так я простоял довольно долго.

Затем они обернулись и обрушили на меня бурю притворного гнева. Очевидно, что про карту они знали с самого начала, но хотели выбить меня из равновесия. «Очень хорошая карта... Зачем вы ее начертили? Где украли бумагу, где раздобыли сведения? Должно быть, есть и другие карты, которыми вы пользовались... Где они? Собирались убежать сами? Или с другими? С кем именно?..» И постоянно возвращались к одной и той же теме: с кем мы планировали встретиться? где эти крестьяне, что обещали помочь? получали ли мы указания по радио? есть ли в деревнях свои приемники? И так далее и тому подобное.

Молодой переводчик все полнее осваивал роль следователя; похоже, начинал входить во вкус. Эта парочка разошлась не на шутку. Я едва ли не кожей ощущал, до чего они раздражены ходьбой по кругу из-за моего упрямства. В воздухе запахло грозой.

Они хотели знать, чего ради я изобразил на карте трассу ТБЖД. Я пытался объяснить, что с детства увлечен этой темой, что карту сделал как бы в качестве сувенира о Сиаме и нашей железной дороге, что мне вообще нравится знать, где какая станция расположена. А они никак не могли поверить, что хотя бы здесь я не врал: я действительно не утратил тяги все записывать, перечислять, трассировать... Я рассказывал им про поезда, говорил о стандартной ширине британских путей и о том, до чего любопытно наблюдать воочию работу метрической железнодорожной системы, излагал проблемы, связанные с экспортом локомотивов из одной страны в другую, когда у них не совпадает колея... Переводчик с трудом подбирал нужные термины, путал сортаменты, типоразмеры и весовые единицы.

Он не раз и не два переспросил: «У вас железнодорожная мания?», имея в виду, как мне кажется, принадлежу ли я к энтузиастам железнодорожного дела. Голос выдавал его всамделишное, раздраженное недоумение — и затем он взялся объяснить столь невероятное оправдание моих действий своему коллеге, который все больше наливался кровью и мрачнел с каждой преходящей минутой.

И вдруг унтер схватил меня за плечо, буквально сдернул со стула, потащил вон из комнаты стальной хваткой, больно защемив кожу под рукавом. Помню, что, стоя в наружных дверях, я видел и дворик, и речной берег, и широкий бурый поток, текущий мимо. Видел клетки, заметил в них майора Смита, и Мака, и Слейтера; а еще я увидел, что к нам «подселили» Тью со Смитом... Кстати, спустя полвека один человек, который был полностью в курсе этих дел, сказал, что

сначала меня отправили в санблок, где стояла некая емкость, полная воды, и что раз за разом меня в ней топили. Человеку этому я верю, но — ей-богу! — по сей день не получается вспомнить «водные процедуры». Ничегошеньки ровным счетом: странный избирательный фильтр позволяет нам кое-что утаить от самих себя. Зато продолжение помню очень хорошо.

Посреди дворика поставили скамью. Переводчик велел мне лечь на нее, что я и сделал — ничком, чтобы не повредило сломанным рукам, которые я сложил под скамейкой. Унтер тут же вздернул меня обратно и заставил лечь навзничь, после чего привязал веревкой. Руки оставил свободными. Допрос продолжился. Голос переводчика: «Ломакс, вы нам расскажете, зачем нарисовали эту карту. Вы нам расскажете, зачем нарисовали карту железной дороги. Ломакс, вы вступили в контакт с китайцами?»

Унтер вооружился дубинкой — корявым суком от дерева. Каждый вопрос хрупкого человека возле меня сопровождался теперь страшным ударом, который унтер наносил с высоты своего роста по моей груди и животу. Знаете, гораздо хуже, когда ты это видишь, так сказать, в процессе, над собой: расчетливый замах — и неторопливый удар. Я старался прикрыться, и сук раз за разом попадал мне по сломанным рукам. Переводчик так и приклеился к моему плечу. «Ломакс, вы нам расскажете. И тогда это закончится». Он вроде бы даже взял меня за руку: странный позыв, тошнотворный контраст между жестом сочувствия и беспощадной жестокостью того, что они со мной вытворяли.

Трудно сказать, сколько длилось избиение; мне лично оно показалось слишком долгим. Унтер вдруг

остановился. Отошел в сторонку, а вернулся, таща за собой шланг, откуда сочилась вода. Судя по его расторопности и близости водопроводного крана, он уже наловчился проделывать этот маневр.

В ноздри и рот ударила струя под полным напором — с расстояния в несколько сантиметров. Вода забила гортань, глотку, легкие, желудок. Невообразимое ощущение — захлебываться на суше, под горячим полуденным солнцем. Пока давишься водой, из тебя выплескивается все человеческое. Я изо всех сил хотел потерять сознание, но ничего не вышло, этот тип хорошо набил руку. Когда мой кашель превратился уже в неконтролируемые спазмы, унтер отвел шланг. Вновь раздался деревянный, назойливый голос переводчика: сейчас он говорил мне прямо в ухо. Унтер тем временем еще несколько раз ударил меня суком по плечам и животу. А мне говорить было нечего; я уже был за гранью. Тогда они вновь отвернули кран, и вновь начало тошнить потопом изнутри, вновь я наливался и захлебывался водой.

Уж не знаю, сколько продолжалась чередой избиений и полуутоплений. Не знаю даже, закончилось ли все в тот день, или было продолжение на следующий... В конечном итоге я очнулся в своей клетке.

После наступления темноты — в тот ли вечер? или в другой? насчет времени из меня тот еще свидетель, — так вот, унтер-кэмпэй самолично пожаловал к моей клетке и сквозь решетку протянул кружку молока — горячего молока из разведенной сгущенки. Неизъяснимое наслаждение, но даже в ту секунду я понимал, что здесь и не пахнет человечностью: это просто часть плана, узник должен полностью утратить ориентацию.

Допросы прекратились. Однажды утром, без каких-либо предупреждений или объяснений, клетки вдруг открыли, и нас поручили хлипкому переводчику. На дворик из здания вынесли наши вещи. Всем — а нас теперь было семеро — велели упаковать по одному вещмешку, потому как нас вновь куда-то этапируют. Это был очередной раунд потери пожиток и сходства с остальным человечеством. Мы наперебой задавали вопросы, однако молодой переводчик-тире-спец-подпросам отмалчивался. Подкатил грузовик с несколькими конвоирами в кузове.

Переводчик заставил нас показать, что именно мы с собой взяли. Я вынул Библию, он кивнул. Тогда я вытащил снимок моей невесты в картонном паспорту. Он решил, что это слишком уж расточительно, что места и так не хватает, а посему оторвал фотографию от подложки, картонку выбросил, снимок отдал мне.

Тут Слейтер спросил: «А деньги разрешено с собой брать?» Я был слишком расстроен, чтобы сообразить, есть ли тут сарказм или он интересовался на полном серьезе. Переводчик ответил: «Там, куда вы отправляетесь, деньги не понадобятся».

Пока я с помощью Мака залезал в кузов, ко мне подошел переводчик и с мрачной торжественностью заявил: «Выше голову». Грузовик двинулся, и он остался стоять во дворе — хрупкая фигурка среди кряжистых солдат из регулярных частей.

Вполголоса, под гул мотора нам удалось немного пообщаться друг с другом, потому что конвоиры были заняты разговорами между собой. Нашей темой был допрос: у кого и как он проходил; я рассказал про шланг. Невозможно переоценить теплую поддержку и

гневную реакцию друзей: все за одного. Удивительным настроением была пронизана наша торопливая беседа шепотом, мы не сомневались, что на сей раз уж точно везут на смерть.

Однако через тридцать миль нас привезли на станцию Банпонг, начальный пункт ТБЖД, где и высадили у платформы восточной ветки. Неужели теперь ждет Бангкок?

Вскоре подали и поезд, самый обыкновенный пассажирский, для местного сообщения, битком набитый гражданскими сиамцами. Впрочем, с сидячими местами проблем не было: народ с готовностью срывался прочь, лишь бы оказаться подальше от кэмпэйтая.

Мы двигались на восток. По левую руку остался лагерь военнопленных в Нонгпладуке, один из крупнейших в Сиаме. С противоположной, то есть южной, стороны я видел новенькие, хорошо разветвленные подъездные пути, вереницы многочисленных вагонов, открытых платформ, маневровых «кукушек» и большое количество японских паровозов серии «С56». Первый раз я видел такой в Прае, на пути сюда... Такое скопление техники могло означать лишь одно: ТБЖД действительно была закончена в рекордные сроки. Как же, наверное, гордились собой японские инженеры...

Я задался вопросами, сколь многим из пассажиров ведомо, чего стоило вручную прорубить путепроводы в скалах, и как долго простоят эти сооружения.

Несмотря на все муки, через которые нас пропустили, удалось практически нетронутым сохранить секрет сборки и настройки приемников, структуру и механизм передачи новостных сводок и даже истинное назначе-

ние моей карты. Молчание было единственной доступной нам формой мести. Если не считать догадки, что поезд везет нас в столицу Сиам, сейчас мы понятия не имели, к чему готовиться.

Глава 7

На бангкокском вокзале кэмпэйтийцы вывели нас на платформу, в толпу сиамцев-путешественников в ярких саронгах, где и передали в руки взвода солдат. Их численность и нагловатая настороженность, будто они специально подзуживали нас на побег, давали понять, что мы немало значили в глазах какого-то вышестоящего чиновника, фанатика нацбезопасности. Шестерых моих товарищей тут же заковали в наручники, а меня вокруг пояса обвязали веревкой, второй конец которой держал конвоир. В таком виде нас и повели сквозь людскую толчею. Гражданские делали вид, будто ничего не замечают, или тут же отводили глаза, — не принято пялиться на человека с выставленными вперед сломанными руками, которого ведут на веревке будто осла, да еще в компании шестерых оборванцев с кровоподтеками. Мы как призраки скользили сквозь переполненный вокзал.

Нас уже поджидал японский грузовик, куда-то повезли. Война словно оглушила город, почти не оставила уличного движения; встречались только велосипеды. Нездоровая тишина подавляла резким контрастом с нашим рычащим грузовиком, изрыгавшим грязные клубы дыма. Мы миновали германское посольство, внушительное каменное здание, чей фасад оттенялся

багряным флагом со свастикой. Некоторое время ехали вдоль электрифицированных трамвайных путей, по которым тащились, побрякивая, старенькие одноэтажные вагончики. Их звон наводил на мысли о родном доме.

И вот мы добрались до солидного и невыразительного здания; у входа, на совершенно пустой улице, навывтяжку застыли часовые. Судя по обмундированию тех, кто нас принял и рассадил по камерам, здесь управлял кэмпэйтэй. Меня сунули к перепуганным сиамцам и китайцам, все как один гражданские, кое-кто в слезах. Я обратил внимание, что наша камера была квадратной, что показалось очень странным. Минуту спустя я сообразил, что успел привыкнуть к прямоугольным камерам; меня уже низвели до состояния, когда я научился замечать малейшие изменения в той среде, сквозь которую меня пропускали.

На следующий день нашу семерку вновь собрали вместе и перевезли, на сей раз на территорию некоего поместья, надо полагать, очередного реквизированного владения в длинном списке секретных объектов японской армии. Здесь имелось немало служебных построек, одну из которых и превратили в импровизированную каталажку. Вместо фасада устроили решетку, чтобы прогуливающийся у входа часовой мог видеть арестантов. Нас загнали внутрь и приказали сесть на пол. Мы подчинились. Японский офицер только головой покачал и продемонстрировал, как именно полагается сидеть: исключительно поджав ноги.

В этой камере мы просидели тридцать шесть дней — в буквальном смысле просидели: колени вразлет, лодыжки скрещены, с семи утра до десяти вече-

ра. Размять ноги разрешали едва ли один час в сутки, во дворике. Шевелиться или разговаривать в камере запрещалось. Мышцы сводило судорогой от столь долгого пребывания в непривычной для нас позе. В подобных обстоятельствах вес собственного тела проявляется самым неожиданным образом: к примеру, когда уже невозможно выносить давление одной голени на другую, ты чуточку поворачиваешь крестец, облегчение наступает немедленно, но через минуту возникает новая боль, в новом положении. А у меня бедра и без того еще не успели подлечиться, к тому же сломанные руки приходилось держать на коленях. Вот в такой позе я и сидел — ни дать ни взять карикатура на молящегося буддиста.

Майор Смит, не на шутку обогнавший нас по возрасту, вообще не мог справиться с этой позой. Ох и страдал же он! Под какими только немислимыми углами ни выставлял коленки, а боль его мучила такая, что он был готов плюнуть на репрессии со стороны охраны и просто вытянуть ноги перед собой. Через какое-то время даже японцы махнули рукой на нашего «несгибаемого» майора и разрешили ему сидеть как хочется. В этой ситуации — как, впрочем, и во всех других, — бедолага Смит был самым уязвимым среди нас.

Кое-кто из охранников, которым приходилось насаждать эти диковатые порядки — «правила хорошего тона» по версии тайной полиции, — оказались лучше своих среднестатистических коллег из тюремного ведомства. Один из них даже пытался разговаривать с нами по-английски, что не только поднимало настроение после многочасового сидения в подавленном молчании, но и давало надежду на извлечение

информации. По своему чину он был *гунсо*, то есть старший унтер-офицер, просто кадровый военный без какой-либо склонности к насилию или подловатым выходкам. Он спрашивал нас про порядки в британской армии, интересовался нашей кухней и климатом, а мы старались развести его на рассказы, что нас ждет в «большом доме» по соседству. Тут мы успеха не добились, да он, наверное, и сам мало что знал. Порой я задавался вопросом, включат ли его в состав нашего расстрельного взвода, если до такого дойдет...

Как-то раз один из охранников обмолвился, что до нас в этой камере сидел еще один пленный, по фамилии Примроз, который ходил в юбке и обвинялся в убийстве своего же сотоварища. Мы наострили уши и как могли попытались разузнать о дальнейшей судьбе этого шотландца в традиционном килте. Охранник разговорился, и мы услышали одну из тех историй, которые позднее облетели всю систему японских лагерей и тюрем. Миф, легенда, слух — настолько незаурядный, что вполне мог оказаться чистой правдой. Итак, Примроз служил лейтенантом Аргайлско-Сазерлендского хайлендерского полка, и в середине 1943-го содержался в одном из дальних лагерей на нашей железной дороге. Японцы пригнали туда многочисленный рабочий контингент из тамиллов, которых, как обычно, держали за рабов; еженедельно голод и бесчеловечное обращение выкашивали их десятками. И тут в тамильском лагере вспыхнула эпидемия холеры. Чтобы сдержать распространение заразы, японская администрация ТБЖД применила новаторский способ: заболевших расстреливали.

Когда холеру подхватил один из британских пленных, его перевели в палатку-изолятор на краю лагеря, где он и поджидал «утилизации». Примроз однажды проходил мимо и увидел, как этого солдата, который метался в лихорадочном бреде, пара японцев-охранников перетащила к дереву. Один из них уже готовился его расстрелять, причем со значительного расстояния; этот тип сильно нервничал, был явно неопытен и практически наверняка не убил бы британца с первого выстрела, что означало лишь дополнительные бессмысленные муки. Примроз выхватил у японца винтовку и первой же пулей попал в сердце. За что и был обвинен в убийстве.

Я спрашивал себя: что с ним случилось? к нашему появлению его уже успели прикончить? за насилие во имя человеколюбия?.. И годы спустя эта история не выходила у меня из головы, я был захвачен поступком Примроза, его решительностью и состраданием. Символично: нас довели до такого состояния, что приходится убивать своих же — из милосердия.

Вяло тащились дни, пропитанные скукой и лишениями. Отвлечься было не на что. Кормили рисом с непонятным соусом типа рыбного, еще давали тепловатый чай. Если забыть про походы к сортирной дырке, мы только и делали, что сидели на полу.

Однажды Тью тихо буркнул: «О чем бы таком подумать?» В ответ Фред Смит прошептал: «А ты что, уже все успел обмозговать?» — «Да» — «Тогда начинай по второму кругу». Увы, по истечении известного времени циклическая переработка воспоминаний выходит на нешуточный уровень, мысли начинают сами себя пережевывать как картонную жвачку, без вкуса и пользы.

Прогулка всегда была особым часом; в это время разрешали свободный доступ к воде, и мы могли сполоснуться на солнце. Нам даже шланг дали — подозреваю, что на этом дворике он порой служил для очень странных целей. Меня поливали, раз я не мог удержать его своими забинтованными руками. Холодная вода уносила с собой не только пот, но немножко смывала усталость.

Утром 22 ноября нам вдруг приказали привести себя в порядок. Выдали то, что осталось от нашего обмундирования, и мы в сильном волнении принялись за дело. Неожиданная формальность очень обеспокоила, как, впрочем, случалось при каждом изменении в нашем безнадежном положении.

Нас отвели в главное здание, а там — в просторное помещение с длинными окнами. Вдоль стола, спиной к дневному свету, сидела группа японских офицеров. По всему видно: военный трибунал. Председательствовал генерал-лейтенант, обладатель самых удивительных усов из всех мною виденных: они спускались далеко-далеко под подбородок. Что ж, выходит, тот специфический прием на бангкокском вокзале был неслучаен: мы и впрямь являлись призовым уловом.

Присутствовал и переводчик, хотя его английский хромал еще сильнее, чем у моего следователя-толмача в Канбури. Он зачитал обвинения. Военный прокурор хотел донести до судьи, что семь выстроившихся перед ним оборванцев были самой опасной антияпонской ячейкой в истории, что наша банда являлась средоточием опытных саботажников, подрывных элементов и радистов-подпольщиков, погрязших в контрабандной торговле с сиамскими туземцами, что мы организовыв-

вали побегу, воровали почем зря, работали на мельницу британской пропаганды... Наше самое непростительное и жуткое преступление было предано огласке в замечательно мелодраматическом ключе предельного негодования: нас хором обвинили во «вредном влиянии». В общем, перечень злодеяний получился до того внушительный, что это даже льстило. Кабы не уверенность в том, что теперь нас точно расстреляют, мы могли бы еще больше оценить этот комплимент. Стенограф старательно записал прокурорскую речь.

Офицер со стороны защиты — которого мы раньше и в глаза-то не видели — выступал вяло и малоубедительно. Его слова сводились к тому, что мы очень раскаиваемся в своих антияпонских выходках и вовсе не замыслили ничего дурного. Записывать речь адвоката сочли излишним: надо думать, будущие поколения в ней не нуждались.

Председательствующий генерал обратился к нам: мол, не желаете ли что-то сказать. Джим Слейтер не побоялся открыть рот и напомнил суду, что вне зависимости от будущего вердикта мы уже достаточно пострадали. Генерал предложил уточнить, что имеется в виду. Слейтер попытался скупыми, нейтральными формулировками описать избиения в Канбури, иллюстрируя слова моими сломанными руками и нашими до сих пор заметными кровоподтеками, после чего добавил рассказ и о моей пытке унтером кэмпэйтая. Если судья и услышал это впервые, он ничем не проявил хоть какой-то интерес.

Перебросившись парой слов с коллегами, он огласил приговор, хотя и подпортил торжественный момент своими свисающими усами, из-за чего вся сценка

походила на некий фарс. Тью и Фред Смит: по десять лет тюремного заключения. Билл Смит, Слейтер, Найт, Макей и Ломакс: пять лет каждому.

Нас отвели в камеру, где мы вернулись к своей сидячей позе. Облегчение было столь сильным, что напоминало едва ли не восторг. Впервые после обнаружения приемников под канбурскими нарами Тью с нас сошла тень нависшей казни. Теперь мы сидели уже не как смертники, и радость Слейтера можно было чуть ли не пощупать в спертom воздухе камеры. Впервые мы позволили себе мысль, что, может статься, нашим физическим и психологическим пыткам и впрямь придет конец.

* * *

Через несколько дней после трибунала поступило распоряжение готовиться к очередному этапированию. Нам не сообщили, куда переводят на сей раз, зато приказали Тью остаться, и никакими хитростями не получалось выведать, отчего и почему. Вот уже во второй раз нашего радиолюбителя отделяли от группы, и мы отчаянно за него волновались. Позднее Фред рассказал мне, что Тью, не моргнув глазом, заявил седому переводчику в Канбури, будто собрал радио лишь потому, что якобы трудился на Би-би-си. В ответ тот несколько раз ударил его по голове плоской стороной сабли. Мы не исключали, что Тью успел допечь японцев своей активной непосредственностью; а может, они выбрали его для новых пыток и допросов. Или, скажем, окончательно сочли его слишком опасным. Не хотелось даже думать о той минуте, когда

мы покинем эту камеру, а он останется в ней один-одинешенек.

Нас вновь заставили надеть обмундирование; пятерых заковали в наручники, а меня с моими шинами охрана сочла достаточно изувеченным и ограниченным в возможностях даже без «браслетов». Опять подали грузовик, и мы покатали по вымершим улицам Бангкока, на сей раз в направлении железнодорожного вокзала. При посадке в поезд наш диковато выглядящий коллектив опять привлек опасливое внимание горожан. Помнится, что пока я шагал по платформе, то с удовольствием разглядывал самый обычный, неказистый пригородный поезд и надеялся, что нам позволят сидеть как обычным пассажирам, раз уж мы теперь не просто какие-нибудь избитые военнопленные, а — бери выше! — заправский подрывной элемент по пути на каторгу. Увы, нас втолкнули в охраняемый вагон, который оказался хотя бы просторным и пустым: явный прогресс в сравнении с загаженной вонючей коробкой, в которой мы ехали из Сингапура в Банпонг чуть больше года тому назад. Охрана приказала нам сесть на пол в торце вагона. Мы побросали пожитки и устроились сверху. Слейтер высказал предположение, что нас отправляют в Японию; другие считали, что срок будем отбывать как трудовую повинность, под зорким наблюдением где-нибудь на ТБЖД, может статься, опять в Канбури. Один из японцев положил конец дебатам, буркнув: «Сёнан...». Сингапур¹. Итак, все по новой.

¹ На период оккупации (1942—1945) Сингапур был переименован в Сёнан («Свет юга») и играл роль метрополии для южных колоний Японской империи.

От Бангкока до Сингапура 1200 миль, и на свете есть куда более удобные способы путешествовать, чем сидеть на железном полу грузового вагона трое суток кряду. Но и такие условия были не в пример лучше тех, что мы испытали в роли заключенных. В кои-то веки японская бюрократическая машина поработала на нас. Как по волшебству на остановках появлялась еда, причем явно из японских полевых кухонь. Ели с охраной, можно сказать, из одного котелка. Это было лучшее, что нам досталось за последние два года.

Немощность Билла Смита в который раз сыграла с ним злую шутку; а может, это нас надо благодарить: за него порой становилось совсем уж неловко. Дело в том, что он страдал легким расстройством мочевого пузыря, и обычных остановок ему не хватало. Сортира для военнопленных, разумеется, в вагоне не имелось, и однажды Смита прихватило всерьез. Мы тут же стали прикидывать скорость движения, время до следующей остановки, есть ли смысл вывесить его за дверь с риском для жизни (это я предложил — правда, неохотно, — памятуя о собственном унижении на пути в Банпонг), но поезд шел слишком быстро, и мы побоялись, что не сможем Смита удержать. Тут он торопливо и горячо взмолился, чтобы мы поскорее хоть что-то решили. Употребить в дело личный котелок или кружку он отказывался, вот кто-то и посоветовал ему сходить по нужде в собственную обувь. Бедолага это и проделал, благо башмак оказался вместительным и непромокаемым. Ни капли не потерялось. Уж не знаю, какую еще похвалу можно придумать качеству работы нашей британской обувной промышленности.

Поездка вышла скучной, без приключений, да и мы, по правде сказать, были как сдвухшиеся шарики, когда позволили себе выйти из нервного напряжения и неопределенности, что сковывали нас после ареста в Канбури. Конвой настаивал, чтобы мы не сходили с места — спиной к торцу вагона, — поэтому мы почти ничего и не видели сквозь распахнутую дверь, разве что какой-нибудь кусок леса на участке с резким поворотом. Старались спать под мерное раскачивание и стук колес, этот металлический метроном любого путешествия на поезде. Если только не вмешается некая могучая сила, мы на своем пути будем свободны не больше колес на стальной колее.

На сингапурский вокзал мы прибыли во второй половине 30 ноября и тут же попали в руки непривычно многочисленного отряда конвоиров. И по-прежнему ни малейшего понятия, куда нас доставят. Впрочем, когда грузовик набрал скорость, Билл Смит, который много лет прожил на этом острове и отлично знал город, негромко промолвил, что нас вроде бы везут в тюрьму на улице Утрам-роуд.

Остановились возле высоких серых ворот, вделанных в массивные стены с претензией под готику, — и стали ждать. Снаружи тюрьма ничем не отличалась от аналогичных заведений Британии, хоть в Лондоне, хоть в заштатном городке: типичная викторианская постройка, обнадеживающий символ закона и справедливости. Наконец громадные ворота распахнулись, грузовик въехал, громыхнули закрываемые створки.

Мы еще не догадывались, что закон и справедливость остались снаружи.

Глава 8

Нас провели в зону приема конвоируемых, где процедура была явно отработана до мелочей. Первым делом приказали раздеться и оставить наши жалкие вещицы: любые предметы одежды, книги, фотографии... Мне, впрочем, разрешили сохранить ложку-переросток и очки, которые вынесли все, хотя и с известными потерями: они держались теперь на честном слове и лейкопластыре. Я так над ними тряся, будто от них зависела сама моя жизнь — и это вряд ли преувеличение, потому что после всего пережитого оказаться еще и полуслепым... По крайней мере, я мог верить своим глазам, а то ведь иной раз услышанное было нечеловечески жутким.

Шины с рук снимать не стали, зато один из надзирателей покопался у меня в волосах — вернее, длинных и грязных космах; этой же проверке подверглись остальные. Заодно заглянули и в уши. Я так и не понял, что за удивительную информацию собирались оттуда извлекать, хотя последующий обыск ануса намекнул на возможность наличия там ножовочных полотен.

Каждому из нас выдали по паре на редкость тесных шорт, рубашку, кепи и так называемое полотенце, которое по размеру могло соперничать с носовым платком. Причем ни одна из вещиц не была новой; сплошные заплатки и прорехи, будто ими успела попользоваться целая рота. Мы и так попали в эту тюрьму порядочными оборванцами, а нынешний наряд превращал нас чуть ли не в папуасов. Помнится, я подумал, в самом ли деле они собираются хранить наши пожитки предстоящие пять-десять лет...

Под занавес нам объявили, дескать, отныне у вас новые имена, а про старые можете забыть. Теперь меня звали *ропьяку-дзю-го*, прозвище звучное, не спорю, но на деле означает лишь номер «шестьсот пятнадцать». Ах, как проходит мирская слава: ведь некогда я был военнопленным номер один... Нас заставляли вновь и вновь повторять новые «имена», пока мы их не усвоили. Справились все, кроме злополучного Билла Смита, которому отродясь не удалось запомнить хоть одно слово по-японски. Надзиратели, и те плюнули: случай безнадежный.

Тюремщики, кстати, состояли из военнослужащих внутренних войск, которые носили белые погоны, чем и отличались от своих «коллег» из регулярной армии. Другие же сотрудники, в том числе многие надзиратели, были самыми обычными японскими солдатами-штрафниками. То есть в Утрамской тюрьме даже служба сама по себе была наказанием.

По завершении унижительной церемонии нас провели наружу, а оттуда, колонной по одному, в тюремный корпус. На входе я заметил огромную букву D. Попав в тусклый длинный коридор с железными лестницами и галереями над головой, я обратил внимание на поразительную тишину. Лишь стук каблуков конвоя, да шлепки наших босых ног — вот и все, что слышалось в узком сводчатом проходе. По обе руки дверь за дверью; еще выше другой этаж с камерами, но я был слишком возбужден, чтобы заметить, имелся ли там и третий этаж. В принципе, этот коридор выглядел примерно так, как я и представлял себе типичную викторианскую каталажку: вереницы камер, смотрящих друг на друга через неширокий проход. Воздух

спертый, будто здесь морг, а не место для содержания живых людей.

Меня и Фреда Смита посадили в камеру 52, остальных — в 53 и 54. Конвой угрозами дал понять, что разговаривать запрещено даже с соседом по нарам, а попытки связаться с другими камерами будут пресекаться особенно жестко. После этого дверь захлопнулась, и мы принялись оглядывать свой новый дом. Пустее пустого: прямоугольник с голыми стенами, три метра вдоль, чуть меньше двух поперек, с очень высоким потолком. Некогда белые стены успели облупиться, дверь мощная и оббита сталью, с прорезью на манер почтового ящика. Очень высоко в торцевой стене имелось маленькое окошко, через которое можно было видеть небо. На дворе стоял погожий денек.

Мы страшно устали. До сих пор сказывалась нервная встряска трибунала и чудесного спасения; хотелось лишь одного: чтобы нас оставили в покое, дали отдохнуть. Вот я и прилег бочком прямо на голый цемент и немедленно провалился в сон.

Нас с Фредом разбудил грохот распахнувшейся двери. Надзиратель принес каждому по одеялу и комплекту из трех досок с загадочным деревянным чурбачком, после чего появилась и кадка с крышкой: местный вариант поганого ведра. Мы и так и эдак вертели чурбачки, недоуменно хлопая глазами, пока не догадались, что это подушки. Ну вот, теперь наш дом и обставлен.

Ближе к вечеру в двери вновь загремели ключи; гулко откинулся лоток под прорезью, каждому в руки передали по площадке риса, стопочке чая и паре палочек для еды. Полнейшее отсутствие цвета, звука и каких-либо изменений сделало этот жалкий ужин настоящим

событием. Уж как мы старались растянуть его подольше, но даже горке переваренного риса когда-нибудь приходит конец.

Этим и завершился первый день: порцией еды, достаточной лишь, чтобы не умереть с голоду. Мы с Фредом шепотом переговаривались, пытались найти смысл в происходящем, ломали голову над вопросом, в самом ли деле нас намерены держать в таких условиях весь срок заключения. Ждали наступления сна, а вернее, того момента, когда выключат лампочку высоко над головой, но она так и осталась гореть, и мы заснули в резком свете нашей беленой, голой камеры.

* * *

Никто нам не сказал, где мы находимся. Если бы не Билл Смит, мы бы еще долго ломали над этим голову. Мы знали лишь, что вплоть до второй половины тридцатых, когда построили Чанги, Утрамская тюрьма была самой крупной в Сингапуре и предназначалась для гражданского контингента. Сейчас ее явно превратили в военную тюрьму, экстремально продвинутую версию того, что на британском армейском жаргоне именуют «оранжереей», сиречь, гауптвахтой.

В камере мы сидели практически безвылазно. Тягостное однообразие могла нарушить разве что проверка, которую проводили почти ежедневно, причем в разное время. Открывалась дверь, мы выходили и поочередно выкрикивали свой номер. Получалось у всех, кроме Билла Смита. Иногда кто-то говорил за него, а бывало, что он выдавал детскую считалочку — и этого надзирателям хватало.

Помимо переключки, к другим крупным событиям дня относилась трехразовая кормежка. Вечно одно и то же: рис да чай, если так можно назвать слегка потемневшую горячую воду. Это был единственный способ утолить жажду, которая начиналась за много часов до очередного акта питания. Рис «подавали» в алюминиевой миске, чай — в маленькой фаянсовой пиале. Еще одним выдающимся ежедневным мероприятием можно считать передачу поганого ведра в руки других арестантов, которые в сопровождении конвоиров собирали по камерам кадки, затем опорожняли их, мыли и возвращали позднее тем же утром.

Однажды в первой половине дня нас с Фредом наконец-то вывели из камеры для какой-то иной цели, нежели просто поверка. Когда мы вышли во дворик на торце блока D, то стало ясно, зачем: прогуляться. В аду. Потому что нашим глазам явилась такая картина: открытая площадка с парой десятков арестантов, из которых большинство не могли стоять на ногах. Кто-то лежал распластанный, кто-то куда-то полз на карачках. Некоторые совершенно нагие. И почти каждый — живой скелет, с ребрами и мослами, выпиравшими из-под сухой натянутой кожи. Поскольку самих себя мы уже давно не видели в зеркале и даже не разглядывали друг друга с целью дать оценку, то испытали серьезное потрясение, поняв, что смотримся не лучше — или, по крайней мере, вскоре нас ждет такое же будущее. Один из арестантов был раздут словно шар; лицо опухло настолько, что черты не просматривались. Вот так выглядит бери-бери, то есть авитаминоз, в запущенной стадии. У других эта болезнь еще только начиналась, но все равно диагноз был ясен по гротескно опухшим

формам. Кожа людей была испещрена язвами и гнойничками, местами отшелушивалась.

Нам с Фредом приказали влиться в небольшой коллектив полуголых арестантов, занятых физзарядкой под присмотром японского солдата. Комплекс упражнений состоял из стойки «вольно» с ритмичным размахиванием руками под счет *ити-ни-сан-си-го-року-сити-хати* и ходьбы хороводом. Мы и в Канбури-то были в лучшей физической форме, чем эти пленные, которые неизвестно сколько времени здесь провели. Очень редко нам дозволялось во дворике помыться. В стене были устроены водопроводные краны, имелись и кадки, однако касаться их запрещалось иначе как по команде. Грязные, запаршивевшие люди бродили или ползали в нескольких шагах от воды, которая пусть ненамного, но могла бы облегчить их страдания.

Сидел бы я в одиночке, подобные картины смогли бы меня раздавить. Но Фред Смит был подлинным героем, и я его никогда не забуду. До сих пор помню его личный номер: 1071124. Невероятно выносливый, сильный человек, ниже меня, зато крепко сбитый; что удивительно, напасти как-то обходили его стороной. Фред сам поражался, отчего его не пытали и не избивали в Канбури, хотя и вызывали на допрос три раза. Он был настолько уверен, что его ждет участь Тью, что тот дал ему свои обмотки, чтобы Фред намотал их на туловище под рубашкой: хоть какая-то защита против посохов. Но, должно быть, некий японский офицер решил, что простой артиллерист не может играть серьезную роль в заговоре, который они приписывали нам, офицерам технического обеспечения и связи, так что Фреду не довелось испытать качество брони из ветоши.

Он был добрым и заботливым товарищем. Его отец работал паровозным машинистом — хотя в то время я недооценил парадоксальность такого совпадения — при железнодорожном депо Стюартс-лайн в Южном Лондоне. В этом районе и вырос Фред. До перевода в Сингапур он служил в Западном Уэльсе, на береговой батарее военно-морской верфи у Пемброк-дока. Артиллерист и кадровый военный с опытом службы в береговой обороне, он был откомандирован в Сингапур, чье южное побережье защищалось пресловутыми 15-дюймовыми орудиями. В наших разговорах Фред частенько вспоминал семью, тревожился, что жена плохо приглядывает за сыном, а еще я подметил в нем горькое подозрение насчет супружеской неверности. Впрочем, мне приходилось как бы читать между строк, потому что на войне мужчины говорят про своих близких эзоповым языком.

При всех своих талантах Фред был малообразованным пролетарием — «самородок», как тогда было принято выражаться, — но в нашей ситуации ни служебное положение, ни происхождение роли не играли. Сильный характер, порядочность и преданность значили теперь куда больше, нежели глубина карманов или чин. Фред был попросту хорошим человеком, и точка. (Лишь единожды в Утрамской тюрьме я попытался «дать своим званием». Какие-то двое пленных взялись переругиваться, и я приказал им замолчать, опасаясь, как бы они не привлекли внимание японцев: скука и раздражение обошлись бы им тогда слишком дорого. Скандалисты меня проигнорировали. Мало быть просто офицером, чтобы заткнуть фонтан гнева, которым люди накачивались каждый день.)

Мы приглядывали друг за другом, следили за проявлением симптомов ухудшения здоровья, хотя, если говорить о Фреде, то при всей скудности рациона и чудовищной грязи я могу припомнить лишь единственный случай физической слабости: у него на спине, пониже лопаток, куда не доставали руки, вскочил жуткий карбункул. Дело дошло до того, что мне пришлось неоднократно взывать к тюремщикам, потому что огромное алое пятно с блюдцем гноя явно угрожало сепсисом. Однажды, без какого-либо предупреждения, к нам в камеру пожаловал до ужаса важный японец с бритвой в руках. Той самой, опасной, которая для бритья. Это и был тюремный санитар. С таким же интересом, с каким разглядывают таракана, он бросил взгляд на спину Фреда и приказал ему лечь ничком. После чего двумя взмахами — крест-накрест — вскрыл нарыв. Кровь и гной брызнули на стену, окропили пол. Фред не издал ни звука.

Мы узнали и нового врага, который давал фору даже грязи и голоду: тишина. Зачастую она была абсолютной. Во всей тюрьме царил до того больная, мертвая тишина, что скрип ключа в двери был слышен на всех этажах, отзывался эхом от сводчатой крыши. На каменном полу грохотали каблуки надзирателей, и я все время боялся, как бы до них не долетел наш шепот.

А все потому, что они были всерьез заиклены на своем требовании молчать. Это же чуть ли не извращенный садизм: посадить людей в клетку и запретить им разговаривать, к тому же лишит книг и любых иных средств хоть как-то отвлечься.

Иногда, пока мы тихонько болтали, могла вдруг открыться щель в двери, и чей-то голос орал нам по-

японски, чтобы мы заткнулись. А порой открывалась не просто щель, а вся дверь — и врвался надзиратель, чтобы огреть нас по голове и плечам саблей в ножнах. Наказание не просто болезненное, но и психологически невыносимое, так как ножны были из кожи и ты все время боишься, что они прорвутся, и тогда...

Когда шаги надзирателя удалялись или когда доносились голоса других арестантов, уже можно было чувствовать себя в относительной безопасности на несколько минут и за это время тихонько поговорить. Мы «вычислили» график обхода и приема пищи нашими надзирателями и научились определять их местонахождение по звуку шагов. Вообще возникало впечатление, что из-за вечной тишины у нас изрядно обострился слух. Довольно скоро мы могли уже сказать, куда и кто идет. Впрочем, имен мы почти не знали; просто дали каждому кличку. Скажем, Лошадиная Морда или Мэри — это был надзиратель, которого мы особенно ненавидели. Своей бесшумной походкой он смахивал на евнуха. Один из тех, кто специально носил башмаки на резиновом ходу, чтобы застать врасплох.

Мы сидели тут как раз оттого, что в нарушение табу осмелились слушать недозволенные речи, и здешний запрет на общение казался не без выверта уместным — пусть сами тюремщики могли об этом и не догадываться. Мы выдержали два года лагерей именно благодаря общению, бесконечным разговорам; и потребность знать, что происходит в мире, была сейчас особенно жгучей.

При выводе на работы мы с Фредом обычно попадали в разные команды, на разные объекты, и это позволяло нам сопоставлять свои наблюдения, украдкой

и строго шепотом. Вообще же в рабочих командах все как один старались поговорить с как можно большим числом сотоварищей, и режим тишины серьезно страдал от этих бесчисленных коротеньких диалогов.

Разговоры по необходимости касались в первую очередь среды обитания. Кого там перевели в дальнюю камеру? На какие работы выводят? Что за новеньких вчера пригнали? Говорят, Билл при смерти?..

Складывая разрозненные кусочки воедино, очень медленно, черепашьими темпами, как бы протирая дырочки в закрашенном окне, мы смогли урывками «заглядывать» в мир за пределами блока D — и становилось ясно, до чего плоха вся ситуация, до чего опасно вообще находиться в Утрамской тюрьме. Мы не знали уровень смертности, но отлично видели, что кого-то уводят и он не возвращается. Никто понятия не имел, куда деваются эти люди; может, в совсем другую камеру, еще хуже? под землей, в полнейшей темноте? или их попросту убивают?

К середине декабря 1943-го мы сумели определить, что Утрамская тюрьма представляет собой ряд параллельно расположенных блоков и что военные арестанты содержатся в двух из них, а именно С и D. За очень высокой стеной находились другие блоки, тоже подконтрольные японской армии, только для гражданских. За какие грехи сюда сажали, мы и вообразить не могли. Судя по всему, в нашем блоке содержалось порядка тридцати арестантов. Надежным индикатором занятой камеры было ее включение в список сбора поганных ведер по утрам. Наверное, каждый в нашем блоке попал под японский военный трибунал за «анти-японские нарушения», начиная от побега или сабота-

жа и заканчивая более зрелищными преступлениями. К примеру, ходили слухи, что некий солдат угодил сюда за попытку угнать самолет, чтобы перелететь на нем к союзникам.

Мы также выяснили, что в нашем блоке — прямо в камерах — частенько умирали люди, что немудрено при таком сочетании болезней, жестокого обращения и голода. Однако сильнее всего волновала, не давала покоя информация, что кое-кого из особо тяжелых больных вообще этапировали из тюрьмы. Была слабенькая надежда, что несчастных переводили в Чанги, где якобы имелся специальный лазарет. Что же касается прочих слухов, то они выглядели куда менее правдоподобными на фоне той уверенности, что нет на свете места хуже.

* * *

Если кому-то покажется странным, что и так уже пленных дополнительно сажают за решетку, то на это есть ответ: нас попросту перемещали на более низкий круг ада. Здесь живых превращали в призраков, в умирающие от голода и насквозь больные существа, от которых остался разве лишь костяк.

Но как и везде — что на ТБЖД, что в лагерях — находились и такие, в ком теплилась человечность, и эти люди шли на большой риск, оказывая нам помощь. Встречались надзиратели, кто старался просто держаться в стороне. Кстати, того *гунсо*, который сторожил нас в Бангкоке, где мы ждали трибунала, вскоре самого перевели в Утрамскую тюрьму. Так вот, он лично снял с меня шины и бинты, когда мои руки достаточно зажили, а длинную ложку забрал лишь после того, как я его заверил, что теперь могу справляться сам. Зато

другие его японские «коллеги» были ленивыми, жестокими солдатами, которые могли вдруг избить нас от нечего делать или по самое малое, невинному поводу. Такого насилия от скуки здесь хватало с избытком.

К нашему изумлению, среди тюремного персонала нашлись двое, которые сильно смахивали на англичан. В скором времени они прошептали нам сквозь дверные «кормушки», что их зовут Пенрод Дин, офицер-австралиец, и Джон О'Мэйли, британский связист. Они одними из первых попали в Утрам и были назначены на роль вечных дневальных, по-японски *тобан*. Разносили еду из пищеблока, собирали пустую посуду и по мере возможности блюли интересы арестантов, например, тайком подкладывали нам добавки или теребили безразличных японцев, чтобы те не совсем уж забывали про больных. Я сам видел, как О'Мэйли выносил парализованных людей во дворик погреться на солнце: доходяга несет кожаный мешок с костями — словно ребенка.

Но никакой *тобан* не мог справиться с царившим здесь систематическим пренебрежением элементарными нуждами. К примеру, нас лишили зубных щеток, и к середине 1944-го мои зубы пришли в плачевнейшее состояние. Бриться тоже было нечем. Где-то через месяц после прибытия нам устроили стрижку. Перед камерами первого этажа устроился японец-цирюльник, и мы по очереди садились напротив. Меня он ухватил левой рукой за шею, в правую взял громадные ножницы — и пошел, и пошел... Одним движением, не отрываясь, по затылку вверх, затем вбок и вниз по бакенбардам, а оттуда к бороде, которая жестким ворсом осыплась на мои мягкие волосы с темени. Холодная сталь бес-

церемонно стучала по черепу, тонкому и хрупкому как яичная скорлупа. Вот что, я думаю, испытывают овцы в руках опытного стригалы. Такая процедура оказалась единственным видом регулярной санобработки.

Взамен нам полагалось трудиться. Хаотично, без какого-либо графика, потому как — подозреваю я — они хотели, чтобы мы как можно больше времени проводили в отупляющей изоляции от мира. Нас могли направить на мытье полов, возню в огороде, переноску дров для пищеблока или — чего мы боялись пуще огня — на вылизывание японских сортиров. Вот уж где царило нечто несказанное! Есть что-то невыносимо тошнотворное в уборке чужих испражнений.

Порой нас посылали на переноску стокилограммовых мешков с рисом, что, с учетом нашего состояния, буквально ломало людей. Но вершиной сюрреализма были наряды, благодаря которым мы могли хоть погреться на солнышке во дворике. Туда притаскивали могучие груды ржавого и чудовищно грязного военного снаряжения, которое либо хранилось под открытым небом, либо было поднято с затонувших кораблей. Главным образом котелки, миски, ведра, емкости разнообразнейших мастей — все в ржавчине и грязи. Нам надлежало их чистить и возвращать к девственной красоте. И все бы хорошо, но из чистящих средств у нас были только ржавые гвозди, мотки проволоки да пригоршни земли. А японцы требовали чуть ли не зеркальных поверхностей с искрой.

В такие дни десятков арестантов выползали на дворик и усаживались на бетонные плиты под пальмовым навесом, который хотя бы защищал от неистового солнца. Сидели мы «по-турецки», сгорбившись над

грязной утварью. Если кто-то смотрел не строго вниз, а бросал взгляд вбок, надзиратель бил такого человека в лицо.

И даже в этих условиях мы улучали возможность перекинуться парой слов. У меня всегда были теплые отношения с Макеем, и мы обычно сидели рядом, пока проволокой оттирали куски металлолома в надежде, что блеснет-таки сталь под коркой ввевшейся грязи. Как правило, мы работали нагишом, частично оттого, что немытое тело отчаянно чесалось, а свежий ветерок его хотя бы обдувал, да и носить-то было практически нечего. Однажды я обратил внимание, что Мак, крепко сбитый мужчина, исхудал настолько, что его сфинктер стал торчать коротенькой трубочкой.

Потом я обнаружил, что могу запросто смыкать пальцы вокруг бицепса другой руки и что мой живот больше не отлипает от спины; такое впечатление, что на мне вообще не осталось куска мяса. Ребра торчали обручами. Я спросил Мака, как я выгляжу, и он ответил: «Как скелет, только обтянутый кожей». Вот и я превратился в одного из живых мертвецов, которые, помнится, так меня напугали, когда я только-только угодил в Утрам. В эту минуту я понял, что смерть совсем близка и отсюда надо выбираться во что бы то ни стало.

Но не только признаки чуть ли не терминальной дистрофии подтолкнули к мысли пойти на сознательное, еще большее ухудшение моего физического состояния, с той лишь целью, чтобы меня отсюда перевели. Сумма всех вероятностей говорила за то, что вряд ли тут походя убивают больных арестантов. Наверное, я просто самого себя убедил: если остаться здесь, шан-

сы на выживание практически нулевые. Впрочем, рассуждения ничего не значили. Я настолько хотел отсюда прочь, что и логика, и тонкий расчет перестали играть роль.

Определенные вещи ослабляли меня физически, но при этом лишь укрепляли решимость. Скажем, чуть раньше, под Рождество 1943 года, мне на ужин дали рис и рыбью голову. Я съел все, кроме глаз. Они так и остались лежать в миске: небольшие плотные сгустки. В тот рождественский вечер в памяти всплыли зимние празднества Северной Европы, лица родителей, в особенности мамы, и контраст между моими воспоминаниями и этой тропической «черной дырой» показался особенно острым.

Я нашел определение для понятия «голод». Это случилось в тот день, когда меня — чудо из чудес! — без конвоира отправили в пищеблок, занести туда какой-то пустой поднос. Когда я шел по коридору, то на пороге одной из камер заметил одинокое рисовое зернышко. Не раздумывая, я его подобрал и тут же съел.

А еще была чесотка. Мы уже привыкли страдать от кожных болезней, которые пышно цвели в лагерях из-за нехватки мыла, но то, о чем я говорю, была всем чесоткам чесотка. Ни мне, ни Фреду такого не встречалось. Малейшее прикосновение вызывало дикий зуд, но поддаться искушению было еще страшнее: начинало зудеть пуще прежнего.

В конечном итоге чесотка перешла на новый уровень, проявившись какой-то, надо полагать, экстремальной, формой парши. У каждого заключенного тело пошло мелкими волдырями. Сначала прозрачными, затем их содержимое превращалось в желтый гной,

волдырь прорывался, и выдавленная масса засыхала омерзительными желтыми струпьями. Если сковырнешь, то утратишь заодно и кусок кожи. Лично я так потерял всю кожу на теле, за любопытным исключением: напасть не затронула лицо и фаланги пальцев на руках и ногах. Особенно удручало, что на месте старых струпьев возникали новые гнойнички. Те арстанты, которые из-за слабости уже не могли шевелиться и себя обслуживать, постепенно покрывались буро-желтой коркой засохшего гноя — воспоминание, от которого я до сих пор вскакиваю по ночам, силясь сдерживать рвоту.

О'Мэйли с парой-тройкой других пленных добровольно взвалил на себя бремя помощи самым безнадежным, терпеливо отковыривая подсохшие струпья и омывая тела прохладной водой. То, что делали эти люди, было ничуть не менее героическим, чем мужество на поле боя.

В какой-то степени благодаря этим усилиям, японцы наконец обратили внимание на болезнь. В блок доставили здоровенные бочки некоей жидкости, которую японцы именовали «креозот», а также несколько жестяных корыт, которые выставили на дворике. Наиболее пострадавшим из нас разрешили чуть ли не принять ванну — впервые за несколько месяцев, хотя и по-прежнему без мыла. Я отмокал в таком корыте часами. Значительного улучшения я что-то не заметил, но плеск воды на голой коже того стоил.

Когда стало ясно, что «креозот» не помогает, японская администрация раздала нам какую-то то ли пасту, то ли мазь, подозрительно смахивавшую на состав, которым кожевенники размягчают шкуры. Нам

приказали раздеться и обмазаться, где только можно. Мы подчинились, рассуждая, что это хотя бы убьет тех крошечных паразитов или личинок, из-за которых началась вся эта напасть. Может, так оно и вышло, а может, эпидемия попросту отжила свое, но болезнь вскоре отступила.

К концу апреля 1944-го трое моих сотоварищей из числа британских офицеров, а именно Билл Смит, Джим Слейтер и Мортон Макей, были серьезно больны. Майор-австралиец Гарри Найт выглядел не лучше. Лишь Фред Смит каким-то образом сумел сохранить остатки сил, несмотря на голодный рацион. Однажды появились надзиратели с носилками, и от нашей группы остались только Фред, Гарри да я. Должно быть, сработал тот факт, что мы еще могли самостоятельно пересечь дворик. В итоге я оказался единственным офицером во всем блоке, если не считать Гарри.

Былые опасения нахлынули с новой силой. Хотя нам и дали строго определенный срок, его окончания мы явно не дождемся. Неопределенность глодала душу, подавляла надежды. Невозможно представить, что удастся пережить годы подобного существования; да хоть бы и удалось, где гарантии, что нас потом не «выпустят» в некий более крупный и даже более человечный — но все же лагерь? Мы были пленниками в мире, который сам находился в неволе. Вот и получалось, что мы приговорены к рабству неопределенной продолжительности, ведь кто мог сказать, когда закончится война? А если ее выиграют японцы, что тогда с нами будет?

Именно неопределенность мучила меня больше всего. Я ведь вообще своего рода жертва странного сочетания

ния из яркого воображения и педантической потребности точно знать собственное местонахождение, а также свои дальнейшие действия. Я по характеру картограф, классификатор, один из тех, кто отслеживает даты, категории, виды... Невозможность читать, писать, ориентироваться вызывала у меня чувство, словно близок край отпущенной мне жизни. Я буквально ощущал, как подступает бред смертной агонии.

Мы совершенно не ориентировались во времени, а уж о том, чтобы время чем-то занять, не шло и речи. Мы научились только определять воскресенья, потому что надзиратели на выходной исчезали. Иногда час или дату подсказывали О'Мэйли или Пенрод Дин, но этого было недостаточно. С наступлением вечера начинался отсчет двенадцати часов полнейшей пустоты. Снаружи темно, внутри электролампочка. Долгими ночами я оттачивал свою решимость выбраться — да хоть в окно сигануть, в полнейший мрак, понятия не имея, где приземлишься. И в конечном итоге вышло так, что моим оружием стало само время.

* * *

Шанс представился, когда японцы сделали беспрецедентный шаг: безнадежных больных перевели в категорию «бёки»¹, после чего изолировали в самых дальних камерах на первом этаже.

Я обнаружил, что могу по желанию разгонять свой пульс, для этого нужно было глубоко и часто дышать. Результат пугал моего сокамерника и даже меня самого. А еще выяснилось, что в полнейшем отсутствии способов измерять время есть одно исключение. Если

¹ Заболевание, болезнь, слабость (яп.).

совсем-совсем затаиться, то в мертвой тишине удавалось различить слабенький перезвон, хотя до меня это дошло далеко не сразу. По всей видимости, звуки доносились от муниципальной часовой башни, потому как отбивались не только часы, но и четверти.

Тогда я приучил себя подсчитывать крошечные пульсации крови на запястье в течение пятнадцати минут. Ничего сложного тут нет — к тому же чем еще заниматься? Так вот, когда я полностью сосредоточивался на своем пульсе, то одного этого психологического усилия хватало, чтобы впасть в некий возбужденный транс, а ведь я и так уже практически галлюцинировал от голода и слабости.

Итак, я прилежно считал пульс и делил соответствующие цифры на пятнадцать, чтобы получить число ударов в минуту. В обычном состоянии это порядка семидесяти шести, я же научился разгонять свой пульс до таких высот, что не успевал его подсчитывать. Практика показала, что такое я могу проделывать в любой момент, стоит лишь захотеть.

И вот однажды, когда один из надзирателей оказался рядом, я себя «взвинтил» и принялся с криками и стонами корчиться на полу, хватаясь за сердце. Спектакль удался: надзиратель внимательно посмотрел на меня и приказал перенести в одну из «больничных» камер. Так я потерял из виду Фреда Смита, кто, судя по всему, твердо решил выжить в Утраме и чья нечеловеческая выносливость попросту не давала шансов на достоверную симуляцию. Фред с энтузиазмом поддержал мою задумку и сказал, что я все делаю правильно, но было очень горько оставлять его в одиночестве.

Что касается карантинных камер, то их не за-пирали в течение всего светлого дня, и это в чем-то плюс. А потом, тебя уже не гоняли на работы. Ко мне подселили австралийца по имени Стэн Дейвис, кото-рый не был больным: ему просто поручили за мной приглядывать и тем самым беречь исцеляющие силы тюремного санитаря. Так или иначе, Стэн знал про медицину не больше гарнизонного коновала, и мы при всякой возможности болтали, придумывая наи-вернейшие способы вырваться из карантина, чтобы попасть в лазарет при Чанги, — если, конечно, пре-словутое медучреждение не мираж. Стэн оказался очередным радиолюбителем и даже более везучим, нежели мы. До плена он служил рядовым в автотран-спортной роте, а попав в Сандаканский лагерь, что на британском Северном Борнео, вошел в подпольную ячейку, которая готовила побег. Эти ребята, кстати, действительно сумели установить связь с местными партизанами. Командира ячейки, капитана Л. С. Мат-тьюза из австралийских войск связи, японцы расстре-ляли.

Мы условились со Стэном, что я буду есть все, что нам дают, кроме риса, а Стэн, соответственно, толь-ко рис — но уже целиком. Мы поклялись друг другу, что не нарушим нашего уговора до конца, что бы ни случилось. Это решение не было столь уж самоубий-ственным, как может показаться, поскольку к маю 1944-го кормежка несколько улучшилась и теперь к рису добавляли чуточку соевых бобов или кусочков рыбы. Впрочем, я быстро исхудал еще больше, а Стэн на глазах отекал и начинал всерьез походить на жертву бери-бери.

Мы оба старательно делали вид, что едва можем передвигаться, спотыкались и падали при всяком выходе за пределы камеры, так что в скором времени нас вообще перестали куда-либо вызывать, и мы по двадцать четыре часа в сутки были заняты лишь решимостью продержаться. Единственным развлечением являлось наше саморазрушающее желание выжить, и только едва слышимый перезвон невидимой башни отмерял наше время.

Мы обменивались воспоминаниями о малайской компании и жизни на Борнео, о падении Сингапура и первых днях плена. Стэн вырос в Западной Австралии, в католической общине, и развлекал меня рассказами о беспощадной дисциплине, насаждавшейся Христианскими Братьями, религиозным орденом, который специализировался на воспитании и обучении детей бедняков. Он говорил о невообразимых для меня расстояниях, скажем, о пустошах, на пересечение которых уходят недели, или о фермах в несколько квадратных миль. В ответ я пытался передать дух низинной Шотландии этому продукту австралийской вольницы, для которого жизнь в камере наверняка была особенно мучительной. В итоге мы пошли на компромисс, взявшись читать друг другу стихи типа небольшой поэмы «Абу Бен Адхем»¹, где мы оба видели и прекрасное, и дерзкое.

Я старался как можно больше спать, но отыскать удобное положение было ох как непросто. Когда ис-

¹ Абу Бен - Адхем (араб. Отец сына Адамова, т.е. Адам, или, попросту, человек) — герой стихотворения (1834) английского поэта и журналиста Джеймса Ли Ханта (1784—1859). По легенде, Абу Бен-Адхем увидел во сне ангела, записывающего в золотую книгу имена любящих Бога. Своего имени он там не нашел и попросил занести его в другой перечень, к «любящим собратьев своих». Следующей ночью ангел показал Абу список тех, кого любит Бог, и вот здесь имя Абу Бен-Адхема стояло на первом месте.

худеешь до того, что кости начинают торчать словно рукоятки, лежак из трех досок совсем не подмога, да и разбитые тазовые суставы до сих пор не подлечились. Вместо сна выходила своего рода кома, насыщенная видениями и галлюцинациями, а в минуты пробуждения окружающее представлялось реальным и нереальным одновременно. Как и в Канбури после избиения, мои мысли кружились мельницей, мозг выплевывал бессвязные куски чего-то заученного или впечатавшегося в память; всплывали приступы ярости на то, что с нами вытворяли в Канбури, на все эти камеры, издевательства, на дебильный рефрен «Ломакс-вы-нам-расскажете», на хлипкого переводчика вместе с его дружкой-членовредителем... У меня было чувство, что я побывал мертвым, что меня приговорили к смерти, «Ломакс, вас скоро убьют», в своем бреде я болтался между жизнью и смертью. Воспаленный мозг нередко сам по себе рифмовал все подряд и выдавал странные стишки с привкусом библейских притчей. Кое-какие из них я потом записал, к примеру, вот этот:

В начале годин час пробил один,
 Излилась вода, когда звякнуло два,
 На дверь посмотри, коли выбило три,
 Четвертый удар: от засова лишь пар,
 При стрелке на пять воскреснешь опять.
 Оставь глупый счет, не трать годы зря,
 Чу! за дверью твоей я жду как заря.

Одолевали навязчивые, прямо-таки осязаемые галлюцинации, проработанные вплоть до запахов. Я видел то океанские лайнеры, скользящие вдоль Клайда под Гриноком, то удивительно нежные закаты Северо-Шотландского нагорья, то летнее озеро на фоне заснеженных

исполинов Каракорума. Мысли скитались по дорогам, которые я исколесил на своем велике в поисках локомотивных открытий, но это была уже раздерганная и хаотичная мозаика, карикатура на былые путешествия.

Одна особенно назойливая и яркая галлюцинация воплощала в себе немыслимую красоту. Я видел викторианский английский сад в летнюю пору, с розовыми кустами, зарослями жимолости под вербной и дубовой сенью на фоне возносящегося шпиля кафедрального собора. Картинка казалась живой — и в то же время напоминала романтическое пейзажное полотно, манившее ухоженной лужайкой, которую перспектива превратила в зеленый треугольник. Из-за деревьев выглядывал старинный краснокирпичный особняк; все дышало незыблемостью заведенного порядка, богатством и защищенностью от чего угодно.

Видения становились все более пугающими, все более гротескными. Однажды вечером длинная стена камеры начала вдруг исчезать на глазах. Кирпичная кладка пошла трещинами, истаяла, и где-то там, вдали, из колыхающегося моря пламени и дыма проявился исполинский силуэт со множеством рук, который рос и рос, пока не заполнил все поле зрения. Это существо стояло как бы над озером, чья поверхность шла волнами, которые затем подернулись мелкой рябью, а та распалась на крохотные человеческие фигурки — крохотные на фоне этого титана. Фигурки вздымали руки, поклонялись, пели гимны, славословили: «Кали, Кали, Кали!» Меня пронял чистый ужас, когда взгляд этого чудища упал прямехонько на меня; ужас рос изнутри, рвался наружу, я давился им, как рвотой — пока вдруг не очнулся, пляясь на голую электрическую лампочку и стену камеры.

* * *

Через пару месяцев упорной симуляции, когда мы оба уже еле ноги волочили, я рискнул вновь подстегнуть наших тюремщиков, изобразив некий приступ с конвульсиями и сумасшедшим пульсом — причем на этот раз почти не требовалось разыгрывать спектакль. Разве трудно имитировать предсмертную агонию, когда ты сам выглядишь мертвецом? Стэн позвал надзирателя, тот опять на меня посмотрел и тоже кого-то вызвал. Надо полагать, не хотелось ему потом в одиночку объясняться с начальством из-за трупа на дежурстве.

Обычно с наступлением сумерек дверь камеры заперлась, но в ту ночь ее оставили открытой, и надзиратель несколько раз ходил меня проверять. Заслышав его шаги, я вновь с энтузиазмом принимался за свое. Утром раздалось шарканье нескольких пар ног, направлявшихся в нашу сторону: надзиратель привел пару арестантов с носилками. На них меня и погрузили. Я просил захватить и Стэна... Вновь позади остался друг.

Глаза я не открывал, однако мог сказать, что меня несут по главному проходу, затем по залитому солнцем дворику в административный корпус, где носилки опустили на пол. На грудь мне положили мой же вещмешок, носилки подняли и опять вынесли на открытый воздух. Я сам себе не поверил, когда понял, что очутился в какой-то машине, скорее всего в кузове грузовика. Итак, я вот-вот узнаю, что случилось с теми, кто уже не возвращался. Пришел момент истины и расплаты по счетам за прыжок в слепую тьму. Грузовик тронулся.

Сквозь полуприкрытые веки я различал небо, вновь вдыхал запахи города. Солнышко пригревало, а бес-

предельный голубой свод над головой выглядел неопишимо прекрасным. Когда грузовик притормаживал, слышалась китайская, малайская речь, даже женские и детские голоса — впервые за очень долгое время.

Потом мы оставили городской шум за спиной и оказались — судя по запаху — где-то в сельской местности. Я уже утратил способность бояться, а просто смутно, если не сказать тупо надеялся, что меня не везут к дальнему расстрельному рву. Примерно через полчаса мы преодолели прямой и тихий участок, свернули направо, вновь короткий прямой отрезок, значительный сброс скорости, еще поворот вправо, при котором что-то затмило солнце, — и затем английская речь. Едва ли не в ту же секунду носилки сняли с грузовика, меня переложили на другие носилки и куда-то потащили.

Тут я в первый раз полностью открыл глаза. Я по-прежнему был арестантом, и кругом высились утилитарные, голые стены современной тюрьмы. Но именно этого я и добивался последние месяцы: наконец-то меня перевели в Чанги.

Глава 9

Вряд ли многие согласятся назвать печально известный лагерь райским уголком, зато я именно так и решил, едва попав в Чанги.

Охваченный суеверным страхом, я наконец решил открыть глаза — и не увидел ни одного японского солдата. Меня окружали участливые и улыбающиеся лица оборванных британских и австралийских плен-

ных. Мои носилки были центром кипучей и заботливой деятельности, и буквально через пару минут меня уже занесли в двухэтажное строение, именуемое ББ. Я очутился в самых надежных руках, под присмотром сострадательных, всегда готовых прийти на помощь военнослужащих Британии и Австралии. Вот когда меня пробили слезы, настоящий безудержный поток, слезы облегчения и радости.

Мне дали койку, всамделишную кровать с матрасом, постельным бельем и подушкой. Вообще-то майским душным летом простыни без надобности, но как же приятно было вновь коснуться хлопка, пусть и грязной кожей! Кто-то принес по-настоящему сваренный чай. И тут рядом возникли они, кожаные мешки с костями, которых я уже не чаял увидеть: Билл Смит, Мак, Слейтер... Я-то думал, японцы вывалили их на какую-то пригородную свалку, а они, оказывается, все это время жили здесь, на верхнем этаже, причем из двух больничных блоков этот ББ был специально отведен под нас, выходцев из Утрама. Тебя тоже, сказали они, очень скоро переведут к нам. Удивительнейшая, сказочная встреча, и меня обдала успокоительная волна, когда я понял, что мы все до сих пор живы.

Со мной поздоровался мужчина, представившийся Джимом Бредли. Я поначалу решил, что никогда его раньше не видел, но потом он рассказал, что в Утраме его держали в камере 41 и перевели сюда лишь под самое Рождество. И тут я вспомнил, что, действительно, в тот день по коридору тащили носилки с заросшей жердью, а по-другому и нельзя назвать скелет с черной, косматой бородищей, словно волос пошел в рост,

пока истаявало тело... Ко мне подошли и Билл Анкер, и Ян Моффат, и Гай Мачадо, которых тоже выносили из камер-одиночек, и в каждом случае буйная поросль скрывала лицо. Сидевшим в одиночках запрещалось бриться и стричься. Раньше я и не представлял, до чего мелочной может быть жестокость.

Никто не бросился с ходу меня врачевать, однако я ничуть не считал себя покинутым: само пребывание в Чанги было наилучшим, пусть и психологическим лекарством, которое только можно пожелать. Меня разместили у входа в палату, и я не мог избавиться от впечатления, будто лежу в больничной койке на станционной платформе, со снующими туда-сюда толпами и прочей суматохой. И тем не менее в ту ночь я отлично спал — наверное, из-за предельной измотанности, а еще оттого, что дорвался до возможности как угодно громко и всласть разговаривать с таким количеством людей.

Нашим ББ руководил Бон Роджерс, военврач-австралиец из тасманийского Хобарта. Воистину выдающийся и преданный своему делу человек, который остался в памяти тысяч и тысяч военнопленных, прошедших через Чанги.

Когда он появился с утренним обходом, то первое, с чего начался мой медосмотр, было взвешивание. Поставили меня на старые весы, и я узнал, что вешу теперь 105 фунтов¹, что на 60 фунтов меньше моего обычного, довоенного показателя. Роджерс прописал мне витамины, а еще я стал получать молоко и даже яйца, хотя далеко не всегда. По-настоящему питательный рацион: наша

¹ Чуть более 47,5 кг.

больничка вообще получала лучшую пищу во всем лагере, пусть она по-прежнему состояла в основном из риса.

Само пребывание здесь уже было лекарством. В относительном покое, среди предсказуемости, с дополнительным питанием, в чистоте, под присмотром терпеливых и надежных санитаров, в атмосфере товарищества и поддержки я медленно, но неуклонно шел на поправку, прибавлял в весе.

Выяснилось также, что японцы вернули мне мою Библию. Тщание, с каким они заботились о личных вещах военнопленных, ничуть не уступало масштабам наплевательства на наше физическое благополучие. Даже наручные часы отдали. Но когда я попробовал вновь пробудить в себе тот душевный настрой, который всегда проявлялся при чтении звучных пассажей литературы семнадцатого столетия, обнаружилось, что я практически забыл, как читать. Страница выглядела мельтешением закорючек, не получалось сфокусировать взгляд. Я не видел ни единого печатного слова на протяжении последних семи месяцев. Знакомство с письменностью было низведено к распознаванию заглавной буквы D.

Ничего не оставалось, как по складам разбирать кричащие заголовки и подписи к рисункам в переплетенной подшивке «Лилипута», журнальчика со сплетнями и снимками полураздетых девиц; потом я переключился на детский букварь, откуда старательно зачитывал простенькие слова. По сути, я утратил интеллект и целыми днями копался в памяти в поисках навыков письменной речи. К великому облегчению, способность читать восстановилась быстро.

По истечении нескольких дней меня перевели этажом выше, в ББ2. Нас было десять в этой палате, по пять человек по обеим сторонам центрального прохода. В дальнем от входа торце располагался дежурный пост, а по соседству — ничуть не менее важная особенность: душевая. Я прямо-таки блаженствовал под обильными струями чистой, прохладной воды, да еще два раза в день, памятуя о том, что в Утраме смрад от собственного тела казался порой невыносимым. Зато здесь... Стоишь себе, отмокаешь под душем, красота. Еще у нас — прямо на этаже возле двери, далеко ходить не надо — имелись аж два сортира. Настоящих, со смывными бачками, которые в самом деле работали.

Несмотря на скученность и раздерганные нервы, мы отлично тут уживались; не припомню, чтобы хоть раз кто-то на кого-то накричал. Мы все слишком долго брели долиной смертной тени, чтобы по выходу из нее отвлекаться на мелкие досады. Кое-кто из нас пошел на экстраординарные меры, чтобы выбраться из Утрамской тюрьмы, в то время как другие угодили туда по причине чрезвычайной самоуверенности.

Джим Бредли, к примеру, совершил побег из лагеря Сонкурай, где ТБЖД довольно близко подходила к бирманской границе. Он был среди той десятки пленных, которые решили пробираться в Бирму, а оттуда к морю, по джунглям, ровнехонько поперек неисчислимых скальных гребней. Должно быть, это выглядело как поход по исполинской стиральной доске, заросшей кустарником. Пятеро из команды погибли в этих диких местах, остальных вновь схватили. По возвращении в лагерь их собирались без долгих проволочек расстре-

лять, однако в дело вмешался капитан Сирил Уайльд — переводчик Персиваля при сдаче Сингапура, впоследствии сосланный в самый дальний из лагерей. Так вот, Уайльд со страстной защитительной речью обратился к тамошнему коменданту, подполковнику Банно, и Джим остался жить лишь благодаря красноречию Уайльда и его мастерскому владению японским.

Австралиец Джек Макалистер и был тем пилотом, о котором мы шептались в Утраме. Его сбили над Тимором, он дважды пробовал угнать японский самолет — правда, не без помощи других пленных, — но всякий раз не удавалось взлететь. Беглецы, радиошпионы, похитители самолетов: вот кем мы были, так что наша гармония диктовалась все той же, неотведенной угрозой смерти. Тюремное начальство в Утраме при всем желании о нас не забудет. С их точки зрения, нас перевели в Чанги лишь временно, для поправки здоровья, и отсиживать срок до конца все равно придется. Здесь-то и зарыта собака. Бон Роджерс хотел, чтобы мы выздоровели, мы тоже были «за», но не настолько, чтобы нас потом могли вернуть в Утрам. Тени умерших, отпущенные на побывку, — это мы.

Так или иначе, отнюдь не все можно было поправить в нашей больнице. У кого-то отказывались работать конечности. Я, например, не мог быстро писать, у многих до опасной черты ослабло зрение. Некоторые заболевания были эндемическими. Слейтер страдал от жуткой дизентерии. И все же наше физическое состояние потихоньку улучшалось.

Бон Роджерс проводил утренний обход в лучших врачебных традициях, расточая лучи властности и уверенности, а нас взял под самое пристальное личное на-

блюдение. Санитары давали все необходимые медикаменты — когда они имелись. Меня ежедневно пичкали каким-то варевом с рисовыми отсевками, теми чешуйками, которые отшелушиваются при обрушении зерен. Их трудно проглотить, и они такие сухие да легкие, что на воде плавают горкой, зато в них много диетических волокон и витаминов. Я старательно уплетал эти чешуйки, щекотавшие мне пищевод.

При обходах доктор Роджерс давал нам также картину текущих событий на фронтах. За время, которое мы провели в Утраме, англичане и американцы успели высадиться в Европе, русские отбросили немцев аж до Варшавы, а японцев смахивали с Тихого океана, гнали в Бирме и Китае. От таких новостей тянуло прыгать — и тут же вскидывал голову страх. Лишь при скоротечном окончании войны у нас имелся шанс дотянуть до победы, но как насчет мстительности японцев, когда на горизонте они увидят флот вторжения? Даже если союзники завалят Сингапур бомбами, на военнопленных обрушатся репрессии — и в первую очередь на тех, кого осудили за те или иные «преступления». Стало быть, наилучшей стратегией будет такая: день и ночь — сутки прочь, живи, пока живется. Однако как бы мы ни хорохорились, как бы ни подбадривали нас наши товарищи, на задворках сознания таился вечный страх, что надзиратели из Утрамской тюрьмы могут в любой момент заявиться к нам, в Чанги, ради так называемого медицинского освидетельствования — на их собственный манер.

Хотя мы принципиально, со всей тщательностью избегали задавать дурацкие и лишние вопросы, было совершенно ясно, что отнюдь не японские охранники

любезно снабжали Бона Роджерса информационными сводками. Где прятали приемник, кто на нем работал — тема, конечно, любопытная, но мы в первую очередь молились за этих ребят, чтобы они были более осторожными или хотя бы более везучими, нежели мы.

Днем мы старались читать и отдыхать. В Чанги нашлось немало книг, целая библиотечка, изумлявшая пестротой и разношерстностью своего состава: религиозные трактаты, викторианские романы, томики Хью Уолпола, Сомерсета Моэма, братьев Поуис, Арнольда Беннетта... Эти книги ходили по рукам в душном, пропотевшем тюремном городке, пока не разваливались на листики. Поскольку численность «населения» Чанги никогда не падала ниже 3 тысяч человек, а частенько добиралась и до 5 тысяч и так как японцы практически не вмешивались в самоуправление, организованное военнопленными, культурная жизнь у нас бурлила похлеще, чем в большинстве заштатных городишек.

В Чанги работали кружки филателистов и любителей изящной словесности, дискуссионные клубы — и даже яхтенный. Правда, целиком и полностью на земле, зато специально для моряков, тосковавших по своей стихии. Все как могли использовали собственные воспоминания, чтобы поддерживать и развлекать себя и других.

Сидя на втором этаже ББ, мы не могли принимать участие в спорах о послевоенном устройстве мира или как надо понимать эволюцию, но уж что-что, а книги у нас были. В тюрьме имелась даже переплетная мастерская, где «лечили» зачитанные томики, проклеивая их самодельным клеем, густой жижей из разваренного риса или костяного бульона. Собственно обложки де-

лали из старых тюремных архивов, которых тут было навалом. Обвинительные заключения на каких-то индийских пиратов, написанные каллиграфическим почерком в безмятежные колониальные деньки, превращались в обложки для Джона Беньяна, Уильяма Блейка и Даниеля Дефо. На ощупь проклеенные листы довольно толстые, тяжелые и грубые, но при всем при этом очень прочны; кое-какие из этих книг до сих пор со мной.

Среди них есть и филателистический каталог Гиббонса за 1936 год, «Марки Британской Империи, вып. 1». Когда он попал ко мне в лагере, в памяти тут же всплыло, что не так уж и давно я с приятелем возился над сотнями таких марок, разложив их на полу эдинбургской квартиры. Мысль о красоте, об идее порядка, вложенной в эти заранее оплаченные, прямоугольные кусочки бумаги с зубчиками, подействовала в ту секунду невероятно благостно: ведь был, был же когда-то мир постоянства, пунктуальности и скрупулезно размеченных категорий. Я аккуратно, карандашом, дописывал примечания к африканским и малайским маркам, колонкам со всевозможными номиналами, расцветками, девизами и монаршими головами. Это была «классифицирующая» лечебная терапия; своего рода метод забывания непредсказуемого ада.

Именно тогда я обменял свою Библию на перевод Моффата (который до сих пор со мной), потому что мне было любопытно познакомиться с новым и немножечко скандальным изданием. Вот так и вышло, что Харкнесс получил мои примечания на полях, а я — его подчеркнутые строки. В промежутках между чтением Библии и освоением хиндустани — это я тоже не за-

бросил, а прилежно занимался по учебнику, — я классифицировал всяческие вещи, и время летело быстро. Дни слагались в месяцы.

Бон Роджерс предостерег, что во имя нашего же блага не следует казать нос наружу в светлое время суток, но разрешал немного погулять по территории после наступления темноты. Это означало, что мы находились как бы на осадном положении внутри самой тюрьмы, однако «удвоенное» ограничение свободы того стоило. Японцы не снисходили до появления внутри Чанги, если не считать необходимости забрать кого-то из пленных или что-то сообщить нашим старшим офицерам, поэтому мы на пару с Бредли потихоньку описывали круги, поглядывая на ночное небо и с блаженством вдыхая райский воздух. Вне этих стен лежали Селаранг, Кранджи и многие другие лагеря, с десятками тысяч военнопленных, но мы были опасны, и поэтому нас сунули в тюрьму. Больше всего мы любили прогуливаться между внешней и внутренней стенами: это было такое славное, уединенное местечко... Как бы глубокое русло из бетонных плит, бродишь по нему как по сливной канализации. Японцы стояли у главных ворот, но по стенам не шастали, и мы могли прогуливаться часами.

Большинство пленных не могли сказать про Чанги ничего хорошего; одни мы считали это заведение чуть ли не уютным гнездышком — спасибо Утраму. Я с облегчением выдохнул, увидев раздутого авитаминозом Стэна Дейвиса, которого перевели сюда вскоре после меня. Потом на носилках доставили и Гарри Найта. Уж эта оказия напомнила, до чего короток наш поводок, до чего близки ужасы и мерзость... В Гарри едва-едва

проглядывали знакомые черты, торс превратился в кожистые косточки, глаза провалились. Роджерс немедленно перевел его в другое больничное крыло, но через десять дней Гарри умер.

Джек Макалистер беспокоился, что его собственное выздоровление зашло чересчур далеко и теперь грозит гибелью. Он улучил момент, пошептался с одним из санитаров, и в один прекрасный день их план был приведен в исполнение. Невозмутимо, без суеты, будто медик собрался сделать ему укольчик, Джек уселся на стул и на собственную левую ступню поставил обрезок стальной трубы сантиметров пять в диаметре. Санитар услужливо врезал по трубе молотком. Пока надевали гипс, Макалистер еле сдерживал крик, но эта боль подарила ему как минимум еще несколько недель товарищества и человеческого обращения.

Смерть Найта и хитроумие Макалистера слишком хорошо напомнили о том, что я, чего доброго, отсюда загремлю. Сам себе и накаркал.

У входа в тюрьму постоянно дежурил кто-то из пленных, чтобы мгновенно сообщить в ББ о появлении японцев из Утрама, так что у нас по идее было несколько минут, чтобы предпринять некие шаги. Катастрофа разразилась 25 января 1945-го, и меры предосторожности не помогли. В больнице безо всякого предупреждения возникла группа японцев, в том числе и какой-то вроде бы доктор. Этот тип, которого сопровождал Бон Роджерс, не обошел вниманием ни одну из коек на обоих этажах и внимательно осмотрел всех пациентов. Доктор Роджерс вкратце докладывал историю болезни, перечислял разнообразные напасти, демонстрировал увечья. Увы, меня подвела моя же проклятая

жизнеспособность. Надо думать, в тот день я смотрелся слишком хорошо для лежачего арестанта, и японский офицер счел, что теперь я отлично гожусь для Утрама.

На сбор и прощание со счастливицами дали две минуты, и вот я в кузове грузовика, снова под опекой Службы тюрем японской императорской армии.

Мы быстро добрались до Сингапура, оттуда прямехонько на Утрам-роуд. Хотя я уже несколько недель морально готовился к этому моменту, неизменно угнетала мысль, что мое чистое, отдохнувшее тело совсем скоро превратится в скопище грязи и раздолье для чесотки, что мое пребывание в Чанги не больше чем пролитая вода... Грузовик подкатил к Утраму, высоченные ворота распахнулись пастью исполинского зверя и проглотили меня.

* * *

Я уже знал местные порядки: надо раздеться догола, выложить мелкие предметы на стол, личные вещи отдать на хранение и терпеть, пока тебя щупают во всех мыслимых и немыслимых местах.

Мне присвоили новый номер. На сей раз я был *го-хяку-ёндзю*, иначе говоря, № 540. Интересно, что случилось с предыдущим 540-м, чей номер выпал — и пропал?.. Потом меня отконвоировали в блок D. Дорогу я помнил отлично. Камеру отвели чуть ли не напротив 52-й, моего прежнего адреса, и я обнаружил, что буду делить ее с молодым индонезийцем с острова Целебес, или Сулавеси, как его называют нынче.

Общались со скрипом — парень плохо знал английский, — зато отлично ладили. Он был первым из азиатов, с которым я сблизился как с равным себе,

так что мое вынужденное знакомство с жизнью во всем ее многообразии продолжалось. Мой сокамерник воевал в рядах Голландской ост-индской армии на Суматре, и японцы подозревали его (как выяснилось, обоснованно) в связях с местным подпольем. Ему еще повезло остаться в живых. Он вспоминал свою деревню, рыбацкий и крестьянский быт соплеменников. Я взамен рассказывал о Шетландском архипелаге, чьим тропическим отражением, судя по всему, была его родина.

Кое-что в Утраме поменялось к лучшему. Теперь камеры почти весь день стояли нараспашку. Немного улучшилась и пища. Похоже, самые жуткие из болезней, которым мы были свидетелями год назад, уже не проявлялись. Сейчас кормили — при полнейшем молчании — за длинным столом, поставленным прямо в главном проходе. Большинству арестантов разрешалось пребывать вне своих камер довольно значительное время. Похоже, японцы вдруг сообразили, что блок D представляет собой источник рабсилы, которая не только сверхпослушна, но и не требует оплаты. Почти каждый день от тридцати до сорока человек отправляли в грузовиках копать туннели в холмах неподалеку, готовить их к самоубийственной обороне, когда начнется вторжение. Ох, не нравились нам эти туннели...

Еще нас запрягли огородниками. В рядах утрамских арестантов был офицер старшего командного состава, полковник Паркер из Индийской армии. Мне с ним на пару поручили унавоживать человеческими испражнениями те огородики, которые были разбиты по периметру корпусов и которые снабжали пищеблок овощами. Вонь фекалий на солнце сбивала с ног, а нам

еще полагалось поливать и окучивать растения, собирать урожай. Одежда пропитывалась смрадом насквозь.

Однажды нас отвели на картофельные грядки и даже разрешили полакомиться. Жаль только, клубни едва-едва завязались, так что пришлось довольствоваться верхками. Хотя нам кто-то говорил, что картофельная ботва ядовита, наши желудки этому не поверили. Паркер рассудительно заметил, что мы, должно быть, первые в истории британские офицеры, которых выпасают на картофельном поле.

Хотя ужасы тюремного существования слегка уменьшились, Утрам по-прежнему оставался средоточием зла. Как и раньше, ежедневный распорядок предусматривал голодание, зверства, зеленую тоску, каторжный труд, отсутствие медпомощи и пребывание в камерах не менее четырнадцати часов в сутки. В любую секунду могло случиться что угодно, а слегка улучшенное содержание практически уничтожило шансы выбраться отсюда по медицинским показаниям.

И все же я решил, что попытаюсь. Тошнило от мысли, что придется сложиться в этой выгребной яме, и я взялся обдумывать альтернативные способы. Наверное, можно бы и через стену перемахнуть, но полуголый, оборванный и сумасшедший арестант-британец на улицах Сингапура наверняка станет объектом повышенного интереса.

Я старался держаться рационального подхода: сравнивал преимущества различных решений, анализировал недостатки... Фундаментальной проблемой была информация, вернее, ее отсутствие. Обычное перешептывание не заменит серьезный канал связи. До сих пор не получалось отслеживать состав нашего континген-

та — вдруг появлялись новые арестанты, а знакомые лица исчезали без предупреждения...

Чрезвычайно редко, но все же удавалось иногда отправиться по какому-то поручению без конвоя. Однажды мне велели принести ведра из соседнего блока, и я, свернув за угол, неожиданно наткнулся на Ланса Тью, тоже почему-то расконвоированного. Мы стояли в полной тишине, хлопая глазами от изумления. Благодаря этой удивительной встрече я узнал от Ланса, что после трибунала японцы оставили его при мастерских, ремонтировать радиооборудование. Помимо довольно комфортабельных условий для существования, он также получил возможность следить за ходом войны, возясь с рациями, но это его все равно не устраивало — и он совершил побег. Присмотревшись, как выразился Ланс, к Бангкоку поближе, он понял, что идти дальше некуда, и ему пришлось сдаться. В общем, сейчас он тоже сидел в Утраме.

* * *

Я решил, что для организации побега лучше всего, пожалуй, пристроиться к *бэнки-тай*, как здесь называли «золотую роту». Шесть-восемь арестантов, которые каждое утро отправлялись к подсобке за широкими деревянными носилками, собирали по камерам поганые ведра и затем сливали их в канализационный люк во дворике блока D. По команде они разбивались на пары и обходили все камеры на своем маршруте. Хотя ведра полагалось заранее выставлять за порог, это правило соблюдалось не всегда, да и не мог один конвоир присматривать сразу за тремя-четырьмя разбредшимися парами арестантов, так что возможностей

переброситься словами было предостаточно. Золоторотцы имели доступ к воде, информации и обладали мобильностью.

Одному из них я намекнул о своем желании присоединиться, и через несколько дней мне действительно приказали заменить заболевшего.

Я привык к запаху ведер, тяжести носилок на плечах. На протяжении последующих недель я терпеливо собирал нужные факты из коротеньких разговоров, склонившись над вонючими ведрами, и от наших арестантов узнал, что выбраться отсюда по болезни не выйдет, зато известна парочка случаев, когда людей увозили из-за травматизма на работах.

Кроме того, выяснилось, что на втором этаже располагалось нечто, куда был заказан путь всем, кроме золоторотцев. Здесь двери камер были закрыты постоянно. По идее, даже в полной тишине какие-то случайные звуки должны выдавать присутствие человека, но на этом этаже мы не слышали ничего, кроме грохота надзирательских башмаков по железным лестницам. Скрежет чашки из-под риса на бетонном полу — и тот не доносился до наших ушей. И все же мы были уверены, что другие наши товарищи подвергаются там еще более изощренным наказаниям, чем мы.

Заняться было нечем, так что я все время размышлял, обдумывал план побега; это стало единственной заботой, точкой коловращения всей моей жизни.

Мысли вновь и вновь возвращались к лестницам. В конце главного коридора, с противоположного от входа торца, располагалась внушительная чугунная лестница на второй этаж. За мое первое пребывание в Утраме не было случая, чтобы по ней кто-то подни-

мался, но вот сейчас наверху находились загадочные и явно очень особенные арестанты. Для обслуживания их ведер требовалась лишь одна пара золоторотцев.

На протяжении нескольких дней я внимательно изучал эту лестницу. Ее ступеньки были отлиты из чугуна, причем английского, но между ними не имелось так называемых подступёнков, эдаких вертикальных планок. Взбираясь и спускаясь, я, как маньяк, подсчитывал ступеньки, проверяя и перепроверя самого себя. Мне надо было с абсолютной точностью знать их число, словно цифры сами по себе давали некую надежду. В общем, я пришел к выводу, что при падении с 17-й ступеньки снизу полет окажется достаточно долгим, чтобы получить более-менее серьезную травму и при этом не свернуть себе шею. Потом в голову пришло, что, если падать не в одиночку, а в компании с носилками и ведрами, мероприятие выйдет особенно зрелищным. Я был до того одержим «побегом», что был готов проделать это хоть на пути вниз, то есть с полными ведрами. Поразмыслив, однако, я решил падать на подъеме, чтобы не валяться в луже нечистот.

Я собирался с духом что было сил. Все заранее спланировал, как это мне вообще свойственно. Несколько дней подряд репетировал сам процесс: нагрузить носилки пустыми ведрами так, чтобы основной вес пришелся именно на мою сторону; взяться за задние ручки, начать подъем с правой ноги, считать ступеньки, на семнадцатой поставить правую ногу, оттолкнуться левой, просунуть ее ступню под верхнюю ступеньку — и упасть.

Пришло утро, когда я решил, что именно сегодня брошусь с лестницы. Выходя со двора, я как можно

плотнее насадил дужки очков за уши, пониже натянул кепи, чтобы хоть как-то защитить и уши, и очки. Уже внутри блока предупредил напарника, чтобы он не слишком цеплялся за рукоятки и вообще разжал пальцы, едва почувствует, что носилки тянут назад.

Мы как сонные мухи пересекли главный коридор и подошли к лестнице. По ходу подъема я вел подсчет; возле поворота, когда моя правая нога стояла на семнадцатой ступеньке, я поднял левую ступню, просунул ее под восемнадцатую ступеньку и дернул на себя носилки со всем грузом.

Грохот металла и треск раздавленных досок в гулком, обычно тихом коридоре напугал, должно быть, многих. Сам я выл от боли и нервной разрядки, старательно изображая на полу как можно более изломанную фигуру среди груды ведер, крышек и обломков носилок. Очки сумели выдержать и это приключение, даже с носа не свалились. Было действительно больно, но я не мог пойти на риск, чтобы проверить, что именно и в какой степени пострадало.

Раздалась как японская, так и английская речь. Заботливые руки, явно британские или австралийские, подняли и понесли меня в мою камеру, где и опустили на дощатый лежак. Я не смел двигаться и лишь чуть-чуть пошевелил пальцами рук и ног — в порядке ли? Жутко пугала перспектива оказаться со сломанным позвоночником. Впрочем, все вроде бы вышло как надо. Тело ломило, повсюду кровоподтеки, но даже ребра оказались полностью на месте. Я легко отделался... Как бы это не вышло мне боком...

Пожаловали надзиратели. Один из них принялся считать мой пульс, ощупывать грудь и ноги. Заявилась

еще какая-то личность, на самом краю поля зрения, потому что я сознательно держал глаза сфокусированными только на потолочных разводах. Я так и остался лежать, оставил без внимания ужин и вообще провел всю ночь как бы в полубреду. Шевелиться было нельзя, лежать без движения становилось все более и более мучительным.

Шло время, дни сменяли ночи. Остаться в одном и том же положении столь долгое время невероятно трудно, но я хотел, чтобы японцы отбросили подозрения на симуляцию и всерьез решили, что меня парализовало. Мой напарник-индонезиец проявил самые высокие человеческие качества, без единой жалобы заботился обо мне, поил и кормил своими руками. Порой, когда ему удавалось раздобыть воду, он меня обмывал.

Миновали две недели, две очень сложные и мучительные недели. Начинал сказываться жестокий голод: я сознательно не принимал пищу, только изредка позволял себе что-то съесть, чтобы не дать физиологическим функциям отказать окончательно. Но ничто не могло избавить от той боли, которую причиняют кости, когда они давят на кожу без малейшей жировой прослойки. Складывалось впечатление, что я обтянут папиросной бумагой, которая вот-вот прорвется. Так хотелось подвинуться хоть чуть-чуть — сил нет! К тому же все это время я не снимал ни рубашку, ни шорты, которые уже превратились в прилипшие к телу отрепья.

Как-то вечером, словно напоминая о себе, я с громким стуком уронил чашку с рисом, засыпав и себя и пол белыми зернами. После чего, по-прежнему лежа,

попытался помочиться. Не так-то легко уделать самого себя по доброй воле, однако в конце концов мои старания увенчались большой лужей.

Надо думать, это не прошло мимо внимания дежурного надзирателя, потому что буквально через пару часов появился санитар. Потыкал в меня носком сапога, пощипал в разных местах — и удалился.

Следующим утром меня на носилках доставили в административный корпус. Вновь положили на пол. Рядом возник санитар. Я благоразумно не стал вертеть головой, а строил из себя египетскую мумию в профиль. Звякнуло что-то металлическое, и тут я испытал резкий укол внутри ротовой полости. Что-то острое погружалось в десны — длинная-предлинная игла, протыкающая мне челюсть. Я почувствовал, как она уперлась в кость. Все поле зрения занял никелированный инструмент. Явно шло какое-то обследование, и мне позарез нужно было сохранять полнейшее безразличие. Любая реакция на происходящее свела бы к нулю недели подготовки.

Он вытащил иглу, и вскоре — в точности как прошлый раз — мне на грудь упал мой родной вещмешок, меня опять вытащили на носилках и погрузили в грузовик. Вновь неблизкая дорога вдоль русла Калланга, вновь поворот направо, медленный ход метров на сто, еще один поворот направо. Когда я услышал голос с шотландским акцентом — «Да это ж опять Ломакс!» — и узнал его владельца, Роберта Рида из 5-го полевого артполка куантанского гарнизона, то встреча с самим архангелом Гавриилом не смогла бы обрадовать меня больше. Еще несколько минут — и я вновь среди друзей, в нашем больничном блоке.

* * *

На дворе, как выяснилось, стояло 10 апреля 1945-го.

Бредли и Макалистер по-прежнему были здесь, то же самое относилось и к Биллу Смигу, Алексу Маккею и Джиму Слейтеру. Увы, беспощадный механизм обмена между тюрьмами продолжал работать до самого конца. Несмотря на все предпринятые, мучительные превентивные меры, Макалистера все-таки отослали обратно в Утрам через четыре дня после моего повторного появления в Чанги.

Бон Роджерс, невозмутимый и преданный своему делу врач, верный последователь клятвы Гиппократу, прописал мне травяную диету. Не в том смысле, что я прямо-таки жевал траву, но каждое утро послушно выпивал как минимум пол-литра зеленого «супа». Тошнотворная гадость, однако, как и все прочие избранные, я проглатывал, что давали.

А еще мне устроили банный день. Во дворе стола обыкновенная ванна, горячую воду для которой таскал специально выделенный дежурный. Ему велели помочь мне избавиться от настоящей грязевой корки, которую я вновь притащил из Утрама.

Я вернулся к привычному распорядку ББ2, чтению книг и болтовне. Иногда по вечерам нас навещали австралийцы Расселл Бреддон и Сидни Пиддингтон. Они ставили телепатические опыты и приглашали добровольцев. Становилось как-то не по себе, когда в полутьме тюремного блока, на твоих же глазах пытаются угадать, что лежит в кармане арестанта, или имя чьей-то жены; в общем, взывают к невидимым энергиям, которые столь же загадочны, как и радиоволны в пору моего детства. Наверное, мы были до нелепости до-

верчивы, но знаете, это казалось настоящим волшебством — в те заключительные месяцы войны, при нарастающем напряжении, когда все ждали, что японская верхушка вот-вот объявит о последней, отчаянной, варварской битве.

Бон Роджерс сообщил, что фашистские армии в Европе почти полностью уничтожены, что Берлин берут приступом и с востока, и с запада. Но по переполненным баракам Чанги активно ходили слухи о каких-то рвах, копавшихся неподалеку, о лихорадочной подготовке к массовым убийствам. Когда мы услышали, что 3 мая наши взяли Рангун, восторг был отравлен страхом. Теперь уж точно японцы начнут мстить.

И тут, словно моя старательно разыгрываемая роль симулянта что-то сдвинула в заведенном порядке вещей, судьба вдруг наградила меня самой настоящей травмой, которая, может статься, и спасла от очередного возвращения в Утрам.

Дело в том, что соль мы добывали одним-единственным способом: выпаривали ее из морской воды. Каждый день на побережье направляли рабочую команду, которая заполняла старые бочки из-под ГСМ, а по возвращении в лагерь эта вода распределялась по баракам. Однажды — видно, солдатская мудрость так и не пошла мне впрок — я вызвался добровольцем следить за процессом выпаривания. Дали мне армейский котелок и самодельную электроплитку из согнутого полукольцом нагревательного элемента, который подключали к электросети. Я периодически подливал морскую воду, и наконец мой котелок был уже на три четверти заполнен полужидкой солью.

Сидя на койке, я помешивал кипевшую рапу и невзначай задел длинную ручку котелка. Он и опрокинулся мне аккурат на правое колено. Соленая бурлящая масса потекла по ноге, снимая кожу. Боль охватила такая, что я на время утратил связь с действительностью. Помнится только, что Джим Бредли осторожно смыл соль теплой водой и что санитар сделал укол морфия, а потом я уже плавал в облаках. Прошло немало времени, прежде чем с ошпаренной ноги сняли повязку.

Одним ранним августовским вечером Бон собрал нас в кружок и сообщил невероятное известие, за правдивость которого он не ручался: против Японии якобы применили бомбу совершенно нового типа, что с лица земли стерт город под названием Хиросима, что это чудо-оружие было тайно разработано союзниками и что ходят слухи о скорой капитуляции. Мы боялись этому поверить. Неоправданный оптимизм был в большой моде к концу 1945-го в Чанги.

Японцы даже сейчас продолжали приходить со своими медицинскими освидетельствованиями. Девятого августа восьмерых человек посчитали достаточно здоровыми, чтобы вернуть их в Утрамскую тюрьму. Тем же вечером очередная подпольная радиосводка сообщила о повторном применении бомбы поистине космической мощи и о новом уничтоженном городе. Ах да, забыл сказать: меня обошли стороной при отборе.

Спустя шесть дней Япония капитулировала. Еще через четыре дня врата ада распахнулись, и все пленные из Утрама — вернее, все уцелевшие — были перевезены к нам в Чанги. Пара человек из их числа все же скончались через несколько часов после прибытия.

Проведя в Утраме двадцать два месяца без передышки, Фред Смит тем не менее выжил; его невероятная выносливость одержала верх над чудовишным истощением, воля казалась по-прежнему нестигаемой. Впрочем, в то время каждый из нас старался держаться молодцом, чтобы поддерживать друг друга морально, и лишь много позже стала сказываться та цена, которую пришлось за это заплатить.

Тем же днем за наружной стеной Чанги на полную мощность врубили громкоговоритель. Дикторы Всеиндийского радио взахлеб повествовали о масштабах победы союзников. Из соседних лагерей прибывали тысячи ошеломленных, пьяных от восторга военнопленных, чье исступленное возбуждение объяснялась как радостью, так и ненасытным голодом. Бывшие японские охранники тарасились на громкоговоритель, выпучив глаза. Под «тарелкой» постоянно сидели сотни людей, которые на ура принимали каждую проходящую новость и всюю насмехались над понурыми японцами.

Парочка звеньев «либерейторов» сделала облет нашей тюрьмы, сбросив из бомбардировочных люков кипы посылок, тюки с медикаментами и ящики с провизией. Потом появился еще один самолет, откуда к нам выпрыгнули три парашютиста. Мы всюю следили, как они спускаются, отстегивают свое снаряжение и маршируют к главным тюремным воротам. Смотрим мы на них, и глазам своим не верим: ей-богу, молокососы какие-то. Все как один британцы, по одному офицеру от каждого рода войск: сухопутная армия, ВВС и ВМФ. А уж до чего важные и чванливые — мол, мы ваши спасители!.. Да разве мы такие беспомощные? И вообще,

не хватало еще, чтобы тебя вызволяли какие-то малоопытные юнцы. Один из пленных так и сказал армейскому капитану: дескать, ты еще за школьной партией сидел, когда меня сюда сунули, так что если хочешь, мы тебя покормим обедом, а дальше ты уж сам по себе.

Японцы тихонько вернулись по своим казармам и сдали оружие. С неба тем временем сыпались новые десантники, другие подразделения высаживались с моря — и все они видели, что с каждым преходящим часом наш тюремный городок все более организован, обустроен, способен сам себя прокормить и вообще все больше и больше напоминает военную часть. С этого момента никто в наши дела не лез.

После восстановления связи к нам стали поступать окончания тех историй, которые мы пересказывали друг другу на протяжении последних трех лет, понятия не имея, чем все закончилось в действительности. Взять, к примеру, тот случай с расстрелом австралийских медсестер на острове Банка: оказывается, там погибло пятьдесят человек, то есть даже больше чем мы думали, но при этом две медсестры выжили¹. Милосердный убийца Примроз не был казнен, его вернули в лагерь, и он даже остался в живых. Арестанты, беззвучно сидевшие на втором этаже Утрама, были диверсантами, которые в сентябре 1943-го — буквально сразу после нашего ареста — подорвали несколько японских кораблей в Сингапурской гавани, причем им удалось уйти без потерь². Они вернулись через год, и уж тут их

¹ По уточненным данным, только одна: лейтенант медицинской службы Вивьян Буллвинкель (1915—2000).

² Операция «Джэй в и к» (26 сентября 1943 года), осуществленная силами австралийского спецподразделения Дзэт под командованием майора-британца Айвана Лайона — погиб уже

схватили: десять человек, в том числе несколько офицеров. Были обезглавлены 9 июля неподалеку от горы Тима, едва ли за месяц до конца войны; благодаря им у меня появился шанс повторно выбраться из Утрама, а я их так и не поблагодарил...

Доходили слухи про подпольные радиоприемники в других лагерях, спрятанных в бамбуковых стволах, вениках, рукомойниках. Также поступали сведения о судьбе их создателей. Мы уже слышали, что на Борнео казнили Маттьюза, капитана австралийских войск связи. Теперь я узнал, что капитана по имени Дуглас Форд расстреляли в Гонконге примерно за те же вещи, что мы проделывали в Канбури. Имя показалось знакомым; мы с ним учились в эдинбургской радиошколе. И Форд, и Маттьюз обзавелись радиостанциями и даже установили контакты с местным населением.

Ланс Тью вновь исчез: его еще в мае куда-то этапировали из Утрама. Должно быть, у японцев к этому времени была жуткая нехватка квалифицированных радиомастеров. Я больше никогда не видел Ланса, не получал от него весточек, но мне точно известно, что он уцелел. Зато ни следа не осталось от Билла Вильямсона, скромного человека и талантливого лингвиста, которого миновала экзекуция в Канбури. Отправили его куда-то на строительство железной дороги, и он как в воду канул.

Я решил составить полный список арестантов, прошедших через военный блок Утрамской тюрьмы, чтобы людей можно было учесть хотя бы по именам. Копался

подполковником в ходе операции «Римау» 16 октября 1944 года, прикрывая отход.

в медицинских карточках, разговаривал с уцелевшими. Хотелось успеть изложить все факты на бумаге и передать их в руки командования ЮВАТВД, Юго-Восточно-Азиатского театра военных действий, а то ведь нас уже начинали разбивать на группы и приписывать к различным частям, разбросанным вокруг Чанги, готовясь отправить домой. Когда я сел за древнюю пишущую машинку, то обнаружил, что запястье и кисть правой руки работают плохо, так что дело продвигалось медленно.

Кроме того, я написал подробный рапорт о том, как с нами обращались в Канбури. Сюда вошли и свидетельства других военнопленных. Майор Слейтер, будучи самым старшим офицером из нас, — чины и звания вновь были в цене — поставил и свою подпись. Соглашаясь последнюю редакцию рапорта, мы придумали название для происшествия с нашими подпольными приемниками: «Канбурский радиоинцидент»; словосочетание сильно смахивало на эвфемизм. Мы становились частью истории, и уже сейчас было видно, с какой легкостью нас могут забыть.

Добро забывается ничуть не медленнее зла, а порой и того быстрее, и вот почему я составил также представление о внесении в наградной лист для связиста О'Мэйли, самоотверженного *тобана* из Утрамской тюрьмы. Я изложил его поступки бесстрастным языком казенного рапорта, где тем не менее рассказывалось и о том, как он носил паралитиков на руках, как заботился о больных и как старался облегчить последние муки погибающих.

Педантичность и строгость при фиксации показаний очевидцев и участников событий, дотошные описания преступников со всеми их деяниями стали замечательным громоотводом для гнева и жажды мще-

ния. Я до сих пор изумляюсь, что с охранниками не расправились на месте и что нормальный ход вещей восстановился очень быстро.

Я сохранил копии всех этих документов. Представление на О'Мэйли напечатано бледно-лиловыми буквами на обороте телеграфного бланка Адмиралтейства; рапорт с жалобой на коменданта канбурского аэродромного лагеря и его унтеров изложен на толстой зеленоватой бумаге, которая используется для Grosbuxov. Хорошо видно, как скакали буквы у пишущей машинки и до чего износилась красящая лента. Еще у меня есть список кое-кого из гражданских арестантов в Утраме, хотя этих людей мы видели редко. Их имена перечислены на туалетной бумаге для военнопленных — тоненькой, волокнистой и полупрозрачной бумаге, испещренной крошечными заглавными буквами в карандаше. А вот напечатанный список арестантов, которых эвакуировали из Утрама в Чанги, почти нечитаем; хорошо видны лишь тонкие, выбитые точками линии, которыми я отделял категории. Этот документ выполнен на бурой обертке рулонов, к тому же при печатании буквы едва не пробивали тонкий лист. Еще можно прочесть название: «Красный Крест. Туалетная бумага «Онлифон».

Глава 10

Непредсказуемые опасности плена уступили место армейской упорядоченности. Я вновь числился офицером действительной службы, и меня вот-вот должны были отправить домой. С родителями я не встречался

более четырех лет; объехал полсвета и повидал вещи, о которых уже столетиями не слыхивал оставленной мною мир. Мы, уцелевшие, чуть ли не состязались друг с другом в лаконизме и сдержанности, когда заходила речь о пережитом. Казалось, что мои «неприятности» закончились с капитуляцией Японии. Беспокоил скорее физический ущерб: поврежденные руки, истощение организма, кожные болезни, от которых не удавалось избавиться. К примеру, я вывез из Чанги стригущий лишай. Я еще не понимал, что бывает такой жизненный опыт, который не получится оставить в прошлом, и что для последствий пыток не существует срока давности.

Суматоха реорганизации, волнительная подготовка к отъезду и упорный сбор доказательств для высшего командования о том, что с нами вытворяли, — все это уводило прочие мысли на задний план. За последние два года было столько новых поводов для страха и тревоги, что мозг отказывался заниматься конкретными эпизодами, и хотя я провел немало часов в гневных раздумьях о Канбури, о предательстве, о кэмпэйтайских допросах, сейчас я оказался как бы слишком занят, чтобы рыться в воспоминаниях. Их место заняли прощальные вечеринки с боевыми товарищами, которых я научился высоко ценить и уважать. Джим Бредли, мой сосед по койке в ББ2, до сих пор был слаб, и его перевезли на госпитальное судно. Макалистер вернулся в ряды австралийских ВВС; Фред Смит и другие разъехались по различным военным городкам, которые рассыпанной мозаикой были устроены в окрестностях Чанги.

Мой собственный 5-й артполк, в 1941-м попросту брошенный на произвол судьбы, сейчас дислоциро-

вался на Формозе, хотя ожидалось, что его придадут какой-то другой войсковой группировке. В итоге мне поручили заняться солдатами-индусами; их в городе было пруд пруди, причем полностью дезорганизованных и без командиров. Полковник Паркер, с которым мы сообща паслись на картофельной ботве, стал моим непосредственным начальником. Мы организовывали грандиозные построения и смотры, проверяли списки и устанавливали личности военнослужащих, которых японцы использовали в качестве рабсилы: остатки некогда могучей и гордой Имперской индийской армии. Известно, что кое-кто из них во время плена записался в прояпонскую Индийскую Национальную армию, и мы не исключали, что эти люди могли принимать участие в попытке захватить Индию в 1944-м. На таких заявляли их бывшие однополчане, не изменившие присяге. Выявленных членов ИНА арестовывали, и дальше мы их передавали уже в другие руки.

Однажды мне без малейшего предупреждения велели взять команду из полусотни человек, отвести их к докам и затем доставить в Калькутту. Вот и все, раз — и готово, прости-прощай, Малайя. Шли мы на пассажирском лайнере «Девоншир», на время войны переоборудованном в транспорт. Через неделю нас встретила Индия.

В Калькутте меня направили в Бельведер, резиденцию вице-короля Индии. Теперь здесь располагался центр по делам бывших военнопленных. Внешне ансамбль напоминал английское поместье в итальянском стиле или даже целый дворец с колоннадами и мраморными лестницами, который величественно возносился над маревом Бенгальского залива. Крытые

галереи и кариатиды были сейчас спрятаны под лиловыми разводами камуфляжной сетки. Бальный зал с целыми акрами пружинящего паркета поделили на помещения для службы денежного довольствия, представительства Красного Креста, столовой, офицерского клуба и почтового отделения. Резиденция была полна великолепно убранных комнат, с тяжелыми английскими креслами на могучих ножках, длинными столами полированного дерева и сервантами с горками голубого фарфора. Через исполинские окна предвечерний свет индийской осени лился на молодых людей, не смевших поверить собственной удаче.

Хозяйством заведовали местные дамы из добровольческой женской организации, привыкшие к слугам-индусам и собственному командному положению, хотя к нам они относились просто замечательно. Ну, скажем так, в своем большинстве. Однажды, когда мы с одним офицером — тоже горемыкой с ТБЖД — пили чай на крытой галерее, любуясь зеленью недавно орошенной лужайки с розовыми кустами, тихо восторгаясь роскошью цивилизованной жизни и заодно удивляясь прогрессу собственного выздоровления, к нам подсе-
ла женщина. Решительная, энергичная матрона из тех, кого здесь именуют «мемсаиб»¹, которая считала себя в полном праве «высказывать собственное мнение честно и в глаза» — так, я думаю, она охарактеризовала бы свою манеру поведения. Она заявила, что ничуть не сомневается в том, что нам не терпится внести наконец и свой вклад в общее дело, раз уж почти всю войну мы отсиживались в плену. В голосе ни на йоту иронии.

¹ Почтительное обращение к замужней европейке в колониальной Индии.

Причем было ясно как день, что сиамские и малайские лагеря в ее понимании — это скопища праздношатающих и скучающих бездельников, замаранных позором. В ответ мы с тем офицером лишь стиснули зубы и подлокотники. В ту пору я наивно полагал, что нам просто попалась толстокожая и бестактная гражданская особа, однако вскоре до меня дошло, что, прежде чем по-настоящему поверить, кое-какие вещи надо увидеть собственными глазами и что есть темы, которые предпочитают побыстрее забыть.

После нескольких дней отдыха я вдруг почувствовал общую слабость, дурноту и полнейшую апатию. Внезапный приказ ничего не делать мой организм уже не смог вынести. Медики направили меня трое суток отлеживаться в военном госпитале, где я спал по четырнадцать часов кряду.

Более-менее придя в себя, я получил предписание ехать в Мау, что расположен в центральной части Индии. Там со склада мне выдали личные вещи, которые я оставил на попечение армии в 1941-м. Оказывается, за ними присматривали пленные итальянцы. Из этого же городка я отбил матери поздравительную телеграмму по случаю дня ее рождения. Вновь реальной выглядела перспектива увидеть родных, но все равно было трудно хотя бы умозрительно преодолеть ту пропасть, которая легла между нами из-за войны и Утрама. Тот день, когда я опять войду в родительский дом в Эдинбурге, казался мне прыжком в бассейн с чистой, прохладной водой; он олицетворял нормальность и удовольствие от тихой, ненавязчивой любви.

Здесь же, в Мау, я заказал ювелиру-кустарю золотое обручальное колечко для моей невесты. Я считал, что

она по-прежнему будет там, где мы расстались, и что для нее время словно бы остановилось, в то время как со мной много чего приключилось. Я понятия не имел, насколько за время войны изменился мир или до какой степени изменился я сам.

Из Мау ходил поезд до Деолали; некоторое время пришлось ждать в компании с другими «полубеспорядочными» офицерами, пока нас не определят на судно, идущее в Англию. В конце концов мне велели ехать в Бомбей, где и посадили на борт интернированного голландского парохода «Йохан ван Олденбарневельт», шедшего на Саутгемптон.

В ходе плавания ко мне обратилась группа бывших пленных из Сиама. Дело в том, что их командиры, которые сами не побывали в плену, давали этим людям наряды на всяческие хозяйственные работы, понятия не имея, через что их нынешним подчиненным довелось пройти. И вообще становилось ясно, что та боевитая мадам из Калькутты имела в армии единомышленников. Бывшие пленные считали, что более чем нахлебались принудительных работ за последние три года и пусть командиры со своими нарядами катятся ко всем чертям. Это были сломанные люди, больные и нуждавшиеся в отдыхе и теплой заботе. Я сходил к помощнику капитана и попытался объяснить, что их следует считать пассажирами, а не солдатами действительной службы. Он вроде бы согласился — безразлично и небрежно: зловещий симптом полнейшего непонимания и невежества, которые уже затягивали тему военнопленных как вуаль.

В остальном плавание ничем особенным не запомнилось. Я целыми днями читал. В Саутгемптон мы

вошли 31 октября 1945-го. Помнится, в Сингапуре в 1941-м нас встретили с оркестром, игравшим «Англию навсегда», зато теперь наше никому не интересное прибытие отметила разве что природа — промозглой и серой погодой английского побережья в преддверии зимы. На борт доставили почту, прозвучало мое имя. Пришло письмо от отца; он сообщал, что мама умерла три с половиной года тому назад, через месяц после падения Сингапура. Ей было шестьдесят восемь. Она умерла, считая меня погибшим, потому что я попал в списки пропавших без вести. А еще отец написал, что женился повторно.

Я знал, о ком идет речь. Давняя подруга нашей семьи... вернее, подруга отца. Если честно, я ее недолюбливал; в ней читались неискренность и склонность к стяжательству. Все мои любовно выстроенные картины семейного воссоединения, которыми я мысленно любовался на борту парохода, развалились как карточный домик. Я был настолько потрясен, что не мог сказать, где скорбь, а где гнев. Горе от потери матери чуть ли не затмилось реакцией на поступок отца. Мне быстро и четко дали понять, что возвращения к чему-то знакомому не будет. Я вновь ощутил, до чего же сильно устал — как физически, так и духовно, — когда вспомнилось наше последнее прощание на затемненной от светомаскировки улице в Скарборо, когда в памяти всплыли все те моменты, где образ матери вставал перед глазами — а я даже не знал, что ее больше нет... И я, наверное, даже смог бы ей что-то рассказать из тех вещей, которыми, как я уже понимал, очень трудно делиться.

Следующим днем я десять часов трясся в поезде, пребывая в таком оцепенении, что ничего не мог толком

продумать. В Эдинбурге меня никто не встретил, и этот простенький факт послужил, возможно, толчком к моим последующим действиям. Я не стал заходить домой. Не было сил появиться в роли чуть ли не постороннего, застать оккупированным место родной матери, зависеть от той женщины и отца. В общем, на вокзале я сел в такси с водителем-женщиной из добровольческой организации и попросил отвезти меня по адресу, где жила моя невеста со своими родителями, а уже на следующий день отправился к отцу, в Йоппу, в мой, с позволения сказать, некогда прочнейший тыл.

Наверное, мою отчужденность можно было пощупать руками. Поверх природной сдержанности сейчас обосновалась инстинктивная настороженность заключенного, который приучен скрывать свои мысли. Сам того еще не зная, я уже начал отключать в себе эмоциональные функции, скажем, заворачивался в кокон холодной ярости при первом же признаке конфронтации, вместо того чтобы открыто выражать свои чувства. Мой отец со своей новой женой — я и подумать не мог, чтобы назвать ее «приемной матерью» — вели себя доброжелательно, в отличие от меня. Приглашали вчетвером отправиться как-нибудь на выходные в Озерный край, но я отговорился.

Я не хотел обидеть отца. Ему уже было за шестьдесят, он успел выйти на пенсию, а позднее сказал, мол, «она меня спасла, согласившись выйти замуж», потому как, дескать, после внезапной кончины моей матери его жизнь покатила под откос. Положим, этого-то в вину не поставишь, но и принять его поступок я тоже не мог: подозревал, что вторая миссис Ломакс не

осталась безразличной к щедрой отцовской пенсии и уютному домику, когда принимала решение. Минуло всего-то два дня, а я уже очутился в мире циничном и мелочном в сравнении с чувством локтя и презрением к мишуре, которые пришли к нам в лагерях и Утраме, где мы глядели смерти в лицо.

Три недели спустя мы с С. поженились. Отношения у нас с ней были невиннейшими донельзя, и под венец меня привела моя апатия, ее решительность и тот романтический образ, который я пронес через все. Да, я был влюблен — но в кого? или во что? Я сделал шаг на авось, столь же рискованный, как и падение с той лестницы в Утраме. Шесть лет провел, живя совсем другой жизнью — по ее меркам, вообще в другом мире, — в то время как она продолжала обитать в атмосфере тихой, невозмутимой определенности сугубо религиозного провинциального семейства. Эдинбург перенес все те военные лишения, от которых страдала Британия: карточки, обязательная светомаскировка, эвакуация детей, — но город все же куда меньше пострадал от бомбежек в сравнении с тем же Лондоном или кое-какими городками в центральных графствах.

Мне казалась, что С. и была той тихой гаванью, где я смогу укрыться от предательства со стороны отца и той боли, от которой не получалось избавиться. К тому времени я успел обосноваться в своем собственном мире — внутренняя жизнь бывшей жертвы пыток неприступней иных крепостей. В 1945-м я и близко не мог подойти к осознанию этой истины, просто не было у меня слов, чтобы описать пережитое.

Да их вообще ни у кого не было: ни у моих сотоварищей, и уж конечно ни у армии. Все внимание,

которое мне уделила Британская армия после войны, свелось к одному-единственному медосмотру в гарнизонной медсанчасти Эдинбурга в ноябре 1945-го. Выяснилось, что я способен пройти по комнате, что кожа у меня на ощупь теплая и что неизлечимых болезней нет. Все, свободен. Военврач так и сказал, мол, давай, лейтенант, найди себя в жизни. Можно подумать, на свете нет ничего проще. Раны-то были не на поверхности, их не выразишь стетоскопом. Мой поспешный брак и был симптомом их присутствия.

Знакомым и понятным миром стал для меня лагерь. Я там закалился, научился выживанию, — а сейчас вдруг очутился непонятно где. На мне висел груз пережитого, который я не мог описать. Я стал опытным мастером по части неискренности, прямой лжи, увиливания и безразличия: ведь без этих качеств я не смог бы пережить плен. И от меня еще ждут, что я возьму так — раз! — и вернусь к нормальной жизни?

Одна из фундаментальных трудностей заключается в том, каким образом бывший военнопленный сможет найти в себе мужество противостоять силе обстоятельств, сказать «нет» ненужным предложениям и необоснованным приказам. Думаю, мне было особенно сложно найти ту силу воли, которая позволяет упереться и не поддаваться, хотя глубинные резервы упрямы все же имелись. Отдаться на милость внешних событий, особенно в первые месяцы свободы, было куда проще, это требовало меньше сил, которые и без того истощились. И эта негативная энергия действовала заодно с позитивной, а именно с желанием обустроиться, отыскать приют, где о моих чувствах заботились бы с

таким же тщанием, с каким в 1944-м другие мои раны врачевали в Чанги.

Но бывшему военнопленному нелегко найти себя в жизни. Я знаю человека примерно моего возраста, который тоже пережил плен на Дальнем Востоке. Так вот, сегодня, спустя полвека после окончания войны, он каждое утро выходит из дому и бродит, бродит, бродит до темноты. У него не получается сесть и расслабиться. В своем городке он стал местной достопримечательностью. Годами глушил боль выпивкой, которая позволяла быть рядом с людьми, хотя бы и собутельниками, давала некую иллюзию внутреннего спокойствия. Однако алкоголизм начал свою разрушительную работу, он это понял и бросил пить. Труд всегда давался ему со скрипом, но это тоже был своеобразный якорь. И что же осталось ему сейчас? Пить нельзя, на пенсию уже отправили — вот и поплыл человек как отвязанная лодка, следует по какому-то одному ему ведомому течению. Потерял контроль над той душевной неустроенностью, которую давил в себе после возвращения с Дальнего Востока, — и она его захлестнула.

Пережитое стало пропастью между мной и прежней жизнью, и тем не менее — раз уж от меня этого ждали — я вел себя так, будто представляю собой того же самого человека. В формально-юридическом аспекте так, наверное, и есть, но на этом сходство заканчивалось. Человек по имени Эрик Ломакс играл роль свежеспеченного супруга и делал вид, что он все такой же, каким был в 1941-м, еще до отъезда на Восток, еще до того, как из него вырвали невинность, простодушие и практически все чувства. Жизнь этого молодого чело-

века была распланирована под увлечение поездами и прочими реликтами золотого века промышленности, которые привлекали его куда сильнее, нежели события прошлого, изложенные историками-традиционалистами. Ему чудилось, что гудок паровоза звал куда-то, приглашал выйти за рамки личной ограниченности, и обязательства, принятые этим — ныне исчезнувшим — молодым человеком, держали меня цепкой хваткой, требуя исполнения. За годы отсутствия я страшно повзрослел. Стал жестче, почти разучился делить с людьми их радости, не говоря уже о сочувствии мелким неприятностям. И все же я, будучи житейски неустроенным, вновь шагнул в эту волну, и она меня подхватила — как и столь многих других молодых людей в ту зиму 1945-го.

Венчание, конечно же, состоялось в Общине, куда меня опять затащили. А мне было наплевать, с таким же безразличием я относился ко всему остальному. Здесь все так же верховодил Сидлоу Бакстер, все так же обличал грех и бичевал зло с фанатичной одержимостью. Уж как он был рад вновь записать меня в графу «Приход» баланса своей паствы... А то золотое колечко, что по моему заказу сделали в Индии, оказалось слишком тесным для моей суженой.

Поначалу мы были вполне счастливы, не уступая в этом любим другим молодоженам, однако не настолько хорошо знали друг друга, чтобы жить вместе отныне и до конца. Она была хорошенькая, умела поддержать беседу и обладала приятным музыкальным голосом, но специфичность среды, в которой она воспитывалась, сильно сказалась на ее культурном развитии. Весь ее мир сводился к Общине и родительским приятелям.

Она как бы навечно застыла в позе, свойственной самодовольным и ограниченным людям, которые в жизни не испытывали ничего, что выходило бы за рамки их непосредственного окружения.

Понятно, что ей было нелегко; она и не догадывалась, в какую реку шагнула. Чуть ли не с первых же дней ей пришлось натирать мою воспаленную кожу специальной мазью. К медовому месяцу я преподнес ей свой стригущий лишай и экзему. Несмотря на нашу последующую отчужденность, сейчас-то я вижу, до чего это было тяжело. Я был сломлен и подавлен; ее романтические мечты больно терлись о занозистую реальность в виде бледного, истощенного неврастеника. Как и я сам, она стала жертвой войны.

Первым непреодолимым барьером явилась наша неспособность поговорить по душам. Чуть ли не всю жизнь у меня не получалось рассказать о произошедшем в Юго-Восточной Азии, однако в те первые годы, пока мы еще были близки, я хотел попытаться, хотел рассказать жене, как и что случилось. Но ей это было неинтересно. Она ждала, что я буду вести себя так, словно годы моего становления и возмужания еще не наступили. С ходу отмахивалась от моих сбивчивых попыток хотя бы приступить к объяснению того, что я и мои товарищи пережили в Канбури, или, к примеру, рассказать о японцах, которые все это с нами вытворяли. Она искренне считала, что ей тоже досталось будь здоров: «Да ты хоть знаешь, что такое получать яйца по карточкам для гражданских? А воздушная тревога? А эти кошмарные очереди?» Она даже не догадывалась о правде, и я уверен, что десятки тысяч вернувшихся солдат лбом приложились о точно такое же чугунное

непонимание. Мы, солдаты той войны, теперь будто изъяснялись на чужом языке, не понятном для наших же соотечественников. Испытанная при этом боль заткнула мне рот почище кляпа.

Кошмары начались вскоре после моего возвращения. Как правило, про Утрам. В них я сидел в камере-одиночке, без пищи и воды, умирал от голода, задыхался, умолял выпустить... Время сжималось, на меня не обращали внимание месяцами, и я знал, что отсюда уже не выйти. А порой снилось, что я сделал что-то совершенно невинное — и вдруг вновь оказался в Утраме в роли жертвы судебного произвола, причем на сей раз надеяться на справедливость бессмысленно, так как не было и причины меня сюда сажать. Порой я раз за разом и крайне болезненно падал с чугунной лестницы, которая уже сама успела покрыться омерзительными струпами. Одни и те же сны.

В холодном свете дня мой гнев чаще всего обращался на тех японцев, которые меня избивали, допрашивали или пытали. Я хотел воздать им той же монетой, в мельчайших подробностях и очень конкретно представлял, что и как проделаю с канбурскими унтерами и тшедушным гаденышем-переводчиком из кэмпэй-тайцев, с его мерзким акцентом, деревянной манерой говорить и способностью находиться рядом, делая вид, будто он вовсе ни при чем. Я хотел его утопить, сунуть в клетку, измочалить — и посмотреть, как ему это понравится. Я по-прежнему слышал его голос, невнятную дикцию: «Ломакс, вас скоро убьют», «Ломакс, вы нам расскажете»...

Канбурский радиоинцидент уже превратился в примечание к одной из страниц войны. Ланс Тью получил

медаль Британской империи, а все прочие из нас — как живые, так и мертвые — были «упомянуты в донесениях». И тут как-то утром я прочел в «Дейли Телеграф» крошечное сообщение о том, что днем раньше в тюрьме Чанги были повешены капитан Комаи Мицуо и старший унтер-офицер Иидзима Нобуо — за причастность к смерти двух британских военнопленных, а именно лейтенанта Армитажа и капитана Холи. Другим людям досталось еще больше, чем нам, — ужасы европейских концлагерей и масштабы умерщвления евреев только-только начинали доходить до недоверчиво настроенного населения. Пусть так, но это не полностью объясняет, отчего пережитое нами оказалось лишь в примечаниях. А дело в том, что дальневосточные военные преступления вообще были не очень-то интересны британской общественности, к тому же официальные установки рекомендовали не раздувать эти дела, коль скоро надо было возрождать Японию, оказавшуюся теперь на стороне Запада. Канбурский трибунал прошел, в общем-то, незамечено.

Но только не для тех, кто имел прямое отношение к преступлениям, которые на нем рассматривались. Я знал, что мои рапорты помогли повесить этих двоих, и испытывал даже холодок удовлетворения. Я жалел, что на виселицу отправили лишь немногих. Имелись непогашенные счета, которые я хотел предъявить японскому народу в целом, и в особенности кое-каким его представителям. Пьяные унтера, избивавшие нас в Канбури, были агнцами в сравнении с администрацией Утрамской тюрьмы и теми, кто хладнокровно довел до смерти столь многих на строительстве ТБЖД. В этом

смысле я был удовлетворен — Армитаж и Холи отмщены. Но не я.

Нигде не сообщалось о том переводчике и его начальнике, унтере-садите, которые даже сейчас меня преследовали. Я никогда не делал заявлений по их поводу, хотя мне они запомнились куда лучше, чем убийцы Холи и Армитажа. Та банда молодчиков с дубинками была безликой, зато физиономии кэмпэй-тайской парочки вставали перед глазами чуть ли не ежедневно.

* * *

Вторым прибежищем была для меня армия. Я продлил срок службы еще на два года, тем самым отсрочив принятие важных решений: к ним, так же как и к новой жизни, я не был готов. В итоге я подал рапорт и получил назначение на должность офицера-преподавателя при военной кафедре Эдинбургского университета, что давало возможность жить дома, а трудиться на самом мирном из всех военных поприщ. Следующие два с половиной года я потратил, обучая старшекурсников премудростям радиодола, в том числе и проводной связи.

Машина по превращению студентов в офицеров была важной и активной составляющей нашего университета: Британия по-прежнему содержала мощную армию, на пороге стояла «холодная война», да и над Малайей вновь собирались грозные тучи, на сей раз из-за красных сепаратистов. Как правило, военной кафедрой заведовал кадровый офицер, среди преподавателей имелись прапорщики, но мой случай — офицер связи — был весьма редким среди британских вузов.

Я так много раз вызывался добровольцем и в результате столько нахлебался, что теперь считал эту чудо-должность полностью заслуженной.

Не работа, а чистое наслаждение. Я читал студентам лекции по радиотелеграфии, возил в горы, чтобы не просто теоретически, а на практике показать, как влияет характер местности на прием, как работать в тумане или во время грозы. Я разрабатывал учебные планы, устраивал занятия, где каждый мог попробовать себя на прокладке кабелей, в работе на коммутаторе, передаче депеш. Сейчас все в основном вертелось вокруг раций, намного более продвинутых потомков тех агрегатов, с которыми я начал войну. Впервые увидев эти аппараты, я едва признал в них устройства радиосвязи; пришлось засесть за наставления и инструкции. Мне лично хватило кустарщины в виде «беспроводной связи по проводам», и я искренне надеялся, что этим мальчишкам никогда не придется сидеть слепыми и глухими, угодив, как мы в свое время, в гиблое местечко типа Куантана. Иногда я вывозил их на полмесяца в Каттерик, учебный лагерь при штабе Королевских войск связи, чтобы показать, как выглядит настоящая армейская жизнь изнутри.

Как я уже говорил, невозможность поделиться воспоминаниями была общей бедой среди вернувшихся с войны, вот и я не мог найти хоть одну понимающую душу. Единственным, к тому же частичным исключением был тот, кто сам прошел через нечто подобное, но в суматохе повседневной жизни очень редко доводилось сталкиваться с кем-то из бывших военнопленных. С одним из них я сблизился, и мы могли говорить, пусть сдержанно и недомолвками. Я заметил в нем те

же характерные черты, которые развились во мне; на место способности радоваться, переживать энтузиазм пришли отчужденность и безразличная покорность. Когда я подал рапорт о переводе в Колониальную административную службу, он сделал то же самое. Мне показалось, что он отдался на волю течения — как и я сам, только в несколько ином виде, — что на краткий миг именно я стал той волной, что увлекла его следом. Он пассивно шел по моим стопам вместо того, чтобы строить свою собственную судьбу.

Колониальная служба обещала движение вперед, предлагала нечто свежее и увлекательное, альтернативу отупляющей монотонности офисной жизни, которая успела засесть у меня в печенках. Им требовались люди самостоятельные, с хорошими административными навыками, любившие и умевшие учиться новым вещам, ну и, разумеется, это позволило бы мне посмотреть мир. Я не утратил стремления к свободе.

Словно желая продемонстрировать, какой могла бы быть моя жизнь, судьба потребовала, чтобы в 1948-м я вернулся на прежнюю работу в почтово-телефонном ведомстве. Так предписывали кое-какие формальности. Это место держали для меня аж с 1939-го года, когда я ушел в армию, поэтому сначала полагалось вернуться и лишь потом можно было перевестись куда-то еще. Я отработал там две недели, и первое, что мне дали, была та самая папка насчет нового гаража, набитая моими же письмами.

Краткосрочное возвращение к прежней жизни также заклеямило меня пятном, от которого я не избавился и поныне. После демобилизации я взял отпуск, как оно, собственно, и полагалось, рассчитывая, что

выйду на работу в такой-то день. А вот на почтамте сочли, что я на сутки опоздал. С формальной точки зрения на мне повисло обвинение в прогуле. Лет со-рок спустя я попросил показать мое личное дело; там до сих пор в графе «Гражданская служба» числится мое прегрешение: стаж работы — двадцать лет; прогулы — один день.

Чиновничья система работает неторопливо, и мне предписывалось потратить где-то с годик в довольно скромной роли, прежде чем ехать за границу. Я стал сотрудником сельскохозяйственного департамента и даже решил превратиться в эксперта по болезням картофеля. Единственный предыдущий опыт возни с овощами относился к Утраму, где мы с полковником Паркером против своей воли занимались огородничеством. Теперь-то я точно знал, что алкалоид соланин, содержащийся в зелени пасленовых растений, и впрямь ядовит. Много читал о напастях, которыми страдает картофель, одну за другой сочинял служебные записки о возможных угрозах для этой культуры. Одним из приоритетов была организация проверок новых сортов на их пригодность к переработке. Каждый новый сорт картошки полагалось зарегистрировать и подвергнуть экспертизе. Значительная доля британцев в ту эпоху посещала заведения, где готовили традиционную жареную рыбу с ломтиками картошки, обжаренными во фритюре, так что качество этого гарнира входило в круг правительственных забот. Одно из таких заведений в Эдинбурге самоотверженно с нами сотрудничало, и мы, вельможные представители сельхоздепартамента, торжественно усаживались вокруг стола и пробовали разные сорта, ломтик за ломтиком.

С течением времени Министерство по делам колоний утвердило меня на должность секретаря-референта, и Лондон сообщил, что меня ждет Золотой Берег, британская колония в Западной Африке, ныне Гана. Я уже тогда понимал, что буду заниматься администрированием Империи, которая постепенно разваливается под действием одного из самых масштабных процессов деколонизации в истории. Нам вменялось в обязанность как можно дольше удерживаться на Золотом Берегу и, в частности, не давать радикальному националисту Кваме Нкрума прийти к власти, а также запустить в ход кое-какие механизмы для эффективной и организованной передачи бразд правления в руки африканцев.

Между тем до меня стало доходить, что наш брак был ошибкой. После рождения старшей дочери в декабре 1946-го теща вообще перестала навещать хоть нас, хоть внучку; полный разрыв, затянувшийся на шесть лет. То семейство обладало выраженной склонностью к вражде и междоусобицам; среди родственников жены имелись такие, кто с ней почти не общался. Жена часто говорила, что ее родичи — жители приграничной Шотландии, кстати, — не прощают неуважения. Думаю, эта сторона ее характера вполне могла расцвести в атмосфере Общины, где уж во всяком случае на такие вещи косо не смотрели.

Мелочность и надуманность поводов для этих вендетт ошеломляла. Кое-кто из родичей жены отказывались с ней разговаривать оттого, что, когда мы — в соответствии с традицией — в конце 45-го рассылали им кусочки нашего свадебного торта, посылки пришлось отправить в два-три приема, и это означало, что кто-то

получил свой подарок раньше других. «Припозднившиеся» пришли от этого в ярость, решив, что ранние получатели крохотных сладостей были для нас важнее прочих. Вот вам пример людей, которые даже не подозревают, что сами себе ставят подножки.

Мне было очень трудно смириться с подобной нетерпимостью к ничтожнейшим вещам. Да я с меньшей мстительностью относился к японским охранникам в Чанги, чем эти — с виду вроде бы обычные — шотландцы средней руки к собственным близким родственникам! Подобные браки все равно что тюремная камера без ключа, и эту истину я уже начинал постигать.

Понятное дело, нужны двое, чтобы воцарился, как сказал Мильтон, «безысходный домашний плен», и здесь ничуть не помогала моя теперешняя склонность окутываться холодным и непроницаемым гневом при всякой конфронтации, замыкаться в раковине. Сам факт противостояния угрожал всему моему существованию, вызывал вспышки воспоминаний, которые я не мог кому-либо связно выразить, даже — и это самое трагическое — собственной жене.

Я испытывал клаустрофобию, и Община лишь подчеркивала это чувство своими свирепыми раздорами, внезапными проявлениями нарочитого презрения и высокомерия при борьбе за сидячие места. Как-то раз одна дама, ветеран Общины с тридцатилетним стажем, во всеуслышанье принялась поносить нас с женой, когда мы случайно заняли ее «персональную скамейку». Я не мог не заметить, что большинство местных активистов мало чего сделали во время войны; их возмущенные жалобы на дежурства в составе пожарных патрулей не вызывали у меня стопроцент-

ного сочувствия. Сильно досаждало их невежество и откровенное лицемерие. Им и в голову не могло прийти куда-либо отправиться, узнать хоть что-то новое. Одна из местных пар держала своих дочерей на столь коротком поводке, что несчастные девушки были напрочь лишены возможности познакомиться с молодыми людьми. Так и состарились в вынужденном одиночестве.

Золотой Берег, куда меня направили в декабре 1949-го, был в какой-то степени побегом от все более и более несчастливого существования. Эта командировка заложила фундамент для моего последующего разрыва с той средой, с миром Общины и иже с ними. Смерть отца, случившаяся вскоре после моего переезда в Африку, оборвала прочие связи с довоенным прошлым; его вторая жена так и осталась жить в домике, выходящем на Ферт. Ноги моей там больше не было.

* * *

Прибытие нашей семьи — я, жена и ребенок — на Золотой Берег совпало с началом наиболее драматического этапа местной борьбы за независимость. Нкрума только что запустил в ход программу «позитивного действия» за немедленный переход к самоуправлению. Страна бурлила от массовых выступлений, демонстраций и вспышек насилия. В январе сэр Чарлз Арден-Кларк, губернатор колонии, объявил чрезвычайное положение и арестовал Нкруму. Следующие четырнадцать месяцев африканец провел в тюрьме. Однако те политические лидеры, которым благоволила Британия, не пришлось по сердцу населению страны, и Нкруму выпустили. В итоге именно он стал неоспоримым вождем

своего народа и нашим партнером в процессе «обратного отсчета» до полной передачи власти.

Меня определили в департамент сельского развития. Перед нами стояли две основные задачи: инициировать работы по строительству ГЭС на реке Вольта, а также грузового порта в Тема. Первый проект предусматривал возведение громадной плотины на тысячемильной Вольте, которая берет свое начало в Верхней Вольте (нынче эта страна называется Буркина-Фасо) и впадает в Гвинейский залив к востоку от Аккры. В результате появилось бы крупнейшее в Африке искусственное водохранилище, позволяющее вырабатывать колоссальное количество электроэнергии. Эта энергия, в свою очередь, будет способствовать развитию страны, особенно ее алюминиевой промышленности. В Западной Африке богатые залежи бокситов, а для выплавки алюминия требуется очень много электричества. Проект был воистину титанических масштабов. Я подготовил самую первую контурную карту с указанием границ водохранилища, когда плотина будет полностью завершена. Эта карта представляла собой склейку из десятков листов в масштабе дюйм на милю, которая в разложенном виде устилала пол помещения приличной площади. Многие мои коллеги даже отказывались верить последствиям нашей же работы; на их лицах читался едва ли не ужас при взгляде на размеры моей карты и спрогнозированную площадь затопления.

Портовый проект в Тема был тесно увязан как с этой плотиной, так и с амбициозными планами по созданию алюминиевой отрасли. Неподалеку от Аккры, здешней столицы, имелось отличное местечко для порта мирового класса, и мы предложили построить его с нуля.

Помню, как на моих глазах инженер-консультант вбил деревянный колышек в пляжный песок и объявил, что отсюда протянется западный волнолом.

Сейчас я и сам был частью промышленной революции, которая столь долго меня зачаровывала. Я играл пусть крохотную, но все же роль в грандиозной послевоенной волне индустриализации. Эта работа приносила удовлетворение, хотя здесь и попахивало иллюзией, будто химикаты и металлы способны решить чуть ли не любую проблему. Внедрение тяжелой промышленности в тех местах, которые мы именуем нынче странами третьего мира, оказалось делом очень сложным; и я уж не говорю о трудностях только-только освободившейся Африки. Наша работа, впрочем, была отлично спланирована и организована, что само по себе приносило радость. Я координировал аспекты этих проектов применительно к задачам колониального администрирования, встречался с американскими консультантами, имевшими опыт освоения ресурсов бассейна реки Теннесси и участия в других крупномасштабных проектах, что вновь пробудило во мне былую страсть к чтению историй о великих инженерах-железнодорожниках и мостостроителях.

Одним из неизбежных элементов сего грандиозного плана была прокладка железнодорожных путей. Наиболее амбициозным из них был проект строительства магистрали на север, от Кумаси, столицы бывшего королевства Ашанти, до Уагадугу, столицы подконтрольной французам Верхней Вольты. Шестьсот миль путей, соединяющих засушливые саванны и полупустыни верховьев Вольты с районами тропического побережья!.. Увы, задумка так и не сошла с кульманов. Англо-фран-

цузское соперничество в борьбе за имперские интересы в Африке, а также отчаянная нехватка ресурсов погубила проект. Впрочем, появлялись другие железные дороги, например Аккра — порт Tema, а также ветка Аккра — Такоради, которая соединяла столицу с главным портом на западе страны. По этим путям до сих пор перевозили стройматериалы; небольшие, но сильные локомотивы подтаскивали древесину и камень для набережных и волноломов.

Мне нравилось наблюдать за тем, как эта маленькая железнодорожная сеть обретает форму под моим опосредованном руководством. К моменту отъезда из страны кое-какие из линий уже эксплуатировались при скромной колее в три фута и шесть дюймов, что лишь на семь сантиметров шире однометровой колеи, с которой я так близко познакомился в Малайе и Сиаме. Я писал письма управляющим таких же дорог — с колеей в 3 фута 6 дюймов — по всему миру, умоляя продать лишние, столь недостающие нам локомотивы. Одной из крупнейших железнодорожных сетей, работавшей на такой колее, была японская, но я не мог заставить себя к ним обратиться. У меня не было ни одного контакта с японцами после окончания войны. Не получалось сделать вид, что я способен поддерживать с Японией обычные торговые или деловые отношения.

Тем временем на нас с женой обрушилась потеря новорожденного сына. Эрик не прожил и двух дней после появления на свет в Такоради. Это был чудовищный удар для жены, приведший к дальнейшему углублению молчаливо признаваемого разрыва.

На своем посту я пробыл шесть лет. Последний год командировки я провел в Секонди, на западе Золотого

Берега, в должности заместителя Агента Короны, а по сути дела наместником в самом традиционном, старомодном смысле. У меня был мой собственный округ, самый важный в стране, потому что в него входил Такоради, крупнейший глубоководный порт. Я был как бы маленький губернатор — плюс мировой судья, заместитель коронера, председатель «совета посетителей», который контролировал работу местной тюрьмы (внешне напоминавшей Утрам в миниатюре), но при всем при этом у меня не было вице-королевских полномочий старорежимного окружного комиссара, который обладал абсолютной властью. Я был одним из самых последних колониальных служащих Британии, и мы понимали, что нас вот-вот попросят на выход. Шла деколонизация, и я по мере сил попросту импровизировал в рамках тех или иных моих ролей. Скажем, в качестве судьи я должен был считать ненадежными показания как истца, так и ответчика, а решения принимать исходя из здравого смысла. Так, при разборе тяжб об опеке над несовершеннолетними я позволял детям самим решать, с кем они хотят остаться.

Героем дня был Кваме Нкрума, наиболее известный африканский националист после египетского Гамалья Абделя Нассера. Я встретился с ним во время его приезда в Секонди. Мой начальник, отвечавший за всю западную половину страны, дал обед в честь гостя, и я был в числе приглашенных. Нкрума оказался человеком любезным, с хорошо подвешенным языком, но, на мой взгляд, руководителем не того калибра. Мне казалось, что он — подобно множеству демагогов в британском парламенте — обладает недостаточной подготовкой, чтобы принять на себя столь колоссальную ответственность.

Как-то раз, когда он захотел искупаться, я одолжил ему свои плавки. Пожалуй, это был апогей моего знакомства с престолом власти!

* * *

Домой мы вернулись в 1955-м, когда работы в порту и на плотине шли уже полным ходом, а независимой Гане было всего-то два года от роду. Я рано подал в отставку — в возрасте тридцати шести — и стал раскидывать сеть в надежде заняться чем-то еще. Коль скоро эта повесть не является изложением моей карьеры, я лишь упомяну, что год отучился в Глазго на курсах кадровиков, поскольку испытывал интерес к такой работе — нынче ее назвали бы «менеджментом трудовых ресурсов», — а все благодаря личному опыту по управлению потоками людей и материалов в Западной Африке. Окончив курсы, я устроился в «Шотландский газ», предприятие коммунального газоснабжения, в отдел производственных отношений. К концу шестидесятых я уже преподавал кадровый менеджмент в Стратклайдском университете и читал лекции по всей стране.

И все эти годы требовалось делать вид, будто прошлого не было и в помине. Страдая от жутких кошмаров, я, тем не менее, отказывался воспринимать их как серьезную угрозу. Мне хотелось верить, что все давно похоронено, но Утрам не отпускал и ночь за ночью возвращался. Жена, как могла, меня успокаивала, но разрыв между нами был уже слишком велик. Я кричал по ночам, просыпался весь в поту, будто меня гнали вверх по склону с тяжелым грузом на плечах, — и потом трясся от облегчения, обнаружив, что меня окружает влажная жара Секонди или прохлада эдинбургской ночи.

С болезненным любопытством я узнавал похожие симптомы и в других, особенно в одном из коллег на Золотом Берегу: он побывал в плену у немцев и превратился в нервного, мнительного, обидчивого человека, да еще с сильно пошатнувшимся здоровьем. Но никто никогда не говорил о таких вещах, и я тоже помалкивал. Тема «моей войны» могла прозвучать лишь при обсуждении японцев. И тогда я неизменно заявлял, что ненавижу их в абсолютной, полнейшей степени.

Не так-то легко описать утонченно-коварные формы, в которых жил во мне Канбури с его последствиями. Я обнаружил, что с трудом выношу любые серые зоны, неоднозначность или неопределенность в любых проявлениях, не питаю снисхождения к чужим ошибкам — или, если отбросить смягчающие формулировки, попросту не прощаю людям их глупость. Меня нервировали мелочи, а вернее было бы сказать, что я вовсе не снисходил до возни с ними, изобретал способы откладывать в долгий ящик все те пустяки, которыми нам постоянно досаждают жизнь. К примеру, моя профессиональная деятельность была чрезвычайно хорошо организована, и я был к ней по-настоящему внимателен, если не сказать предан — мог формулировать мысли и выступать с военной точностью даже без конспектов, — зато всяческие там счета, циркулярные письма, а в особенности запросы на личные сведения казались попросту невыносимыми. Я рассматривал их как непредвиденные обстоятельства, отвлекающие факторы, вторжение неопределенности в жизнь, которая алкала упорядоченности.

Я был жертвой странной пассивности, которая заставляла поглощать жизненный опыт не хуже промокающей бумаги, зато мешала им делиться; из-за нее я ка-

зался заторможенным, хотя лентяем меня не назовешь. Порой я чувствовал себя гостем в собственном доме. Во время ссор я оказывал сопротивление с поистине безграничным упрямством, словно по поводу и без повода мстил и кэмпэйтаю, и всем тем охранникам. Подсознательно и не признаваясь в этом самому себе, я продолжал сражаться, когда кругом уже давно царил мир.

И вот начало закрадываться подозрение, что семена грехов, посеянные во мне моими тюремщиками, проросли в моей же семье. Среди бывших военнопленных с Дальнего Востока бытует мнение, что наши дети ущербны чуть ли не на генетическом уровне. Когда мы, глубокие старики, собираемся вместе, то звучат жалобы: мол, детям по наследству перешли кое-какие странные проблемы. Любопытно отметить, что, по мнению некоторых американских ученых, печально известный «срединный коридор»¹ работоторговли вполне мог вызвать настолько невыносимый генетический стресс, что он сказался на прямых потомках рабов. Уж не знаю, сколько здесь от науки, но мы между собой упрямо ворчим об этих вещах, оказавшись между молотом слухов и наковальней сомнений. Ну да бог с ней, с генетикой. А вот пусть кто-нибудь объяснит: какое влияние наши подавляемые фобии могли оказать на психическое благополучие наших детей?

Моя старшая дочь Линда перенесла кровоизлияние в мозг, когда ей было двенадцать. Поначалу врач грешил на простой обморок, но она еще долго не приходила в сознание. У нее отнялась правая рука; хорошо еще, дочь была левшой. Девочке прочили будущее

¹ Трансатлантический маршрут перевозки рабов из Западной Африки на острова Карибского бассейна.

пианистки, уже в десятилетнем возрасте в ней проявился подлинный талант — и вот отныне вплоть до конца жизни ей не придется хоть что-то делать двумя руками.

Затем у Линды была целая серия приступов, несколько раз она оказывалась на пороге смерти, и до самого последнего дня приходилось помнить, что в любую секунду в голове может взорваться маленькая бомба. Дочь сумела пробиться в жизни, стала сотрудником крупной страховой компании, где расследовала подозрительные случаи и мошенничества со страховкой. Ее жизнерадостность, оттеняемая недугом, заставляла друзей забывать о трагедии, но ничто не могло помочь Линде справиться с врожденной анемией. Она умерла в возрасте сорока шести лет.

Младшая дочь родилась в 1957-м. У нее было нормальное, здоровое детство, и она стала успешным врачом-акушером.

Мои частые отлучки из-за разъездных лекций, несомненно, способствовали распаду брака, но он же, этот брак, и являлся их первопричиной. Я хотел быть от жены подальше. В 1970-м оставил семью на полгода, потом вроде как вернулся, однако все было уже не то и не так. В 1981-м я ушел навсегда.

Глава 11

Несмотря на мучительные воспоминания, работа и повседневная жизнь создавали иллюзию постепенного отхода от бывшего. Подобно многим, кто прошел через японский плен, я обнаружил, что могу позволить своей

профессиональной жизни вытеснить желание расквитаться по этим старым счетам.

Хотя я возвращался к пережитому куда чаще, чем хотел бы, и пошел по стопам многих из своих боевых товарищей, начав собирать библиотечку о малайской эпопее, ТБЖД и тамошних лагерях, я по-прежнему испытывал определенный дискомфорт при мысли переворошить прошлое напрямую. В семидесятых мой друг Алекс Мортон Макей, в ту пору живший в Канаде, нашел мой адрес через комитет бывших военнопленных и прислал сердечное письмо, где упоминал о том, что я — со своими перебинтованными руками и очками на лейкопластыре — был ему примером выдержки. Но даже если я и узнавал себя в этом портрете, то понимал, что далеко не все досказано. Несть героя в собственных глазах. Ответное письмо далось мне с превеликим трудом, однако в конечном итоге мы стали переписываться и наконец встретились в Лондоне на дне памяти погибших в дальневосточной кампании. К нам присоединился и Фред Смит. Это была единственная наша встреча, хотя бог свидетель, как много эти два человека для меня значили.

Прошлое не желало сдаваться без боя. Потребность узнать больше о том, что же творилось с нами в Сиаме, мощно напоминала о себе всякий раз, когда выпадала минутка поразмыслить. После выхода на пенсию в 1982-м я уже не мог затягивать дальше: стремление разобраться разгорелось как никогда сильно. Я хотел понять, что же в действительности произошло; почему японцы устроили обыск в конкретно тот день, и не сдал ли нас кто-то врагу. Хотелось восстановить точную последовательность событий. А еще я хотел выяснить

что-нибудь о тех японцах, на ком лежала ответственность за избиения и убийства — и прежде всего о кэмпэйтайцах, которые мучили меня в Канбури. Я ничего не знал о них: ни номер части, ни собственно их имена, ни послевоенную судьбу... Очень далекой казалась перспектива отыскать этих людей, даже само начало поиска выглядело не очень-то реально, но по мере того как пережитое тонуло в прошлом, росла моя одержимость. Все равно что реконструировать картину преступления по груде улик из рваной ветоши, выцветших документов, костей и ржавых рельсов. А также из воспоминаний, которые еще менее долговечны.

А может, я пытался раскопать то, из чего был сделан сам в ту пору, когда меня еще не отправили на войну, не принудили ломать спину на безумной железной дороге. И да, я хотел, чтобы они поплатились за все проделанное — поплатились сильнее, нежели прежде. Чем чаще я об этом размышлял, тем больше тянуло отыграться на кэмпэйтайцах... если, конечно, удастся их разыскать. Физическая месть казалась единственной приемлемой компенсацией за тот гнев, что я носил в себе. Очень часто на ум приходил тот молодой переводчик в Канбури. Скажем, во всем Утраме не нашлось конкретной личности, на которой я смог бы сосредоточить свою ненависть, но вот тот переводчик... Ведь он владел моим языком, был связующим звеном, центром тех подмостков, на которых разыгрывались мои воспоминания. О, его невнятный, ломаный английский, его нескончаемые вопросы, его тупая назойливость как у заезженной пластинки, его голос, который он одолжил унтеру-костолому... Он один отвечал за них всех, он один воплощал собою наизящнейшие кошмары.

К тому моменту, когда желание докопаться до правды окрепло окончательно, я успел познакомиться с Патти. Я еще разъезжал по Британии с лекциями о производственных отношениях и в один прекрасный день в 1980-м очутился на вокзале города Кру, мощного железнодорожного узла с богатой историей в самом сердце Англии — причем вышло это совершенно непредвиденно. Дело в том, что я заехал в соседний Честер ради букинистического аукциона — огонь давних пристрастий не угас, — откуда планировал поездом вернуться в Манчестер, а затем и в Эдинбург. Ан нет, выяснилось, что поезд отменили. До сих пор благодарен судьбе за ту поломку или затор на линии, неважно. В общем, из Честера я отправился в Кру, где, как мне было известно, можно пересесть на поезд, идущий вдоль западного побережья в сторону Шотландии. Не зря же я всю жизнь интересовался железными дорогами, в самом деле...

В Кру я попал вовремя: поезд на Глазго как раз подходил к платформе; я немножко пробежался и вскочил на подножку. Билет у меня был в первый класс, так что я добрался до старомодного вагона с коридором и многочисленными купе. В третьем по счету одиноко сидела симпатичная дама, я и решил составить ей компанию. В голове вдруг мелькнуло, что вид у меня довольно неряшливый: одежда пусть добротная, но заношенная, а уж про зубы после лагерей и говорить нечего. Единственный плюс, что я выгляжу моложе своих шестидесяти с хвостиком. Стало даже неловко в присутствии этой стройной, привлекательной брюнетки, которая на вид была на добрых пятнадцать лет младше: эффектная и уверенная в себе женщина из

другого мира. В ее лице, однако, я прочитал столько доверчивой доброты, что позабыл и про свой возраст, и про немодные облачения.

Она просматривала небольшую книжицу, «Туристический атлас Великобритании», опустив ее на колени. Мы разговорились. Выяснилось, что она англичанка, даже работала здесь медсестрой, но затем на долгие годы переехала в Канаду, так что теперь это путешествие было своего рода повторным открытием родины. Я с восторженным интересом узнал, что в Монреале она держит собственный антикварный магазинчик. Сейчас ехала в Глазго навестить подругу. Вскоре я поймал себя на том, что разглагольствую об истории городков, проносящихся за окном. Впрочем, опасения, что я ей докучаю своей болтовней, скоро рассеялись, потому что между нами с самого начала возникло взаимопонимание.

В купе вошли двое. Я и пальцем не шевельнул, чтобы убрать свой плащ с соседнего сидения. Способность бывшего лагерника ставить палки в колеса порой приходится очень кстати. Мне ничуть не улыбалось иметь рядом чужие уши, когда — это я понял отчетливо — у нас тут идет очень важная беседа. Три часа спустя поезд остановился в Кастерсе, и я отважился спросить, согласится ли она пообедать со мной завтра в Глазго. Она ответила «да».

Быстро стало ясно, что мы оба так и не пустили корней и что жизнь у нас не особо счастливая; ее брак оказался ничуть не менее скомканным, чем у меня. Мы часто и подолгу виделись, отлично провели время в Сомерсете, где она остановилась на время своего отпуска. Ну а затем она вернулась назад, в Канаду.

Потом было много писем и трансатлантических звонков... В возрасте, когда шансы на эмоциональный всплеск кажутся нулевыми, когда в голове уже зреет предстоящий план мщения... я влюбился. И она переехала ко мне в Эдинбург. Я стал частью новой большой семьи, потому что сыновья Патти — Николас, Марк и Грейм с его женой Джинн — приняли меня в свой круг. Они дали мне надежду на будущее. Способность быстро ориентироваться в железнодорожном расписании ведет порой к странным последствиям, хотя лично меня нисколько не удивило, что именно на железной дороге мне довелось встретить женщину, которая сыграла столь значительную роль в перемене моей судьбы.

Я не стал выкладывать Патти все подряд о Малайе и Сиаме, рассказ получался медленным. Она уже сама видела, что рядом живет человек с необычными проблемами, а я тем временем продолжал поиски. В январе 1985-го я опубликовал заметку в лондонском новостном бюллетене для бывших военнопленных на Дальнем Востоке, «Форум FEPOW», где призывал — «пока не поздно» — собрать информацию о событиях 1943 года в Канбури. Я просил откликнуться очевидцев, искал сведения о «седом переводчике с американским акцентом» и военвраче-голландце. Что же касается нашей группы из семи офицеров, я навел справки и обнаружил, что никого уже нет: Мак скончался за несколько лет до того, а вот «папаша» Смит, самый неловкий и слабый из всех, дожил до девяноста и умер в 1984-м. Насчет Фреда я и так знал, что ему оставалось недолго: «Последнее время сильно беспокоят легкие, кашель все хуже и хуже», — писал он мне. В том же письме он сделал признание, о котором до сих пор молчал: «По но-

чам — именно по ночам — нервы, казалось, вот-вот лопнут». Сердце Фреда, эта неразрушимая глыба и опора, вскоре сдалось.

Вслед за публикацией заметки я получил пару десятков писем, в большинстве своем теплых и сочувственных. Одно из них пришло от бывшего сержанта Королевского Норфолкского полка Т. С. Брауна:

Ваша статья в «Форуме» вызвала к жизни страшные воспоминания о той ночи... Я помню, как вас выстроили напротив караулки, как в сторону нашего барака вдруг побежали кэмпэйцы и подняли бамбуковый мост через канаву, мы-то думали, что сейчас будут избивать нас, но жертвами оказались вы... Что за ночь, жуткие крики о помощи, а мы только и могли, что лежать да за вас молиться, и было так темно, что не разобрать, чего там вытворяют... На другой день двоих из вас уже не было на плацу перед караулкой, и если я не ошибаюсь, то это был высокий такой, худощавый офицер и еще один, маленький... Когда желтопузые сдались, капрал Джонсон сказал мне, он-де знает, что двух пропавших офицеров закопали за караулкой, его вроде на хознаряд тогда определили в японском секторе, вот он и нашел там офицерское кепи все в крови... Пока жив, не забуду, во что вас превратили, я как раз отвечал в лагере за сортиры и видел, как вас конвоировали...

Похожих писем было много, они все трогали за душу, однако искомой информации не давали.

Затем пришло письмо из Оксфорда, от бывшего армейского капеллана Генри Сесилия Бабба, которому было уже под восемьдесят. Он служил в Малайе с де-

кабря 1940-го и, подобно остальным из нас, угодили в плен в результате этой катастрофической кампании. В августе 1945-го, под самый конец войны, его этапировали в основной Канбурский лагерь, где он от младших офицеров узнал, что за пару лет до того здесь убили двух безымянных пленных, вовлеченных в работу подпольной радиостанции в соседнем лагере при железнодорожных мастерских. Тела убитых сбросили в выгребную яму возле караульного помещения. Офицеры хотели знать, не мог бы он, несмотря на изрядную запоздалость, совершить по ним панихиду. Бабб согласился и прочел несколько погребальных молитв, причем впервые в своей практике он не знал имена погибших. «Ибо странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои».

Я был счастлив, что злосчастные Холи и Армитаж, дамский угодник и тихоня, остались в памяти людей даже в том мерзостном месте, где, казалось, о них все позабыли.

Я написал Баббу, сообщив имена тех, за кого он молился, и в своем ответе он рассказал, что после войны вернулся в Англию далеко не сразу. Сперва он добровольно принял участие в работе Комиссии по военным захоронениям. Требовалось пройти по всей трассе ТБЖД, а это 258 миль, в поисках наспех вырытых могил и останков пропавших без вести. Поисковый отряд был организован союзнической администрацией в Бангкоке, и в него вошли шестнадцать британских и австралийских военных, которым придали молодого переводчика-японца. Поисковики покинули Бангкок 22 сентября и добрались аж до бирманского Тханбюзаята. Весь путь они проделали на железнодорожных плат-

формах с устроенными навесами из аттапа, а вернулись 10 октября. В ходе обследования было обнаружено 144 массовых захоронения — как правило, в джунглях рядом с путями — и свыше 10 тысяч трупов. Бабб написал также еще об одной панихиде, по членам экипажа американского бомбардировщика «Б29», который был сбит перед самым концом войны в горах близ бирманской границы.

Бабб успел утратить связь с остальными членами поискового отряда, зато переводчик не так давно сам его разыскал и, может статься, сумеет помочь в моих поисках. Падре спрашивал, не возражаю ли я, если он станет задавать вопросы от моего имени. Говоря конкретно, меня интересовала любая информация о тех людях, которые столь старательно меня избивали, и о седом переводчике-«американце», который чуть ли не руководил экзекуцией. Действуя таким образом, я пытался первым делом разобраться с убийствами и сформулировал Баббу лишь те вопросы, которые были связаны с той ночью в главном Канбурском лагере. Я практически не надеялся получить какие-либо новости с той стороны и был рад, что Бабб вызвался побыть в роли посредника. Вряд ли у меня хватило бы сил на прямую переписку с бывшим японским солдатом.

Его звали Нагасэ Такаси, и он жил в городе Кура-сики. Он написал Баббу, что помочь с ответами на мои вопросы не может, но вроде бы тот человек умер вскоре после войны.

Бабб высказал предположение, что есть смысл покопаться в лондонском госархиве, в частности, в том его корпусе на Кью, куда перевезли часть судебных

материалов по военным преступлениям. И вот весной 1985-го я устроился за столиком в тихом уголке читального зала, чтобы просмотреть выцветшие страницы папки № WO235/822, официального протокола трибунала над теми, кто нес ответственность за гибель капитана Холи и лейтенанта Армитаж, за нечеловеческое обращение с моими товарищами и со мной.

Это был поразительный день. Я словно отключился от реальности, впал в своеобразный транс; перед глазами стояли события в Канбури. Вот караулка, вот японские и корейские охранники, вот деревянный стол, вонючие канавы, проплешины сырой земли, пыль, жарыща и где-то далеко на горизонте подернутые дымкой горы, преграждавшие путь на спасительный запад. Я видел шеренгу британских офицеров, измученных многочасовым стоянием навтыжку под палящим солнцем без глотка воды, а затем из тьмы повалил сброд, чтобы наброситься на несчастных людей...

Я пришел в себя через несколько часов, за которые прочитал и перечитал свидетельства, в том числе и те, что напечатал собственными руками. Тело онемело от усталости, но, пожалуй, самым удивительным было ощущение, будто прочитанное относится вовсе не ко мне. Я словно искал правду от имени малознамого человека.

В конце 1985-го Бабб переехал из Оксфорда в Кембридж, и я его навестил. Он был уже очень стар и слаб, однако мыслил ясно, формулировал суждения четко. Меня не удивило, что он тоже, подобно многим из нас, испытывал двойственные чувства к той части своего прошлого. В шестидесятых он

уничтожил свои дневники и документы, относящиеся к плену, о чем потом жалел и даже пытался восстановить их по материалам из Имперского военного музея. После войны его вера ослабла; он обменял религию на бескомпромиссность математики, которую преподавал многие годы, и к былой роли священника вернулся лишь однажды, посетив современный Таиланд с группой бывших военнопленных.

Он сообщил мне кое-какие дополнительные сведения о своем партнере по переписке. Итак, по словам самого Нагасэ Такаси, наш японец в послевоенные годы активно занимался филантропией как раз в районе Канбури и даже построил буддийский храм поблизости от ТБЖД. Я читал о его деятельности с холодным скепсисом и никак не мог отделаться от неприятного ощущения. Не получалось у меня поверить в японское раскаяние. Выяснилось также, что он организовал некую «примирительную встречу» — да не где-нибудь, а на мосту через реку Квай, том самом сооружении из фильма Дэвида Лина, из-за которого у такой массы людей родилось совершенно неверное представление о жизни в японском концлагере (и где они только нашли столь раскормленных военнопленных...). Лично я не видел ни одного японца с 1945 года — и не собирался. Вся эта задумка насчет «примирения» выглядела в моих глазах дешевым и оскорбительным рекламным ходом.

Падре Бабб скончался в 1987-м. Может, я и взялся бы за прямую переписку с раскаявшимся японским солдатом, но проще было положить руку на плаху.

* * *

Человеку, которого я любил больше всего, становилось все сложнее меня выносить. Бывший пленный даже по истечении нескольких десятилетий «забывания» вполне способен озадачивать и пугать окружающих. Никто не поможет тебе примириться с прошлым, если оно представляет собой груду болезненных воспоминаний, а на месте будущего высится лишь питомник мести. Порой мои добрые качества, которых у меня все же не отнять, вытеснялись неожиданными вспышками подавляемой злости. Малейшая вызывающая нотка в чьем-то голосе — и мои ставни тут же захлопывались. Попробуй найди тут способ залечить раны...

Патти приходилось страдать от моих внезапных приступов ледяной ярости, от моей замкнутости, неспособности принять даже шутовское поддразнивание. Обиженный отклик всегда получался спонтанным; это был способ укрыться внутри самого себя, надеть бесстрастную маску жертвы, я отчуждался в целях самозащиты — а Патти не могла понять, что творится. Помнится, как-то раз я чуть ли не целую неделю с ней не разговаривал, выдумав некую обиду. А однажды — перед этим мы несколько восхитительных дней кряду жили просто душа в душу, — вздремнув после обеда, я проснулся в таком шутовском настроении, что решил забавы ради спуститься нагишом в кухню, где жена готовила ужин. Когда я возник в дверях как привидение, она обернулась и столь же проказливо швырнула в меня мокрой губкой, дабы я прикрыл свой непристойный вид. Этот безобидный жест тут же заставил меня испуганно

ошетиниться, испортив драгоценную минуту игровой близости.

В моем мире все по-прежнему было черно-белым. Я настолько привык закапывать правду, мою подлинную боль, что предпочитал надеяться, что она сама по себе рассосется: мне по наивности казалось, что раз те пытки остались в прошлом, то и с Утрамом получится проделать то же самое. Моя неоправданная податливость вступила в альянс с безмерным упрямством.

Патти подозревала, что перенесенное за войну все-ррез повредило моему душевному здоровью, что именно в этом таится первопричина наших трудностей — и решила, что пора действовать: ведь мы оба не желали мириться с мыслью, что нашим отношениям может настать конец.

Я понятия не имел, с чего начинать. В голову ни разу не закралась мысль обратиться к психиатру или психотерапевту. Типичный бывший пленный с Дальнего Востока вряд ли хоть кому-то будет излагать подробности пережитого — разве что собратьям по несчастью. Некоторым удалось написать мемуары, но это большая редкость. Умалчивание превращается во вторую натуру, в щит, которым прикрываются от тех лет, и это вдвойне справедливо в случае жертвы пыток. Такой человек практически наверняка молчит. Сейчас-то я это пишу, но ведь сколь долгий путь пришлось проделать с момента, когда я впервые решил взглянуть воспоминаниям в глаза.

В итоге мы оба, как выяснилось, пошли параллельными курсами. Патти прочитала статью доктора Питера Уотсона, старшего медэксперта при Мини-

стерстве здравоохранения, в которой он обсуждает вопрос долговременных последствий плена на Дальнем Востоке. Уотсон обследовал тысячи таких, как мы, перечислил обнаруженные медицинские осложнения и пришел к заключению, что свыше половины пострадавших имеют явно выраженные психологические проблемы.

Патти написала доктору Уотсону, и вскоре я отправился в кембриджширский Или, где в госпитале ВВС должен был пройти обследование на предмет тропических болезней, с особой пометкой: «Провести психологическое освидетельствование». Предполагалось, что я буду много говорить о Сиаме и Малайе — куда больше и подробнее, нежели прежде. Да, я понимал, что рассказать надо, иначе никакой терапии не выйдет, но вот заставить себя открыть рот... Дилемму удалось решить пятидесятистраничной машинописной «докладной запиской», в которой я изложил всю историю моих злключениях. Пухлую пачку листов я и вручил ошеломленному майору ВВС Блору, старшему психиатру илийского госпиталя. Я был не в силах повторить вслух хоть слово из напечатанного, но «докладная записка» заложила фундамент для обсуждений. Впервые в жизни я почувствовал, что барьер чуточку сдвинулся в сторону.

Проведя в Или четыре дня, я вернулся домой. Тем временем доктор Блор связался по телефону с Патти и сообщил ей, что у нее на руках типичный случай военного невроза, своего рода затянувшегося психического напряжения от пребывания на войне. Наверное, он мог бы дать и более клиническое название моему состоянию, однако это уже неважно; выявление про-

блемы и ее идентификация сами по себе являются шагом вперед.

Между тем мне на глаза попалась заметка об учреждении новой организации, именуемой «Медицинский фонд помощи жертвам пыток», чья штаб-квартира расположилась в одной из перепрофилированных лондонских больниц. Я ничего о них не знал, но все же написал директору, миссис Хелен Бамбер, и в августе 1987-го получил приглашение приехать. Миссис Бамбер лично приняла меня, и я до сих пор помню, как сидел у торца ее стола, спиной к стене, и через долгие паузы, старательно подбирая формулировки, намекал на вещи, которые не мог произнести вслух. Мне по-прежнему мнилось, что со мной творится нечто уникальное, пожалуй, я даже стыдился своих проблем, но когда она сказала, что все изложенное мною ей более чем знакомо из свидетельств бесчисленных жертв пыток в самых разных странах, меня окатила волна безмерного облегчения.

Миссис Бамбер была воплощением участливой неторопливости, и как раз это-то произвело на меня самое глубокое впечатление. Словно у нее имелось бесконечно много времени, неограниченные запасы терпения и сострадания. Я был потрясен, впервые увидев, что мои слова вовсе не должны обязательно утонуть в текучке повседневности. В памяти всплыл тот получасовой медосмотр в 1945-м, когда на моей душе живого места не было — а военврач не проявил ко мне ни капли интереса. Полстолетие спустя я еще сочился подавленной тревогой и вот наконец-то встретил человека, у которого нашлось на меня время. Да к тому же стало куда легче, когда я узнал, что

я такой не один, что это не безумие или психическое уродство...

Эта беседа словно открыла дверь в неизведанный мир, мир заботы и особого понимания.

Хелен Бамбер — женщина удивительная. За ее мнниатюрностью и неспешностью прячется такая энергия, которую трудно заподозрить в семидесятилетнем человеке, который к тому же почти всю жизнь проработал с жертвами насилия. Медицинский фонд, одним из основателей которого она является, вполне можно назвать чуть ли не единственной организацией в мире, чьи сотрудники и консультанты по-настоящему разбираются в проблемах людей, побывавших под пытками. В 1945-м, когда Хелен появилась в только что освобожденном Берген-Бельзене¹, ей было девятнадцать; там она проработала следующие два с половиной года. Было бы наивной иллюзией полагать, что освобожденные узники фашистских лагерей тут же разъезжались по домам: ведь большинству из них вообще некуда было идти. Именно такие люди, как Хелен, и занимались врачеванием их туберкулеза, выслушивали рассказы о каннибализме, массовых убийствах и процедурах готескной «селекции», после которых одни отправлялись на принудительные работы, а другие — в газовые камеры. В Бельзене она еще юной девушкой поняла, до чего важно дать людям выговориться, на-

¹ Фашистский концлагерь в Нижней Саксонии в действительности состоял из пяти отдельных лагерей. Из 70 тысяч погибших порядка 20 тысяч пришлось на советских военнопленных. Здесь же умерла от тифа пятнадцатилетняя Анна Франк, автор знаменитого дневника. Именно Бельзен был первым по счету лагерем, который освободили союзники, и на Западе фактически тождествен самому понятию «концлагерь».

сколько могучей силой обладает искусство слушать другого человека и воздавать ему должное за перенесенные муки.

Многие годы Хелен сотрудничала с «Международной амнистией» и, увидев, как стремительно растет потребность в особой службе для жертв пыток, учредила собственную, новую организацию. Люди столь мало уроков извлекли из опыта моего поколения, что сегодня пытки превратились в глобальную эпидемию: лишь за первое десятилетие своей работы крошечная группа Хелен рассмотрела восемь тысяч таких случаев.

Наша с ней первая встреча носила, так сказать, ознакомительный характер, но после моей попытки записаться на психотерапию по месту жительства — когда юная докторша-психиатр уведомила меня, что мой случай за давностью лет выходит за рамки ее служебных обязанностей, — Хелен Бамбер предложила мне стать первым в истории ее фонда пациентом — ветераном Второй мировой. Моя жизнь пошла по-новому — и это в возрасте под семьдесят.

Не переставало изумлять, что буквально каждый в этом фонде, от директора до только что нанятого желторотого сотрудника, умеет слушать, наблюдать и слушать вновь. Я сам себе не верил, что потихоньку развязывается язык.

На протяжении двух лет, с 1988-го по 1989-й, мы с Патти приезжали к ним ежемесячно, всякий раз проделывая по шестьсот миль в оба конца. Выделенный мне врач, доктор Стюарт Тернер, оказался наделен неиссякаемой тактичностью, и его терапевтические беседы сумели — постепенно, кусочек за кусочком — вытащить на поверхность все обстоятельства пережитого,

начиная с первых месяцев 1942 года. Тернер производил впечатление человека, обладающего обширным и болезненным знанием о мире пыток и их последствий. Никогда еще не доводилось мне видеть столь пронизательного, отзывчивого и понимающего врача.

Я осознал, что наконец есть шанс найти какие-то ответы: ну почему во мне уживается эта странная комбинация из упрямства, пассивности и молчаливой враждебности? почему я не способен на открытое проявление гнева? отчего не выношу авторитарности и почему порой испытываю полнейшее душевное онемение?

Как-то раз Стюарт обмолвился, что ему впервые попался пациент со столь непроницаемой физиономией, по которой невозможно прочесть мысли. Мне еще не доводилось слышать столь объективное описание моей маски; надо полагать, она появлялась всякий раз, когда мне хотелось на минутку укрыться от расспросов.

Пока я учился смотреть прошлому в лицо и впервые в жизни начинал понимать, что именно сделала со мною война, я не забывал о поисках полной правды о случившемся в 1943-м. Впрочем, несмотря на терапию, за эти два года характер усилий почти не изменился. Потребность узнать имена японцев, ответственных за конкретно эти жестокости, вполне понятна, — но во мне по-прежнему ярко жила идея мести.

* * *

Одним из тех, кого я разыскал в ходе своих припоздненных поисков информации, был Джим Бредли, тот самый, кто в 1944-м был моим соседом по лазарету в Чанги. Он опубликовал мемуары о побеге из Сонкурая

в 1943-м и о последующих событиях. Прочитав один из отзывов на его книгу, я взял ее в руки и обнаружил пассаж с теплыми словами в адрес «покойного Эрика Ломакса». Признаться, было очень приятно написать Джиму, удивить его моей живучестью. Мы встретились и возобновили нашу дружбу. В октябре 1989-го я приехал в Мидхерст, деревушку в графстве Сассекс у подножия холмов Саут-Даунс, где и переночевал в доме Джима и его супруги Линды. Провели очень приятный вечер воспоминаний, а утром, за завтраком, Линда показала мне фотокопию заметки из «Джапан Таймс» от 15 августа 1989 года. Прямо скажем, сам я вряд ли стал бы интересоваться этой выходящей в Токио англоязычной газетой. Так вот, копию статьи из Японии прислал один из членов Комиссии по воинским захоронениям, знавший про обширную коллекцию вырезок, которую Линда собирала о войне на Дальнем Востоке. По ее мнению, эта статья могла меня заинтересовать, так как в ней упоминался Канчанабури.

Выяснилось, что речь в заметке шла про господина Нагасэ Такаси, переводчика, помогавшего союзникам искать погибших на ТБЖД, и словоохотливого корреспондента падре Бабба. Я поймал себя на том, что испытываю странное, доселе незнакомое мне чувство ледяной радости. Статья иллюстрировалась фотографией. Далеко не молодой человек в черной рубашке без воротника сидит в кресле на фоне стены, сплошь заставленной книгами. Руки безвольно лежат на столешнице, производя впечатление отрешенности и уязвимости. За правым плечом крупноформатный снимок моста через реку Квай. Лицо без улыбки, изнуренное, хорошо знакомое с болью, лицо нездорового семиде-

сятиодноголетнего старика — но вот текст.. Из-под его коротеньких абзацев и обтекаемых фраз на меня смотрели куда более юные глаза.

В заметке рассказывалось, как Нагасэ почти всю свою жизнь «заглаживает вину, которая лежит на японской армии за обращение с военнопленными»; как ему приказали стать членом поискового отряда; и как он, своими глазами видевший в 1943-м эшелоны с пленными, перевозимыми из Сингапура в Таиланд, и понятия не имел о масштабах происходящего, пока не добрался вместе с поисковиками до дальних участков ТБЖД, с их бесчисленными трупами и могилами. Вот когда, по словам самого Нагасэ, он решил посвятить остаток жизни памяти тех, кто погиб на строительстве дороги.

Итак, вот человек, о котором мне рассказывал падре Бабб, и которого я воспринимал с таким ехидным недоверием. Но это еще цветочки. Дальше в статье шла речь о его слабом здоровье, неизлечимом кардиозаболевании и сердечных приступах, которые он переживал «...всякий раз, когда вспоминалось, как японская военная полиция пыталась в Канчанбури одного военнопленного, обвиненного в изготовлении карты ТБЖД. Среди их методов была пытка водой, которую в огромных количествах заливали несчастному в глотку. Будучи бывшим военнотружеником японской армии, я считал, что мои страдания были той ценой, которую я должен заплатить за наше обращение с пленными, — сказал мистер Нагасэ».

Тем утром, сидя на кухне в доме Бредли, я не стал ничего говорить. И виду не подал, только лицо болело от наброшенной бесстрастной маски. Я не спускал глаз со статьи, читал и перечитывал ее на пути до Лон-

дона, и к тому моменту, когда поезд замер на вокзале Ватерлоо, я уже твердо знал: вот он, человек, которого я столь долго искал. В его внешности проглядывали знакомые мне черты: подскуловые впадины, глаза и рот — старческая редакция того серьезного молодого человека. Он рассказывал про меня, тем самым неявно признавая собственное присутствие во время моих пыток. Я испытывал триумфальный душевный подъем от того, что нашел его и что мне ведома его истинная сущность, в то время как сам он и не догадывается о том, что я по-прежнему жив-живехонек.

Оказывается, у него тоже кошмары, стоп-кадры из прошлого, жуткая внутренняя пустота... В статье говорилось о том, как Нагасэ замаливает собственную вину, что он неоднократно возвращался в Канчанабури с 1963 года, когда японские власти отменили былые ограничения на поездки за границу. Он возлагал венки на воинском мемориале союзников, основал благотворительную организацию для помощи семьям депортированных азиатских рабочих, среди которых была столь громадная смертность... Возникло впечатление, что этого странного человека подстегивали воспоминания о моих криках, пронизанных мольбой и страхом.

Итак, я вроде бы нашел одного из тех, кого искал. Практически наверняка это он, теперь я знаю и его имя, и адрес. Стоит только захотеть — протяну руку и ткну в него пальцем, да так, что небо с овчинку покажется. Стерты наконец те годы, когда я в бессильной ярости думал о нем и его напарниках. Даже сейчас, зная, чем он занимался после войны, и понимая, что я сам начинаю менять собственные взгляды на отмщение, на поверхность все равно выплескивались старые

чувства: я хотел серьезно навредить ему за участие в пытках, погубивших мою жизнь.

Когда я тем же днем, только много позднее, вернулся в Бервик, Патти заметила, что много лет не видела меня в таком воодушевлении. Вновь заехав в Медицинский фонд, я направо и налево раздавал фотокопии статьи из «Джапан Таймс» и с интересом услышал от медперсонала, что впервые меня можно назвать «оживленным». Да, время непроницаемой маски позади!

Но я до сих пор не знал, как поступить с Нагасэ. Сделал ряд запросов о нем, в частности обратился к британскому послу в Токио и к специалистам по переосмыслению военного прошлого японцами. По всему было видно, что деятельность Нагасэ хорошо известна в кругу тех, кто озабочен угрозой воскресения японского милитаризма, однако я никак не мог понять, чисто-сердечно ли его раскаяние. Понемногу, подспудно зрела мысль, что придется встретиться, принять решение, вновь оказавшись лицом к лицу. После войны очень многие не смогли принять правду о наших ранах, поскольку они не позволили своему воображению полностью оторваться от комфортабельности знакомой им жизни, — зато я хотел увидеть скорбь Нагасэ, чтобы самому вздохнуть свободнее.

Прошло немало времени, прежде чем удалось сформулировать это полуосознанное желание. Кое-кто уговаривал простить и забыть: дескать, дело давнее. Обычно я не вступаю в открытые споры, но здесь уже начал возражать, пусть и тихо. Ведь большинству тех, кто советовал простить, не довелось пройти через пережитое мною. Я не был настроен прощать. Во всяком случае, пока.

Еще два года я не мог решить, что делать с моей информацией, которая казалась плодом невероятной удачи, помноженной на сверхточное совпадение. Между тем впервые — и лишь в интересах Медицинского фонда — я согласился дать интервью репортерам. До сих пор перспектива любого события, хоть в чем-то напоминающего допрос, захлестывала меня ужасом, но я все же сумел выдержать беседу с журналисткой от «Санди Таймс» и даже принять участие в телепрограмме о Медицинском фонде, которая вышла в эфир в январе 1991-го.

Тот год я потратил на регулярные посещения доктора Тернера, в ходе которых мы обсуждали, как выявление истинного лица Нагасэ может сказаться на мне и что именно следует предпринять. Я не унимался и частенько подумывал вбить его в землю, но Стюарт открыл мне глаза, показав, что нет смысла заикливаться на убийстве. Он считал, что мне просто нельзя встречаться с моим бывшим мучителем, потому как, дескать, здесь нас ждет «белое пятно». Несмотря на свой богатейший практический опыт, никто из сотрудников фонда не мог найти прецедент предлагаемой мною встречи. В частности, Хелен Бамбер утверждала, что за всю историю послевоенной Европы не может припомнить случая, чтобы жертва пыток добровольно встретила с человеком, принимавшим непосредственное участие в истязаниях. Со своей стороны, Стюарт Тернер неоднократно напоминал мне, что медицинская литература пестрит примерами того, как американские ветераны Вьетнама получают новые психологические травмы, столкнувшись с яркими напоминаниями о своем военном прошлом.

Меня по-прежнему глодало желание в полной мере отыгаться на Нагасэ, и я решил преподнести ему большой-пребольшой сюрприз. Более того, план отщепенца получил поддержку из самого неожиданного источника. Дело в том, что Майк Финлансон, режиссер телефильма о работе Фонда и моих собственных злключениях, настолько увлекся событиями, которые разворачивались на его глазах, что решил сделать полнометражную документальную ленту про нас с Нагасэ. Я лично хотел, чтобы Нагасэ до самого последнего момента думал, что ему предстоит встреча просто с каким-то бывшим военнопленным, отсидевшим на Дальнем Востоке; он ни в коем случае не должен был узнать, что я опознал в нем сотрудника кэмпэйтая. Поначалу Финлансон согласился с моим планом, но затем — и я его понимаю — стал все активнее возражать против такой «атаки из засады».

Мир телевидения был мне в диковинку, однако вскоре я узнал, что здесь как нигде нельзя говорить «гоп», пока не перепрыгнешь: восторженные планы сценариста — это одно, а реакция аудитории — совсем другое. В ту пору Майк являлся независимым режиссером, и эта задумка, намеченная на 1991 год, была плодом его личного энтузиазма. Не ладилось дело с финансированием, на дворе уже давно стояло лето, а мой план был все так же далек от осуществления: задержка, от которой выиграли как минимум двое. Стюарт искренне беспокоился за мою реакцию и предложил заранее, в чисто неофициальной обстановке, познакомиться с кем-нибудь из японцев, чтобы, так сказать, морально подготовиться к эпохальной встрече. Скрепя сердце — раз уж с 1945-го ни разу не довелось перебро-

ситься словечком с японцами — я согласился рискнуть. Мы обсудили разные схемы, скажем, я мог зайти в какое-нибудь японское бюро путешествий, а то и представительство тамошней авиакомпании, и мгновенно ретироваться, буде возникнет такая надобность.

Впрочем, душевное спокойствие японских продавцов авиабилетов не успело пострадать, потому что в начале июля 1991-го я поднял трубку зазвонившего телефона. Это мне не свойственно; Патти уже с давних пор по моей просьбе отвечает на звонки, но в тот момент ее не было дома. На том конце провода оказался знакомый мне историк, который спросил, как я смотрю на встречу с Накахара Митико, токийским профессором истории, которая занимается проблемой насильственного труда военнопленных и азиатских рабочих на ТБЖД в годы войны. Я согласился. Вернувшись, жена узнала, что за время ее отсутствия я успел договориться о встрече с особой японских кровей в нашем собственном доме. Сказать, что она изумилась, было бы сильным преуменьшением.

За несколько дней до встречи, назначенной на конец июля, я уже всю паниковал, кляня собственную поспешность, однако все обернулось как нельзя лучше. Стоял восхитительный летний денек, небо было легким и чистым — словом, наша северная погода расстаралась. Патти отправилась встречать гостью на станцию Бервик, и вскоре я услышал стук калитки. По садовой дорожке шла моя жена, а рядом — миниатюрная улыбающаяся женщина в элегантном брючном костюме с черным шелковым жакетом; ее волосы поражали иссиня-черным отливом. Мы обменялись рукопожатиями. Профессор Накахара превосходно владела английским,

и уже через несколько минут я понял, что дела пойдут как надо. Она оказалась интеллигентной, отзывчивой женщиной, и после обеда мы присели в саду, обмениваясь информацией, просматривая документы, книги и свидетельства той эпохи. Ее супруг, сказала она, пострадал в Хиросиме. В то время как про военнопленных написаны десятки книг, Накахара не хотела, чтобы история депортированных рабочих канула в забвение, потому что почти ничего не рассказано о *ромуся*, как их называют в Японии. Четверть миллиона человек — малайцы, индонезийцы, китайцы, бирманцы, тамилы, — дезорганизованная и голодающая многоязыкая армия, причем, в отличие от нас, без каких-либо собственных лидеров или организационной структуры. Митико нуждалась в моих воспоминаниях о работе в строительных лагерях, я же питал к ней интерес, поскольку она была моим первым послевоенным связующим звеном с Японией. Еще она сообщила, что как-то раз встречалась с Нагасэ.

Человек, который в 1943-м, будто клещ, залез мне под кожу и застрял там, в чужих глазах выглядел иначе, к тому же во мне пробуждалось любопытство к разным сторонам японской жизни. Взять, к примеру, вот этого профессора. Она не боялась правды, решительно бралась за самые постыдные страницы истории родной страны — и это мне импонировало. Вскоре после возвращения в Японию Митико написала мне, что ее пригласили в Акасацкий дворец, прочитать новому императору Акихито лекцию по новейшей истории Юго-Восточной Азии, поскольку намечался официальный визит в тот регион. Она согласилась, но с условием, что ей позволят изложить все как есть, без цензуры.

В том же месяце, когда приезжала Накахара Митико, я получил в подарок небольшую книжку, опубликованную в Японии. Ее написал Нагасэ. О ней я знал лишь, что она называется «Кресты и тигры», потому как мой японский не очень-то продвинулся со времен лагеря и занятий с Вильямсоном в 1943-м. Впрочем, было известно, что в 1990-м в Таиланде вышел ее английский перевод. Я сделал заказ, и наконец бандеролью прибыла тонюсенькая книжка в светло-зеленой бумажной обложке с изображением железнодорожного моста через реку Квай. Шестьдесят с чем-то страниц, набранных пляшущим шрифтом, но я ухватился за нее, как за редкостный манускрипт.

В кратком вступлении Нагасэ рассказывал о своем воинском призыве в декабре 1941-го, то есть когда я в Куантане поджидал армию его императора. Ему присвоили категорию В3, что, по-видимому, означает «слабое физическое развитие», и на приложенном снимке, датированном 20 декабря 1941-го, я видел худенького молодого человека, чье лицо было мне так хорошо знакомо: напряженное, с тонкими чертами, застенчивое и скорбное. Одет в японскую полевую форму, на голове кепи, в руках сжимает рукоятку меча, который ему слишком велик. Он описывает, как его направили в Сайгон служить при местном отделении разведывательной службы Генштаба и как ближе к концу Индонезийской кампании он попал на Яву в качестве переводчика для одного из офицеров разведки, отвечавшего за сбор информации. В начале 1943-го Нагасэ работал в сингапурском подразделении «транспортных операций», подслушивая и подглядывая за военнопленными, этапирруемыми на строительство ТБЖД. Думаю,

в его обязанности входил обыск их личных вещей на предмет тех драгоценных деталек, которые Фред Смит в свое время привез в Банпонг. В марте 1943-го, когда мы уже сидели в Канбури, его перевели в Бангкок, служить при Стройуправлении ТБЖД, а в сентябре он получил предписание отправиться в канбурскую роту военной полиции. Нагасэ признавал чудовищную цену, в которую обошлась эта дорога — где на каждую уложенную шпалу приходится по одному погибшему из пленных или депортированных рабочих, — и добавлял, что сейчас от путей осталась едва ли треть первоначальной длины.

Далее шли три основных раздела: его воспоминания о Канбури, реконструированный дневник трехнедельной экспедиции в составе поисковой группы в сентябре — октябре 1945-го и кое-какие замечания к его послевоенному пребыванию в Таиланде.

Первый раздел, в особенности начальные пять страниц, я читал как завороченный. Итак, Нагасэ прибывает в Банпонг пасмурным, сумрачным днем. Обстановка, по его воспоминаниям, смахивала на преисподнюю: свинцовое небо обложено тучами, крыши домов и ветви высоких тиковых деревьев усыпаны крупными черными стервятниками. Сперва он решает, что эти птицы здесь так и жили испокон веку, но потом до него доходит, что их привлек сюда запах падали от концлагеря.

На следующий день Нагасэ отправляется в Канбури. «Когда я пересекал поле, поросшее высоченным бурьяном, на глаза вновь попались мерзкие стаи стервятников». По дороге он наталкивается на похоронную команду из пленных, которые тащат одинокие носил-

ки, накрытые выцветшим «Юнион Джеком». За ними плетется японский солдат с винтовкой, а уже по его пятам переваливаются с ноги на ногу полдесятка стервятников, клюющих на ходу головами. Нагасэ видит неказистую бамбуковую изгородь, и сопровождающий унтер-офицер советует притвориться инспектором этого лагеря — пленные его еще не знают, а посему могут невзначай обмолвиться о чем-то важном. От увиденного Нагасэ приходит в ужас. Лачуги без крыш, больные люди, дрожащие в мокрых от пота одеялах: жертвы малярии, мечущиеся в бреду на нарах или просто на земляном полу. Начинается ливень, к Нагасэ подходит британский офицер и молит об улучшении условий содержания: у лазаретного барака вот уже неделю нет крыши, и малярийные больные вынуждены лежать прямо под дождем. «Безвольные, потухшие глаза» малярийных больных сильно действуют на Нагасэ. Он вспоминает, что такой же безнадежный взгляд был у арестантов, которых загоняли партиями по тридцать человек в товарные вагоны на сингапурском вокзале, под палящими лучами солнца. Там голубоглазый британский офицер настойчиво интересовался, куда их увозят, но Нагасэ не мог ничего ответить. «Почему голубые глаза смотрятся такими печальными?» — вопрошает он.

В Канбури его приписывают к спецподразделению *токко*, отвечающему за разведку и контрразведку. Он неотступно сопровождает своего начальника, высокого унтер-офицера «с выбритым до синевы лицом». Иногда ему поручают выдать себя за тайца и завести разговор с пленными, чтобы узнать их мысли и намерения. Я и не догадывался, что он умеет говорить

по-тайски... А может, он просто изображал какого-нибудь местного крестьянина, чуточку владеющего английским?

В октябре, незадолго до открытия ТБЖД, у японцев возникло подозрение, что пленные обзавелись радиоприемником и слушают передачи союзников. Аппарат был обнаружен в ходе неожиданного обыска личных вещей заключенных. Когда всех «подозреваемых» передали в распоряжение *токко*, выяснилось, что они сильно избиты. Кажется, одного даже забили до смерти.

И тут Нагасэ словно выходит из-за ширмы, и перед собой я вижу сцену, отдаленную как в сновидении. Он пишет:

Теперь расскажу о военнопленном, с которым я работал как переводчик. Во время обыска личных вещей выяснилось, что у него припрятана схема Тайско-Бирманской железной дороги с указанием всех станций. Он утверждал, что страстно увлекается железными дорогами и просто хотел привезти карту домой в качестве сувенира. Это объяснение звучало неубедительно, так как в то время ТБЖД была военной тайной.

По словам Нагасэ, пленного предали суду военного трибунала. Подозреваемого допрашивают, однако он упорно отрицает обвинение, отлично понимая, что в случае признания его приговорят к смерти.

Жесткие допросы продолжались с утра до ночи в течение целой недели, и я тоже изнемог. Унтер-офицер секретной полиции порой кричал даже на меня, потому что

в запале уже не разбирал, кто из нас заключенный. Подозреваемый выглядел слабым и больным, однако упрямо от всего открещивался... Унтер-офицер побил его палкой. Я не мог на это смотреть и советовал ему признаться, чтобы прекратить дальнейшие психические и физические мучения. Он в ответ улыбался. Наконец полицейский применил обычную пытку. Сначала его отвели к бочке... Потом его левую руку завернули за спину и привязали веревкой, а сломанную правую руку оставили спереди. Бедолагу положили навзничь, рот и нос прикрыли тряпкой. На лицо стали лить воду. Мокрая ткань забивалась в рот и нос. Он силился дышать, разевал рот, чтобы вдохнуть воздух. Ему в рот залили воду. Я видел, как вздулся его живот. От зрелища сильных мук заключенного я едва не потерял голову. Я боялся, что его убьют на моих глазах. Взяв пленного за сломанное запястье, я решил проверить пульс. До сих пор помню, какое испытал облегчение, нащупав необычно здоровый пульс.

Когда заключенный закричал «мама! мама!», я пробормотал про себя: «Мама, знаешь ли ты, что сейчас происходит с твоим сыном?» При воспоминании об этой ужасной сцене меня охватывает дрожь.

Нагасэ делает паузу, чтобы покритиковать Императорский рескрипт, многословную клятву верности, которую все рекруты обязаны были заучивать наизусть, и лежавшую в ее основе тираническую систему абсолютного подчинения, которая предусматривала ответственность семьи за проступки солдата. Этой системе он противопоставляет принцип уважения фундаментальных прав человека, на котором — по его мнению — зиждется западное мышление.

Остаток войны Нагасэ провел сначала в госпитале, где пролежал шесть месяцев, после чего был возвращен в Канбури, откуда и отправился с падре Баббом и его коллегами-офицерами на спецпоезде в поисках заброшенных захоронений. Нагасэ описывает затаенную враждебность широкоплечих англичан и австралийцев, рядом с которыми был вынужден находиться, сетует на нежелание бывших японских военнослужащих помогать ходу поисков, а также вспоминает горестные картины того, как уцелевшие *ромуся* осаждают союзнических офицеров, умоляя отправить их домой. Их бедственное положение трогает Нагасэ за душу, тем более что сейчас японская армия занята перезахоронением останков военнопленных, в то время как до могил азиатских рабочих никому нет дела. «Я опасался, что такой контраст заставит людей решить, будто японцам все равно, что станет с душами *ромуся*». Отряд обнаруживает в джунглях бесчисленные заброшенные курганы и деревянные столбики, полузаросшие лианами. Нагасэ питает омерзение к плодовитости джунглей, мириадам сороконожек и червяков и до комизма страшится тигров, которые, как ему кажется, так и рыскают рядом с путями. Он описывает стычку с вооруженными, отчаявшимися и «дьявольски свирепыми» японскими солдатами на самом дальнем участке дороги, и вспоминает, что тамошний японский командир поначалу даже отказался отдавать честь британскому капитану, возглавлявшему поисковый отряд.

Однажды вечером союзнические офицеры требуют его в свой крытый вагон, усаживают перед рацией и цепляют на голову наушники. Он слушает передачу, в которой говорится, что в отношении японских желез-

нодорожных войск, лагерных комендатур и «специальной полиции» выдвинуты обвинения в массовых военных преступлениях и что в данный момент одно из союзнических подразделений как раз ведет сбор сведений о японских военных преступлениях, в частности, о бесчеловечном обращении с пленными на всем протяжении ТБЖД. «Я осознавал, — пишет Нагасэ, — что все внимание офицеров приковано ко мне. Глотка и губы пересохли, застыли как в параличе». После длительной паузы он признается, что и сам какое-то время работал на упомянутую специальную полицию. Помрачнев, офицеры интересуются, не было ли у него каких-то сложностей с военнопленными, а когда он отвечает «да нет, ничего особенного», ему говорят: пока ты с нами, беспокоиться нечего, главное, добросовестно делай свое дело.

Нагасэ отмечает, что именно тогда с особой остротой почувствовал разрыв между британским и японским отношением к ценности человеческой жизни и начал понимать, отчего токийский Генштаб решил приступить к строительству дороги, от которой британские инженеры отказались вследствие «чрезмерной прогнозируемой смертности». Он приходит к выводу, что все дело как раз в культуре абсолютного повиновения и одержимости армейского командования «кабинетным прожектерством». Позднее — после того как зрелище многотысячного скопления крестов на задворках лазарета в Чунгкае, близ Канчанабури, открывает ему глаза, — он решает, что «в основе совершенной цивилизации должен лежать гуманизм».

Через восемнадцать лет после войны, когда выезжать за границу стало много проще, Нагасэ с женой

вернулся в Канбури и посетил место массового погребения военнослужащих, с аккуратными каменными надгробьями и бронзовыми табличками с именами каждого погибшего.

В центре обширного кладбища, на фоне голубого неба, стоит белый крест. Его окружают могилы семи тысяч солдат и офицеров, покоящихся среди безмятежности тропиков. Этих людей разыскивали и сверяли со списками непосредственно после завершения войны.

Мы с женой прошли к белому кресту и возложили венок к его подножию. В ту минуту, когда я соприкоснулся ладонями в молитвенном жесте... я почувствовал, как из моего тела во все стороны исходят желтые, постепенно бледнеющие лучи света. И я сказал себе: «Вот оно. Тебя простили». Этому чувству я поверил всей душой.

...Вернувшись в Японию, я работал переводчиком для американских оккупационных войск, затем школьным учителем в старших классах. Через год у меня обнаружили туберкулез. Немного подлечившись, я вновь слег. На этот раз оказалось, что у меня очень опасный кардионевроз. Приступы тахикардии изматывали и психически, и телесно... При всяком приступе у меня перед глазами проносились сцены пыток в застенках военной полиции. Я говорил себе, что пленные страдали куда больше, и это помогало выносить страшную боль.

...Долгое время не отпускала вина. Когда я посетил те могилы, это чувство исчезло, я понял, что моя мольба наконец-то услышана. Здоровье поправлялось, бизнес тоже шел в гору.

Нагасэ еще неоднократно возвращался в Таиланд, занимался благотворительностью для уцелевших азиатских рабочих, многие из которых не смогли вернуться домой в Индию или Малайю и влачили жалкое существование в поселках вдоль трассы ТБЖД. Он открыл «храм мира» у моста через реку Квай, выступал против милитаризма.

Все это выглядело очень достойно, но во время чтения я не мог отделаться от необъяснимой отрешенности. Я-то думал, что буду переживать куда сильнее, однако, если не считать странного чувства присутствия на собственной пытке в роли наблюдателя, в душе царила пустота. А еще меня задело его слова, дескать, «вот теперь я прощен». Может, Господь его и впрямь простил, да только не я; то, как прощают обычные смертные, — вообще отдельная тема.

Я отложил книжку. По прошествии нескольких дней ее взяла в руки Патти и как-то вечером внимательно прочла. В отличие от меня, приведенные выше пассажи — насчет посещения Канбурского военного кладбища — вызвали у жены куда больший гнев. Она хотела знать, с чего это Нагасэ вдруг решил, что его простили. Как вышло, что чувство вины взяло и просто «исчезло», хотя никто, в особенности я, прощения ему не давал?

Негодование Патти было таким сильным, что она захотела немедленно написать Нагасэ, и спросила у меня разрешение. В конце октября 1991-го письмо было отправлено. Внутрь она вложила мою фотографию. Теперь можно было забыть об «атаке из засады»...

Уважаемый господин Нагасэ!

Я только что закончила читать вашу книгу «Кресты и тигры». Эта тема меня волнует особенно, так как мой супруг служил в Королевских войсках связи и в августе 1943-го, вместе с шестью другими офицерами, был арестован в связи с изготовлением подпольного радиоприемника в лагерных мастерских близ Канчанабури. У мужа нашли также карту этой железной дороги. Он и есть тот самый человек, о котором вы рассказываете на стр. 15 своей книги, описывая сцену ужасных истязаний.

Его мать скончалась через месяц после падения Сингапура. Родственники рассказали мне, что она умерла от разбитого сердца...

Мужу и прежде было известно, кто вы, так как он узнал вас благодаря статье, опубликованной в «Джапан Таймс» от 15 августа 1989 года.

Его чрезвычайно интересует возможность связаться с вами, поскольку все эти годы он задавался многими вопросами, ответы на которые можно найти, пожалуй, лишь с вашей помощью. Вероятно, у вас тоже найдутся вопросы о Канчанабурском радиоинциденте?.. Не согласились бы вы вступить с моим мужем в переписку?

Все эти годы он провел, страдая от последствий пережитых ужасов, и я надеюсь, что взаимный контакт окажет целительное действие на вас обоих. Как можете вы считать себя «прощенным», господин Нагасэ, когда конкретно этот бывший военнопленный вас отнюдь еще не простил? Мой муж понимает, под каким социально-культурным давлением вы находились во время войны, однако

вопрос о том, сможет ли он полностью простить ваше участие, остается открытым, и не мне судить, раз уж я там не была...

*С уважением,
Патриция М. Ломакс*

Шестого ноября, когда Патти спустилась за утренней почтой, лежавшей у порога входной двери, она увидела авиаконверт из Японии. Он был адресован на ее имя, но она принесла его мне нераспечатанным. Я, как был в пижаме, уселся на краешек нашей постели и вскрыл тоненькое письмо.

Многоуважаемая миссис Патриция М. Ломакс!

Не могу подыскать слов, чтобы передать собственную растерянность, когда я прочитал ваше неожиданное письмо. Полагаю, мне давно следовало ожидать чего-то подобного. Ваши слова, что «конкретно этот бывший военнопленный вас отнюдь еще не простил», ударили по мне напоминанием о моих былых подлых днях. Пожалуйста, дайте мне время, чтобы вновь и вновь все обдумать.

Вместе с тем убедительно прошу передать вашему супругу, что я готов ответить на любой его вопрос, если он сочтет, что я хоть в чем-то смогу быть полезным.

Так или иначе, мне все настойчивей представляется, что я должен его увидеть. Судя по фотографии, ваш супруг находится в добром здравии и является человеком деликатным, хотя я и не могу заглянуть в его мысли. Прошу передать ему пожелания долгой жизни, чтобы мы могли встретиться.

*Искренне ваш,
Нагасэ Такаси*

P. S. Сообщите, пожалуйста, номер вашего телефона.

P.P.S. Простите за сумбурность: я только это и смог написать после прочтения вашего письма. Я попытаюсь найти способ, чтобы встретиться с ним, если он согласится.

И большое вам спасибо за проявленную заботу о нем в течение столь долгого времени.

Клинок вашего письма пронзил мое сердце насквозь.

Патти заметила, что это просто выдающееся по красоте письмо. Мой гнев улетучился, нахлынула волна сострадания и к Нагасэ, и к себе, чувство, помноженное на глубокую печаль и сожаление. В ту секунду я потерял всю броню, которой до сих пор прикрывался, и стал размышлять над доселе невысказанным, а именно что я мог бы встретиться с Нагасэ лицом к лицу просто из доброжелательности. Прощение переставало быть абстрактной идеей.

Шли дни, и все отчетливей возникало ощущение, что в искренности Нагасэ и впрямь нет фальши. Я стал яснее понимать, до чего сильную душевную травму он получил вследствие своих действий, пусть и вынужденных: участник допросов, ныне страдающий вместе со своими жертвами. Мало того, замаливание грехов отнюдь не было чем-то побочным; чуть ли не вся его жизнь оказалась выстроена именно вокруг этого. Позднее я узнал, что с 1963-го он возвращался в Таиланд более шестидесяти раз. Кроме того, он стал истым последователем буддизма, и постройка храма у моста со всей очевидностью была выдающимся достижением.

Очевидно, наше письмо — послание едва ли не с того света — вызвало в его душе настоящую бурю.

Патти ответила в течение той же недели, и я сделал еще один шаг ему навстречу. Она приложила письмо от меня лично. Жена яркими, идущими от сердца словами дала понять, что со мной происходило после войны. Мои же строчки были скупыми, прохладными и формальными; на большее меня не хватило. Да мои письма никогда и не были верхом сердечности.

В первую очередь я потребовал от него информацию: правда ли, что обыски проводили конкретно на предмет подпольных радиоприемников? С чего вообще японцы решили, что в лагерях могут быть такие аппараты? И кто отдавал приказы? Я так и не отказался от мысли выявить и сохранить на все времена цепочку произошедших событий.

Новых сведений из ответа я почерпнул мало, так как Нагасэ в конце октября был в Сайгоне и к моменту его появления мы уже сидели в «обезьяньих домиках», как он именовал клетки на заднем дворе кэмпэйтиайской штаб-квартиры. Он считал, что наводки не было: японцы просто искали рации, приемники и так далее, к тому же опасались, что пленные сговорятся с местным населением (как выяснилось, этого они боялись пуще огня, так как их было мало, а нас много). И наконец, ему казалось, что приказ на экзекуцию отдал капитан Комаи, тот самый, которого потом повесили. Нагасэ присовокупляет: «Мне известно, что его сын живет где-то на севере Японии, в бесчестье». Письмо он завершает словами, что хочет встретиться со мной и потому еще, что сам этот факт продемонстрирует миру «глупость», в особенности тем японцам, которые до сих пор испытывают «агрессию к чужим землям».

На организацию встречи ушел год. Ни Патти, ни я не купаемся в роскоши; мы оба на пенсии, а перелет в Юго-Восточную Азию стоит немалых денег. (Мои руки и бедренные суставы в таком состоянии, что многочасовое сидение в креслах эконом-класса попросту невозможно.) Мы надеялись, что удастся найти спонсоров в Фонде Сасакавы, чья деятельность направлена на укрепление взаимопонимания между Великобританией и Японией, но все откладывали к ним обращаться, поскольку не утратили надежду на съемки документального фильма. Пусть сейчас я с особенным отвращением мог вообразить себя в развлекательной роли и хотел встретиться с Нагасэ вне всякой связи с пожеланиями наших друзей-телевизионщиков, я настаивал на том, чтобы в фильме была в первую очередь отражена работа Медицинского фонда.

Мы переписывались с Нагасэ, но нелегко поддерживать общение с человеком, которому лишь недавно желал смерти; порой включались бывшие защитные механизмы. Я был откровенен, говорил, что с трудом могу ему писать, он же выказывал понимание и сочувствие, всегда без задержек отвечал на мои письма. Мы хотели встретиться в Таиланде, а потом он приглашал меня заехать к нему в Японию, в сезон цветения сакуры, которая в Курасики очень красива.

В конечном итоге решив, что мы с Нагасэ уже не можем больше ждать, и заодно опасаясь, что съемки будут слишком утомительными, я обратился в Фонд Сасакавы, и они согласились профинансировать нашу поездку. Кроме того, они сочли, что запланированный телефильм тоже в какой-то степени будет способствовать их целям — примирению и взаимопониманию, — и

поэтому ссудили денег под этот проект. Я не возражал, требуя лишь, чтобы после возмещения затрат все права на фильм остались у Медицинского фонда. И вот, когда организационные препоны были наконец устранены, я оказался готов встретить моего бывшего врага лицом к лицу — с нетерпением и открытым сердцем.

Глава 12

После девятичасового полета в кондиционированном комфорте жара сомкнулась вокруг нас, едва мы с Патти покинули салон аэробуса.

Спрятаться от солнца оказалось несложно: на этот раз я был почетным гостем и нас поджидал «Роллс-Ройс». Бангкок предстал не тем городом, каким я его помнил. Теперь на фоне неба я видел сплошные высотные здания и застекленные гиганты. В памяти всплыла мертвая запустелость улиц, рев тюремного грузовичка — а сейчас пожалуйста: шестиполосные магистрали с вечно гудящей вереницей автомобилей. Чем-то напоминает телерепортажи про Лос-Анджелес. Несмотря на оживленное движение, все казалось будто разомлевшим от жары. На дорогу из аэропорта до гостиницы ушло не менее трех часов.

Через два дня, когда из-за близости главного события я был уже как на иголках, мы выехали в Канбури. Вокзал Бангкок-Ной, расположенный в западной части города, тоже некогда был внушительным, гулким сооружением, откуда в золотой век паровозов начиналась дорога на Сингапур. Конец тем славным денькам пришел в 1927 году вместе с открытием нового моста через

реку Менам, и здешний вокзал стал чуть ли не заолустной станцией, подходящей разве что для отправки эшелонов по ТБЖД. Отсюда до сих пор ходят поезда до Канбури и далее до Намтока, но на этом дорога заканчивается, не сохранив и трети от былой протяженности до конечного пункта в Бирме. Впрочем, возле вокзала вполне себе процветает рынок, где у местных торговков можно купить что угодно, от фруктов до кусков яркой материи; мало того, торговые ряды расплзлись и по старым запасным путям, и мы немножко побродили вдоль прилавок. Последний раз, когда я шел по железнодорожной станции в Сиаме, у меня к поясу была привязана веревка, руки прибинтованы к шинам, а впереди маячила высшая мера.

Поезд на Канбури — солидный дизель-локомотив, тянущий семь бело-голубых вагонов — ходит по равнинной, плодородной местности, испещренной оросительными каналами, повсюду зеленеют рисовые поля, фруктовые сады и пальмовые рощи. Я не спускал глаз с пейзажа за окном, но он мало чем мог подготовить меня морально; вспоминалось прошлое, одновременно с этим я надеялся на новое для себя будущее, и примирить оба этих настроения было не так-то легко.

В Нонгпладуке поезд идет вдоль одной-единственной платформы, очень аккуратной, ухоженной и яркой: красно-желтые цветы в жардиньерках и декоративные кустарники в кадках придают станции образцовый, чуть ли не игрушечный вид. Не осталось и следа от лагеря, что лежал за платформой, к северу от насыпи; именно здесь первая партия военнопленных из Сингапура разбила бараки, положив начало строительству ТБЖД. Зато по другую руку, с южной стороны полотна,

сохранились запасные, ныне поросшие сухой травой и сорняками пути с вереницами крытых вагонов, точь-в-точь как те, что доставляли пленных. Некоторые из них практически наверняка сохранились с того времени — так и стоят на жаре, как в те дни, когда в них набивали по тридцать человек с пожитками.

Над подъездными путями высится старая водонапорная башня, вся из дерева, на брусках-подпорках. Это отнюдь не новодел, а подлинник, построенный японцами для подпитки паровозов, в первую очередь внушительных «С56». Вот сюда их подгоняли, заправляли топливом и водой, ремонтировали...

К западу от Нонгладука, рядом с Банпонгом, путь разветвляется: левая колея есть не что иное, как старая линия на юг, что заканчивается в Сингапуре, а правая — собственно начало Тайско-Бирманской, или, как я привык ее именовать, Бирманско-Сиамской железной дороги. Сегодня она выглядит мирно: чисто прибранная, заботливо поддерживаемая, уходящая в буйно заросшие нагорья канчанабурской провинции, к перевалу Трех Пагод, что лежит на бирманской границе. Точка разветвления привлекла мое особое внимание: вот тут, по левую руку от путей, располагались склады и временный лагерь при железнодорожных мастерских. Именно здесь Тью собрал свой первый приемник, притащил в наш барак украденную статуэтку Будды... От самого лагеря ничего не осталось; похоже, что на том месте теперь расположились симпатичные домики, сады и большое школьное здание.

От Банпонга до Канбури дорога тридцать миль тянется сквозь поселки и очередные плодородные поля, порой даже встречаются заводи со своим собствен-

ным подъездным парком. Но вот на фоне дремучих и неясно очерченных гор показался Канбури. Как и все остальное, солидные корпуса мастерских исчезли, и я уставился на опустелые запасные пути, будто силой мысли мог вызвать из небытия хоть какие-то свидетельства прошлого.

Перед станцией, на отдельной ветке, стоял великолепный старый локомотив системы инженера Гарратта, легендарный тяжеловес последних двух десятилетий золотого паровозного века, красавец-гигант и верная рабочая лошадка. Зачем его сюда поставили, ума не приложу, зато вокруг почти осязаемо витала аура человеческих устремлений и надежд, и во мне вновь проснулась былая страсть. В душном влажном воздухе даже железная мощь Гарратта выглядела хрупкой на фоне тех джунглей, чья первобытная сила так испугала Нагасэ, когда он искал могилы в 1945-м. Есть нечто фатально-горестное в этих машинах, очутившихся среди тропических зарослей: воплощение трагедий, ошибок и тленной красоты.

Коротенький перегон после Канбури вывел нас к мосту через реку Квай. Здешняя платформа была такой коротенькой, что даже не весь состав поместился. Мы спустились прямо на насыпь и двинулись вдоль колеи, в паре шагов от пересохших, заляпанных нефтяными потеками шпал. Жара стояла немилосердная, от путей пахло дизелем. Мы вышли на широкую, ровную площадку железнодорожного переезда. Издав громкий гудок, наш локомотив загромыхал по мосту, неторопливо увлекая за собой семь вагончиков, чьи силуэты замелькали сквозь плетение балочных ферм одиннадцати пролетов на бетонных быках. Поезд скрылся из виду,

идя дальше на запад, к горам. Нахлынула тишина, тут же уступившая место ворчанию грузовиков и трескотне мотоциклов, когда подняли шлагбаум. Мостовые быки, стоявшие в мутно-бурой воде, были испещрены трещинами и выбоинами от осколков тех бомб, которые американцы сбросили сюда в 1944-м. Похоже, к ним не притрагивались на протяжении всего полувека.

Мы остановились в гостинице на противоположном от города берегу и пообедали в ресторанчике «Ривер-Квай», где познакомились с его замечательной хозяйкой Тидой Лоха. Именно благодаря ее щедрости Нагасэ получил в свое распоряжение земельный участок под постройку храма. Эта женщина, обладающая прозорливостью и задатками настоящего дипломата, за прошедшие десятилетия перезнакомилась со множеством участников тех событий, как бывших военнопленных, так и японцев, и много чего знает о взаимной ненависти, которая царил в поселке во время войны.

Близился час «Ч». Мы с Нагасэ договорились встретиться утром, на другой стороне моста, возле небольшого музея ТБЖД. Я был на таком взводе, что какие-либо изменения в планах нещадно действовали на нервы, и испытал даже приступ известной паники, когда Нагасэ с женой прибыл в гостиницу к шести вечера, а не в полночь. Ян Керр, местный партнер — представитель Медицинского фонда, который специально приехал к нам на случай непредвиденных осложнений, спас меня от повторного заключения в Канбури — а то бы я так и просидел в четырех стенах гостиничного номера, — пригласив нас с Патти отужинать в плавучем ресторанчике. Там я старался забыть о завтрашнем дне, играя с

дружелюбным котенком. Было уже поздно, когда мы легли спать.

Утром пересекли реку и взошли на широкую веранду с панорамой моста. Я присел на лавочку, чтобы понаблюдать и подождать. Одет я был довольно официально: в слаксы с рубашкой, вокруг шеи сатерлендовский галстук в клетку-шотландку — определенно единственный на мили и мили вокруг. Время было к девяти, солнце еще поднималось, однако жара уже начинала серьезно давить.

С расстояния в сотню метров я следил, как он идет к мосту; меня он видеть не мог. Мне было важно это заключительное временное преимущество: оно позволяло подготовиться, пусть сейчас я и не хотел причинить ему вреда. Я поднялся и прошел последние сто метров до смотровой площадки, где мы назначили нашу встречу.

Над этим местом главенствовала статуя улыбчивого Будды, и, присаживаясь, я заметил присутствие еще одной доброжелательной силы, чья тень осеняла эту широкую террасу: ухоженный, тщательно берегаемый локомотив, ветеран Королевской Сиамской железной дороги, построенный в Глазго — к тому же, обратил я внимание, в год моего рождения. Этому изысканному пережитку прошлого самое место в каком-нибудь ярком сне, но сейчас молчаливый паровоз был рядом со мной, здесь, на безлюдной площадке, замерев в ожидании чего-то особенного.

Нагасэ вышел на террасу, миновал локомотив... Я и забыл, какой он маленький, старичок-боровичок в элегантной соломенной шляпе, брюках и накидке по типу кимоно. Издали он напоминал ожившую резную фигурку с Востока, скукоженного, сухонького домо-

вого. С плеча свисал бесформенный синий мешок из хлопчатки. Когда он подошел ближе, я разглядел у него на груди бусы из темно-красных камней. В ушах вновь раздалось: «Ломакс, вы нам расскажете» и прочие фразы, которые он бубнил ненавистным мне голосом...

Жуя губами, он приступил к формальному покло-ну — маленькая фигурка едва мне по плечо, с напряженным морщинистым личиком. Я шагнул вперед, взял его за руку и промолвил: «*О-хаё-годзаимас, Нагасэ-сан, о-гэнки дэс ка?*» — «Доброе утро, господин Нагасэ, как вы поживаете?»

Подрагивая всем телом, он смотрел на меня глазами, полными слез, и причитал беспрерывно «простите, простите...». Я увел его с ужасного солнцепека в тень, к лавочке, принимая над ним как бы шефство, потому что его надо было успокоить: он был переполнен чувствами. Бормоча что-то подбадривающее, я усадил его на скамейку, словно защищал от эмоций. В ответ на причитания я сказал что-то вроде: «Очень тронут вашими словами».

Он произнес: «Пятьдесят лет — долгий срок, но для меня это было временем страданий. Я никогда вас не забывал, я помню ваше лицо, особенно глаза». Говоря это, Нагасэ не отводил взгляда. На меня смотрел, в общем-то, тот же самый, знакомый мне человек: с довольно тонкими чертами лица, темными и слегка утонувшими глазами, с широким ртом под заострившимися скулами.

Я сказал, что не забыл его совета, обращенного ко мне при последней встрече. Он спросил, что это, и рассмеялся, когда я напомнил: «Выше голову».

Затем он спросил разрешения взять меня за руку. Участник моих былых допросов сейчас держал меня за руку, гладил ее, но я не испытывал неловкости. Обими ладонями обхватив мое запястье — более массивное, чем у него, — Нагасэ сказал, что во время пыток (прозвучало именно это слово) мерил мой пульс. Да, я помнил, он писал об этом в своих мемуарах. Однако сейчас, лицом к лицу, его скорбь выглядела острее моих переживаний, куда острее. «Я был членом Императорский японской армии, мы обращались с вашими соотечественниками очень, очень плохо». — «Мы оба уцелели», — подбадривающе заметил я, по-настоящему поверив в это именно сейчас.

Он спросил, помню ли я «купальню», где меня пытали. Я признался, что нет. Тогда он рассказал, что был такой момент, когда меня отвели в санблок, заполнили какую-то металлическую емкость, и *кэмэй-гунсо* держал мою голову под водой. «Помните большую банку?» — спрашивал Нагасэ, руками показывая что-то широкое и круглое. Что ж, придется поверить ему на слово. В ответ я сообщил, что отлично помню ту рейшину, которой *гунсо* колотил по столу. Нагасэ кивнул, говоря, что «отъявленный был человек».

Невозможно вспомнить все, о чем мы тогда болтали; мы просидели на лавочке так долго, что вновь оказались на солнцепеке, когда ушла тень. (Патти потом рассказывала, что тем временем держала оборону на террасе, откуда нас так и норовил сфотографировать какой-то журналист, уловивший суть происходящего. А я и не заметил...) Содержание нашего разговора вряд ли играет большую роль. Мы много смеялись — по прошествии какого-то времени — и были вполне до-

вольны компанией друг друга. Отдельные фразы врезались в память отчетливо, в особенности некоторые из его забавно построенных высказываний, от остального сохранилось общее впечатление.

В какую-то минуту Нагасэ вдруг завел речь про мою карту. Он напомнил, как я пытался убедить его, будто начертил схему ТБЖД из-за своей «маниакальной любви к железной дороге». Нагасэ говорил, что старался поверить, но в те годы «эта мания была в Японии плохо популярна». Потом он сказал, что в Британии можно найти какую хочешь «манию», и он, зная об этом, пытался разубедить *гунсо*, считавшего меня лидером подпольщиков. Я возразил, что *гунсо* все равно мне не верил, и Нагасэ рассказал, что им позарез был нужен шпион-саботажник, иначе непонятно, откуда у нас взялись детали для радиоприемника, к тому же военная полиция пуше всего боялась, что мы вступили в контакт с местными. Как я и предполагал, Нагасэ сам проверял личные вещи пленных перед их отправкой из Сингапура в Банпонг и далее на север.

Он поинтересовался, где я прятал карту в лагере Сакамото-бутаи. Ему покоя не давала загадка, отчего карту не нашли при обыске бараков. Я объяснил, что держал ее в пустотелом куске бамбука в задней стене сортира и что переводчик с американским акцентом наткнулся на нее лишь оттого, что я беспечно сунул ее к своим вещам. Нагасэ заметил, что «тот тип» страдал в Америке, где его держали за «национальное меньшинство», и что у него были «злые мысли на белого человека».

Нагасэ рассказал, чем занимался в последний год войны, когда выписался из малярийного госпиталя:

переводил листовки, которые разбрасывали наши самолеты, патрулировал лагеря по периметру в поисках шпионов и диверсантов, а также пытался по мере сил удовлетворить ненасытный информационный голод разбитой империи. Массу времени провел в щелях при воздушных налетах, вечно преследуемый страхом угодить потом на авиабомбу замедленного действия.

Еще он спросил, принимал ли капитан Комаи — которого повесили за смерть Армитажа и Холи — личное участие в наших избиениях. Оказывается, он несколькими годами ранее встречался с его сыном. Я ответил, что такая вероятность имеется, хотя ручаться на сто процентов не могу. Нагасэ высказал предположение, что меня потом пытали и в Утрамской тюрьме; пришлось объяснять, что на свете встречаются вещи похлеще примитивного истязания. У него хватило такта признать, что перенесенные им тяготы ничто в сравнении с моими страданиями, но было видно невооруженным глазом, что он тоже намучился. «Разные терзания, разные терзания в моем сердце и мыслях...» Нагасэ рассказал, как потом изучал историю и стал категорическим противником милитаризма. Выяснилось, что у него есть жена по имени Ёсико, весьма состоятельная женщина, которая преподает искусство чайной церемонии, а сам он держит курсы английского языка.

Позднее тем же утром мы посетили музей близ смотровой площадки. В продолговатых выставочных залах стояла удушливая жара. На полу выложены ржавые цепи, на которых переносили шпалы; горка костылей, веревки, пилы... Комплект внушительных и ржавых стальных крюков — сцепки грузовых вагонов, — и несколько четырехколесных тележек, на которых достав-

ляли шпалы и рельсы, чтобы переложить их на плечи и без того измотанных людей. И пусть эти железяки с намертво приржавевшими колесами могут показаться малозначащим и бесполезным хламом, они напоминают людям о том, что с ними вытворяли. На длинном столе, будто поджидая кого-то, выстроились огромные чугунные чаны, по-индонезийски именуемые *квали*, в которых в мою бытность ответственным по пищеблоку мы варили рис.

К тому моменту мы представили госпожу Нагасэ и миссис Ломакс друг другу, и наши супруги сумели найти общий язык сочувствия и понимания. Нагасэ сказал, что при посещении Канбури он частенько бывает у того места, где некогда располагалось управление кэмпэйтая, так что мы решили съездить туда вместе. Само-то здание, понятное дело, уже снесли, а площадку застроили. За рулем сидела Тида Лоха, которая помогает многим бывшим военнопленным, приезжающим в Канбури. Патти устроилась рядом на переднем сиденье, я занял место сзади, между Нагасэ и его другом-японцем. Пока мы кружили по запруженным улицам, моя жена сидела к нам вполоборота и, не говоря ни слова, просто смотрела на нас. Наши глаза встретились, и мы улыбнулись друг другу. Я знал, о чем она думает: вот я сижу между двумя японцами на пути к тому месту, и все шутят и смеются.

От управления кэмпэйтая и впрямь ничего не осталось. Дворик с «обезьяньими домиками» уступил место жилой застройке. Вот, оказывается, как несложно стереть с лица земли места, где вытворялись такие вещи. В конце концов, для пыток многого не надо: хватит какой-нибудь палки, воды и громкого голоса. Людей

истязают в убогих комнатухах, на грязных задних дворах и в подвалах. Отметины на теле тоже недолговечны, и надо сказать спасибо таким, как Хелен Бамбер, что удастся выявить скрытые, незатягивающиеся следы.

После ничем не примечательного возвращения к месту нашей первой встречи мы посетили два военных мемориала. Чтобы добраться до союзнического кладбища в Чунгкае, мы сели на речной трамвайчик, который бодро неся мимо зарослей тростника, возделанных полей и зеленой стены деревьев. Жара поистине изумляла. Казалось даже, что и река на нее реагирует, тут и там покрываясь водорослями, кувшинками, спутанными прядями каких-то растений. Причалив, мы пошли по прохладной галерее с красным навесом. У входа традиционная¹ надпись: «Имена их живут в роды». Обширное кладбище безукоризненно прибрано, растения ухожены, на дорожках ни соринки. На поблескивающих плитах известняка, расположенных под наклоном словно аналой, бронзовые таблички. На некоторых выгравировано лишь «Солдат войны 1939—45 гг., ведом Богу». Уж не здесь ли спит пропавший без вести Билл Вильямсон?..

¹ Когда Имперская комиссия по воинским захоронениям в 1919 году обратилась к народу Великобритании с просьбой подобрать уместную эпитафию в память всех погибших, Редьярд Киплинг, сам потерявший восемнадцатилетнего сына в Первую мировую, предложил фразу из апокрифической Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова. С той поры вторая половина стиха «Тела их погребены в мире, и имена будут жить в роды» (Сир. 44, 13) выбивается на памятных камнях всех военных мемориалов Британского Содружества, где покоятся тысяча военнослужащих и более. Для могил неизвестных солдат Киплинг предложил «Ведомы Богу [от вечности все дела его]» из Деяний святых апостолов, гл. 15.

Мы с Патти пошли по дорожкам, оставив Нагасэ и Ёсико позади. Разговаривали немного, и, думаю, как раз там, меж могильных рядов, я, по сути, озвучил то решение, которое искал годами.

Японский военный мемориал, возведенный еще в 1944-м подневольным трудом военнопленных, производит куда более унылое и заброшенное впечатление. Кенотаф, успевший пойти разводами и трещинами под действием погоды и механических напряжений, стоит в окружении низеньких деревьев. Повсюду следы небрежения. Безлюдно. На кенотафе — будто кто-то в свое время спохватился — обнаружили таблички в память погибших из других стран, не только Японии. Кто-то из бывших пленных, не умеющих прощать, явно обстрелял мемориал камнями: на пятнистом бетоне видны царапины и сколы. Госпожа Нагасэ тем утром рассказала нам, что ее брат погиб в самом конце войны где-то в Бирме — один из множества молодых людей, кому не дали ни единого шанса.

Мы с Нагасэ много говорили про ТБЖД, и оба поражались ее вопиющей бессмысленности. Взять, скажем, египетские пирамиды, еще один пример колоссальной инженерной катастрофы, — их хотя бы можно считать увековечиванием нашей любви к красоте, а заодно и памятником рабскому труду.. А эта железная дорога — тупик в джунглях. Почти все пути в приграничных районах были разобраны сразу после войны: шпалы пошли на топливо или постройку домов. В свое время у дороги была кое-какая стратегическая ценность, но лишь в рамках обслуживания военной кампании, что обошлась в миллионы жизней. Предельно

бессмысленная затея. Нынче дорога тянется миль на шестьдесят, и все. Остальное столь же заброшено, как и та узкоколейка, на которую я наткнулся в 1933-м на острове Унст.

За разговорами я поймал себя на мысли, что с давних пор мог бы поддерживать с моим необычным спутником дружеские отношения, кабы не пришлось нам встретиться при совсем иных обстоятельствах. У нас было много общего: любовь к книгам, преподавательский труд, интерес к истории, хотя Нагасэ и поныне сильно удивлялся одной из моих «маний». Чем дольше мы общались в Канбури, тем больше он мне импонировал. В конце недели нам вместе предстоял перелет в Японию.

Но как быть с прощением? А может, за давностью времен оно вообще теряет смысл?

Одна из милых тайландок, с которой мы познакомились на той же неделе, любезно взялась объяснить мне важность прощения с точки зрения буддизма. Любые наши поступки возвращаются бумерангом, и если ты сделал что-то плохое в этой жизни, то в следующей зло вернут тебе с процентами. Нагасэ страшился преисподней, а наша первая встреча уже превратила в ад изрядную часть жизни и у него, и у меня. Не надо быть дипломированным теологом, чтобы увидеть бессмысленность дальнейшего отчуждения, которым я карал Нагасэ. Теперь имели значение лишь его неподдельное раскаяние и наша обоюдная потребность придать этой встрече смысл, выходящий за рамки пустопорожнего бездушия. Осталось подобрать оказию и правильные слова, чтобы сказать ему об этом, не испортив торжественности минуты.

* * *

Рейс на Осаку проходил в окружении японских бизнесменов. Мы с Патти сидели в разных концах салона; потом один из ее соседей, весьма образованный и утонченный джентльмен с безупречным английским, услышал от нее нашу историю — и уступил свое место, чтобы мы были рядом. В аэропорту нас встретила госпожа Нагасэ в компании одной из своих учениц, потрясающе обаятельной и учтивой молодой женщины, и уже через пару часов мы очутились в удивительном сверхскоростном поезде в Окаяму: все равно что сидишь в ракете на рельсах. Наши места были на втором ярусе, а за окном проносились бесчисленные жилые домики и другие строения, в то время как по левую руку расстилалось Внутреннее море.

Курасики, куда мы направились далее, настоящая драгоценность, своего рода японский Оксфорд или Бат. Город практически не пострадал от войны, да и застройщики не тронули его центр. Мне очень понравился проложенный там широкий, чистый канал, с лебедями и изящными мостиками. Ёсико — родом из древнего состоятельного рода — показала нам «старый дом», довоенную резиденцию ее семейства, ныне охраняемую как памятник культуры: японское жилище в традиционном стиле. Старый дом великолепен: подвижные бумажные перегородки, изящные в своей простоте комнаты, где из всей обстановки лишь низенькие столики да развешенные по стенам свитки-картины... Во время чайной церемонии сидеть пришлось на полу, на подложенных подушечках, и я, признаться, не сумел в полной мере сосредоточиться на сложном, элегантном ритуале, так как слишком много воды утекло с тех

пор, когда я в последний раз сидел в такой позе. Но вот что действительно поразило, так это ужасно низенькая притолока чайного домика в саду: дверь ну до того маленькая, что в нее не пролезть с мечом наперевес. Это показалось мне очень цивилизованной мерой предосторожности.

В «новом доме», где живут Нагасэ, я увидел такую же неразбериху из книг и газет, среди которой обитаю сам. В его кабинете я как-то раз по рассеянности сел в хозяйское кресло, чуть ли не скопировав позу, в которой Нагасэ снялся для статьи в «Джапан Таймс».

Нагасэ был не на шутку одержим мыслью показать мне знаменитую цветущую сакуру, и эта тема стала у нас притчей во языцех. Каждый новый день он начинал с того, что объявлял, дескать, сегодня сакура распустилась уже на тридцать процентов или на сорок пять — и вскоре мы сами увидели японскую декоративную вишню такой, какой ее надо увидеть хотя бы раз в жизни. Нагасэ свозил нас в городской парк в Окаяме и страшно огорчился, обнаружив местную сакуру в расцвете лишь на сорок процентов.

Странно было бродить по этому сказочно красивому городу: ведь еще пару лет назад я и помыслить не мог, что по своей воле встречусь с кем-то из японцев, — а вот сейчас вышагиваю себе по улицам, где их и не считаешь: турист, которому хорошо за семьдесят, почетный гость двух славных людей. Тут кого ни встретишь — просто образец радушия. Я ловил себя на мысли, что мне приятно видеть толпы улыбчивых, прекрасно одетых молодых людей, наследников экономической супердержавы, мирового лидера в электронике — особенно когда припоминались мои собственные терпеливые

попытки объяснить принципы работы радиопередатчика в той обшитой деревом комнате в Сиаме в 1943-м!

Ярчайшей демонстрацией инженерного искусства японцев я считаю мосты, перекинутые через Внутреннее море и соединяющие Хонсю и Сикоку. Я специально попросил, чтобы мне их показали, потому что Форт-бридж был одним из чудесных откровений моего детства. Здешние мосты образуют собой самую длинную протяженность пролетов в мире, аж девять миль. Мост за мостом, целая цепочка, перепрыгивающая с островка на островок и уходящая за горизонт.

В общем, мы вели себя как обычные туристы, однако постоянно давила мысль, что между мной и Нагасэ остается нерешенным один вопрос. Я все никак не мог подобрать нужный момент; вечно рядом был кто-то еще, к тому же Нагасэ питал известную склонность к публичной демонстрации нашей встречи как своего рода символа примирения, и это создавало атмосферу официального визита, особенно когда за тобой по пятам следуют японские журналисты.

Тем временем мы занимались вещами, которые были важны нам обоим, пусть и по-разному. Побывали в Хиросиме, где мы с Патти возложили букет цветов к памятнику. Директор здешнего Мемориального музея мира, сам изуродованный радиацией, лично взялся быть нашим гидом. На жутких снимках обгоревшие дети, жертвы лучевой болезни, улицы без домов; мы увидели мужчину, который обрубком руки показывает на силуэт человека, словно сфотографированного атомной вспышкой.

Все в Хиросиме пропитано атмосферой одного большого храма, но мы с Нагасэ повинны в том, что

бесцеремонно нарушили его деятельную торжественность. Осматривая музейную экспозицию, Патти с Ёсико шли впереди нас в компании друзей Нагасэ. За спиной царил несмолкаемый гул чьей-то болтовни и оживленных комментариев. Патти потом рассказала мне, что внезапно позади себя услышала смех. Оказывается, это мы, два кощунствующих старика, чем-то развеселились в этом святилище покоя.

Дело в том, что мы обсуждали последние дни войны. Нагасэ поинтересовался, когда именно я услышал про атомную бомбардировку Хиросимы. «Восьмого августа», — ответил я. Он пришел в изумление: их подразделению сообщили на целых два дня позже. Ему хотелось знать, откуда у нас были такие сведения, коль скоро мы сидели в Чанги, отрезанные от окружающего мира. «А-а, — сказал я, — так ведь у нас было радио!» Это-то и привело нас в такое веселье, несмотря на более чем торжественную обстановку.

Однажды, к удивлению наших хозяев, я попросил показать мемориал совершенного иного свойства, а именно токийский храм Ясукуни, центр имперской традиции и оплот синтоизма, некогда государственной религии Японии.

Мы с Нагасэ обсуждали историческую правду, и выяснилось, что он жаждет — чуть ли не до одержимости — полностью раскрыть японцам глаза на те вещи, которые до 1945 года вытворяла их армия во имя императора. Он считает, что надо порвать с культом повиновения властям; по сути, его кредо — воинствующий духовно-идеалистический гуманизм. Нагасэ часто сетовал, до чего мало по-настоящему качественной исторической информации попада-

ет в руки японских школьников, как мало делается для того, чтобы открыто взглянуть прошлому в лицо. В каком-то смысле Нагасэ похож на крестonosца, преисполненного отваги и похвальных намерений, но в больших дозах это несколько утомляет, как, например, его склонность выставлять на публику наши совместные походы. Впрочем, чем больше я к нему прислушивался, тем лучше понимал, откуда такая пылкость. Его одержимость стала личным искуплением и примирением с прошлым, а вот моя навязчивая идея была сугубо личным пережевыванием воспоминаний и тягой к мести. Открыто демонстрируемая позиция Нагасэ вызывает в Японии бурю враждебных эмоций. Как-то раз он заметил мимоходом, дескать, «не удивлюсь, если в один прекрасный день проснусь и обнаружу, что меня убили».

То, с чем он борется, яснее всего видно как раз в Ясукуни, куда нас отвезла профессор Накахара, с которой нам посчастливилось встретиться вновь. Храм Ясукуни играет двоякую роль: с одной стороны, это берущий за душу военный мемориал, где поклоняются погибшим за Императора, с другой — откровенный до бесстыдства праздник милитаризма. Ветви цветущей сакуры перевязаны белыми ленточками с пожеланиями и просьбами. На территории комплекса можно увидеть и памятник кэмпэйтая — ощущение такое, словно ты наткнулся на памятник гестапо в немецком соборе. В главном зале музея, что расположен напротив храма и составляет с ним органическое целое, выставлены полевые орудия, точь-в-точь как в лондонском Военном музее — если забыть, что здесь, вообще-то, место религиозного поклонения. Рядом с гаубицами

стоит «С56» в идеальном состоянии; сотрудники храмового комплекса заботливо указали на пояснительной табличке, что именно этот локомотив принимал участие в церемонии открытия ТБЖД. Паровоз горделиво приосанился, его дымоотбойники начищены до блеска, могучие колеса глубоко ушли в щебень.

Нагасэ рассказал мне, что яростно протестовал в 1976-м году, узнав о размещении «С56» в экспозиции Ясукуни. Писал письма руководству храма, напоминал всем, кто только был готов слушать, что, когда премьер-министр Тодзио побывал в Сиаме перед началом строительства ТБЖД, он, как гласит молва, заявил, что дорога должна быть проложена любой ценой, даже если каждая уложенная шпала будет оплачена жизнью военнопленного или депортированного рабочего. А для этого паровоза, добавлял Нагасэ, требовалось по шпале через каждый метр пути. Тем не менее, как сам Тодзио, который был солдатом Императора, так и «С56» являются предметом поклонения в Ясукуни.

* * *

За все то время, что я провел в Японии, у меня ни разу не было ни вспышек гнева, который я питал в адрес Нагасэ на протяжении полувека, ни отголосков смертоубийственного настроения, что нахлынуло на меня, когда выяснилось, что один из моих мучителей до сих пор жив. Если на то пошло, Нагасэ производил впечатление человека, морально подготовившегося к намного более жесткой и тяжелой встрече.

И вот почему он так напрягся, когда я вдруг сказал, что хотел бы поговорить с ним с глазу на глаз в номере токийской гостиницы, где мы остановились перед воз-

вращением в Британию. План действий я разработал за несколько дней до этого. Я решил, что объяснюсь с ним в письменном виде и что именно такой подход вполне удовлетворит наши обоюдные потребности. Письмо я собирался отдать ему в Киото (он очень хотел показать мне величественные храмы бывшей столицы Японии).

Утром нашей запланированной поездки в Киото шел сильный дождь, и Нагасэ плохо себя чувствовал, поэтому в этот удивительный город мы отправились в компании Ёсико. Под дождем Кинкаку-дзи — «Золотой павильон» — приглушил свой блеск, его отражение в озере-зеркале пошло рябью. Мы бродили по аскетичным садам, разглядывали все, что только можно, но меня грызла тревога за Нагасэ, и я торопился заключить окончательный мир.

Сейчас, сидя у окна непримечательной современной гостиницы, я разглядывал прибывающие и отбывающие поезда громадного Токийского вокзала. Надо было дожидаться, когда Патти и Ёсико уйдут по своим делам. Мое пожелание увидеть Нагасэ наедине произвело на Ёсико эффект разорвавшейся бомбы; она с встревоженным выражением обратилась к Патти и произнесла по-английски слово «сердце», после чего умоляюще взглянула на меня. Я сказал, что все будет хорошо, но у нее так и не получилось скрыть свое отчаянное беспокойство.

Когда они ушли, я отправился в соседний номер. Там, в тихой комнате, куда почти не доносился уличный шум и гул поездов, я дал Нагасэ то прощение, которого он хотел.

Свое коротенькое письмо я прочел ему вслух, делая паузы после каждого абзаца, желая убедиться, что он

все понимает. В письме я сказал, что война кончилась почти пятьдесят лет тому назад, что я много страдал, что мне известно, как много тягот он перенес за это время, что он проявил мужество и отвагу в борьбе с милитаризмом, много работал ради примирения. Я сказал ему, что, хотя не могу забыть о случившемся в Канбури в 1943-м, лично его я полностью простил.

Он был вновь переполнен чувствами, и мы еще долго сидели в его комнате, беседа негромко и никуда не торопясь.

* * *

Следующим утром мы проводили Нагасэ и Ёсико на вокзал, откуда они поездом уехали в Курасики. Тем же вечером он позвонил нам в номер, желая удостовериться, что с нами все в порядке. Я был уверен, что вижу его в последний раз, во всяком случае, в этой жизни. На другой день мы самостоятельно нашли нужный нам поезд до Осаки, откуда предстоял перелет в Британию. После трехчасовой поездки мы наконец вышли на платформу — и что вы думаете? Точнехонько напротив открывшейся двери стоял мой друг Нагасэ вместе с Ёсико, рот до ушей и сплошные поклоны. Они знали расписание нашего поезда, номера мест и вели себя точно маленькие дети, в восторге от собственной проделки. Я тоже был чертовски рад их видеть.

Они отвезли нас в аэропорт, и мы покинули Японию. Когда самолет лег на крыло, разворачиваясь над Осацким заливом, я взял жену за руку. Я чувствовал, что совершил нечто такое, о чем и мечтать не смел. Состоявшаяся встреча превратила Нагасэ из ненавистного врага, дружба с которым немыслима, в побратима.

Если бы лицо одного из моих мучителей так и осталось безмянным, если бы я не сумел увидеть, что за этим лицом тоже стоит разбитая жизнь, прошлое так и продолжало бы наносить мне бессмысленные визиты через кошмары. Я доказал самому себе, что не достаточно только лишь помнить, если это заставляет тебя зачерстветь в ненависти.

В Таиланде, когда мы, отбившись от остальных, бродили по военному мемориалу в Чунгкае, Патти вдруг усомнилась: «Ты только взгляни, сколько кругом могил... Так правильно ли то, что мы делаем?» Сомнение продлилось лишь краткий миг, коль скоро мы оба знали, что оказались здесь не понапрасну. И я ответил: «Нельзя, чтобы ненависть была вечной».

Благодарности

Выражаю глубокую признательность за труд моему литературному агенту Хилари Рубинштейн, чей опыт, мудрость и терпение столь способствовали завершению этой книги.

Два сотрудника Имперского военного музея — Родерик Саддаби, руководитель архивного отдела, и д-р Кристофер Даулинг, начальник отдела музейных услуг, — заслуживают особой благодарности за поддержку и помощь в течение продолжительного времени.

Я особенно обязан режиссеру и продюсеру Майку Финлансону за его веру в незаурядность всей этой истории, за организацию съемок уникальных событий в Канчанабури в 1993 году и за создание документального фильма «Враг мой друг?», премьера которого состоялась в Южной Африке.

Я также благодарен Джонатану Аззеллу за его поддержку.

Из сотрудников издательства «Джонатан Кэйп» я хотел бы сказать спасибо Дженни Коттом за ее редакторское попечение и профессиональный дизайн книги и Кристи Дансит за ее напряженный и столь ценимый мною труд.

Ничего бы не вышло без содействия трех дам в нашем Берике-апон-Туиде. Во-первых, Джули Уастлинг помогла в начале этого проекта; после этого за обработку довоенной части книги взялась Джон Скотт. Наконец, Сабина Моул занялась военным и послевоенным периодами, которые подвергались непрерывной переделке, и подготовила безупречный машинописный вариант, да еще быстрыми темпами, несмотря на личные и домашние дела.

В адрес Хелен Бамбер, директора Медицинского фонда помощи жертвам пыток, я выражаю мою глубочайшую благодарность за сострадание, советы и моральную поддержку, которые мне были оказаны при всей ее исключительной занятости на благо вышеупомянутой организации, одним из основателей которой она является.

Моей драгоценной жене Патти особая признательность за ее постоянную веру в меня, преданность и надежное плечо как в горе, так и в радости.

Эрик Ломакс

Послесловие переводчика

С момента выхода английского оригинала в свет минуло почти два десятилетия, так что у этой истории есть продолжение. Кроме того, представляется уместным дать определенные пояснения и уточнения, тем более что книга написана в чрезвычайно педантичном ключе, с массой мелких фактографических подробностей.

После первой встречи (которая состоялась в марте 1993 года) Эрик Ломакс и Такаси Нагасэ еще неоднократно виделись. Так, например, вслед за публикацией этой книги в 1995 году Ломакс вновь побывал в Таиланде, где и презентовал свои мемуары Нагасэ. Тот, кстати сказать, с ответным визитом погостил у четы Ломакс в Британии, к тому же не раз. В целом можно отметить, что у них завязались прочные, дружеские отношения.

О жизни и характере Эрика мы довольно много знаем из его биографии, поэтому есть смысл дополнить и раскрасить портрет его новообетенного японского друга.

Такаси родился в 1918 году в Курасики, префектура Окаяма, и закончил английское отделение токийского университета Аояма, основанного во

второй половине XIX века американскими миссионерами, протестантами-методистами (для Японии вообще очень характерны подобные учебные и воспитательные учреждения христианского толка, от детских садов до вузов). Возможно, что этот жизненный опыт и сформировал отношение Такаси к войне и миру.

Эрик, рассказывая о призыве Такаси в армию, высказал предположение, что присвоенная тому категория «В3» означает «слабое физическое развитие». Это не совсем так. В то время насчитывалось шесть категорий призывников, годных к действительной службе. Классификация основывалась в первую очередь на росте человека: категория «А» — 1,52 м и выше; «В1» — 1,5 м; «В2» и «В3» такие же, но с некоторым ограничением по зрению и слуху. К слабому физическому развитию относились категории «С» (1,45—1,5 м) при отсутствии инвалидности и «D» — ниже 1,45 м или наличие определенных неизлечимых болезней. Для большинства призывников были характерны стоматологические заболевания, ослабленное зрение и слух из-за недостатка витаминов, о чем и говорил генерал Уэйкли перед отправкой Эрика в Малаю.

В силу своего образования Такаси состоял на воинском учете по специальности «переводчик» и после уже известных нам событий вернулся на родину в 1946-м, перебрался в префектуру Тиба, где работал школьным учителем, затем вернулся в Курасики, где преподавал английский в колледже, открыл собственную языковую школу. После выхода на пенсию полностью посвятил себя буддистскому священнослужению.

Мы также знаем, что его поездки в Таиланд начались лишь в первой половине 1960-х: до этого момента ограничения распространялись в первую очередь на частные, например туристические, поездки. Японское правительство мотивировало это дефицитом наличной валюты в стране.

С той поры Таиланд стал ему едва ли не вторым домом: число поездок туда перевалило за полторы сотни. Именно Такаси организовал в 1976 году первую в истории встречу бывших военнопленных и японцев возле знаменитого моста через Квай. Впрочем, в целях исторической точности надо отметить, что в действительности мост был перекинут не через Квай (кстати, правильное произношение «Кхвэ»), а через другую реку — Мэклонг. Дело дошло до того, что в 1960-х тайское правительство было вынуждено переименовать реки, потому как десятки тысяч туристов не могли отыскать нужную им достопримечательность. Теперь бывшая Мэклонг называется Кхвэйяй («Большая Кхвэ»), а ее ранее безымянный приток неподалеку от моста — Кхвэной («Малая Кхвэ»).

В 1986 году Такаси построил буддистский храм *Куваигава хэйва дзиин* («Храм мира на реке Квай»), в том же году основал фонд материальной помощи тайской молодежи *Куваигава хэйва кикин* («Фонд мира им. реки Квай»; выдано свыше тысячи грантов и стипендий) и опять-таки в том же году опубликовал книгу, которая стала его визитной карточкой: «Правда и ложь о «Мосте через реку Квай»» (*Сэндзэ-ни какэру хаси-но усо-то синдзицу*).

Эрик, впрочем, познакомился с другой его книгой, а именно: «Кресты и тигры: Происхождение храма мира на реке Квай» (*Тора-то дзюдзика: Куваигава хэйва дзин энги*), чье название в английском переводе было значительно сокращено. Перевод выполнял сам Такаси в компании с другим японцем. Издания осуществлены на средства автора.

Любопытно отметить, что Нагасэ взглянул затем на проблему военнопленных с противоположной стороны, исследовав ее в другой своей книге, *Каура нихонхэйхорё сюёдзё* («Каурский лагерь японских военнопленных»), которая была переведена на английский так: «Обоюдоострый кинжал: Хроника Каурского инцидента 1944 года». В ней рассказывается о побеге свыше полутысячи плененных японских солдат из лагеря Каура в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Это произошло 5 августа 1944-го; их ловили десять суток и в итоге убили свыше 230 человек, остальных вернули в лагерь. У японцев в 2008-м вышел двухчасовой художественный фильм на эту тему с примечательным названием «В тот день наши жизни были ничтожней туалетной бумаги» (*Ано хи, бокура-но иноти-ва тоирэттонэна-ёри-мо карукатта*).

Помимо упомянутой в мемуарах Эрика документальной ленты Майка Финлансона (чья премьера состоялась в 23 странах одновременно в день 50-летнего юбилея победы над Японией), Такаси Нагасэ выведен в игровом фильме 2001 года «Последняя война» (*To End All Wars*, реж. Дэвид Каннингем).

В 2005 году он был удостоен премии газеты «Иомиури симбун» за вклад в международное сотруд-

ничество. А вот тайцы пошли еще дальше: в 2006-м возле Канчанабурского музея (того самого, чье описание дал нам Эрик) они поставили прижизненную статую Такаси в полный рост в благодарность за его филантропическую деятельность. В бронзовой левой ладони всегда свежие цветы.

Эрик пишет о том, что Такаси проявил недюжинное мужество в своей работе. И это правда. К примеру, во время самой первой, исторической встречи бывших военнопленных и японцев в 1976 году ожидалась такая буря эмоций, что тайские власти заранее направили к мосту через Квай подразделение полицейского спецназа. Особых стычек все же не произошло, но Такаси хорошенько досталось с другой стороны: на него обрушилась японская пресса за то, что вместо *хи-но мару* (так называется японский флаг) он держал в руках флаг Таиланда.

В ноябре 2005-го, в возрасте 87 лет и со слабым сердцем, он с группой японских единомышленников попытался даже совершить велопробег — по джунглям! — вдоль всей трассы ТБЖД, желая привлечь внимание к новому проекту: включить дорогу в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не получилось. И дело даже не ограничивается сопротивлением японской общественности. Так, западные союзники воспротивились плану коммерческой модернизации ТБЖД, предложенному в 1987 году.

Ну а на японском фронте страсти кипят. Эрик уже отмечал, что здесь многие считают Нагасэ предателем; мало того, как мы знаем, уже ведутся разговоры о возможном пересмотре антивоенной конституции страны. Японская молодежь тоже не очень-то рас-

положена поддерживать Нагасэ. К примеру, был случай, когда в июле 2005-го он со слезами на глазах взялся вымаливать прощение у группы британских школьников (они приехали с экскурсией). История умалчивает, как повели себя ошеломленные дети, зато известна реакция проходящего мимо японского студента, от которого Нагасэ хотел, чтобы он тоже извинился. «Это не проблема нашего поколения», — последовал прохладный ответ.

Вообще говоря, переводчик этой книги сам был свидетелем развязки сей истории — в том смысле, что жил в ту пору в Токио и до сих пор помнит, как вела себя местная пресса. Нет, особой помпы, шумихи, охов и ахов не было. Журналисты, правда, избрали такой тон, что между строк читалось: вот, мол, приехал к нам бывший военнопленный, который уж так нас ненавидел... А теперь осмотрелся, понял, как у нас тут замечательно, и воспылал любовью.

И еще. Есть в риторике такой прием: смещение акцента и, соответственно, перенос фокуса внимания. Вот, к примеру, как это выглядело применительно к рассматриваемой теме. Поразительно, восторгалась газетчики, до чего эта история напоминает сюжет пьесы XV века *Ацумори* для театра Но, которая восходит к средневековому эпосу «Сказание о доме Тайра». В ней юному Ацумори — рафинированному придворному и наивному игроку на флейте — сносит голову закаленный в боях самурай, который затем раскаивается в содеянном, постригается в монахи и всю жизнь молится за упокой души своей жертвы. Ацумори же тем временем превратился в привидение, страдает, но в конечном итоге прощает своего

убийцу («ты мне не враг...»). В прессе обсуждалось, что нашлись энтузиасты, решившие сделать постановку истории Ломакса и Нагасэ в духе упомянутой пьесы, причем в интерлюдии предполагались песни и пляски военнопленных, которые празднуют успешное завершение ТБЖД... К слову, строительство продолжалось полтора года и на нем погибло порядка 90 тысяч *ромуся* и почти 12,5 тысяч военнопленных.

Эрик не раз отмечает, что у него есть подозрения на работу предателя, который выдал радиоприемники. Ответ Нагасэ сводится к ситуации лишь в Канбурском лагере, однако проработка свидетельств той эпохи показывает, что приказ о поисках подпольной радиоаппаратуры был отдан по всей ТБЖД одновременно, так что у японцев, по-видимому, не было прямых улик.

Далее Эрик упоминает сына казненного капитана Мицуо Комаи, заместителя коменданта Канбурского лагеря. Со слов Нагасэ мы знаем, что сын Комаи живет где-то на севере Японии, «в бесчестье». Так вот, этот семидесятилетний человек по имени Осаму Комаи раздобыл у Нагасэ адрес и в июле 2007 года приехал к Ломаксу в Берик-апон-Туид, чтобы извиниться за отца. Перед встречей недоумевающий Эрик неоднократно переспрашивал: «Знает ли Осаму, что смертный приговор его отцу был вынесен практически исключительно по моим показаниям?» Разговор, как водится, записывала японская бригада теледокументалистов. Эрик потом заметил: «Он, можно сказать, предложил мне свою душу» и добавил, что «я его, пожалуй, узнал бы на улице: уж очень он похож на своего отца... Жаль, что он так мало погостил».

Остается добавить, что Такаси Нагасэ умер в родном городе Курасики в июне 2011-го — правда, не от сердца, на которое всегда жаловался, а от холецистита.

Эрик Ломакс пережил его на год с небольшим: он скончался в октябре 2012-го, тоже в возрасте 93 лет. В некрологе «Дейли Мэйл», второй по популярности газете Великобритании, говорится, что вряд ли можно подобрать лучшую эпитафию, чем последняя фраза из его же книги: «Нельзя, чтобы ненависть была вечной».

Оглавление

Глава 1	9
Глава 2	45
Глава 3	68
Глава 4	94
Глава 5	120
Глава 6	163
Глава 7	183
Глава 8	194
Глава 9	218
Глава 10	245
Глава 11	274
Глава 12	314
Благодарности	337
Послесловие переводчика	339

Литературно-художественное издание

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР

Эрик Ломакс

ВОЗМЕЗДИЕ

Ответственный редактор Ю. Раутборт

Литературный редактор О. Кутуев

Младший редактор А. Черташ

Художественный редактор А. Стариков

Технический редактор Г. Романова

Компьютерная верстка М. Белов

Корректор Г. Москаленко

Иллюстрация на переплете В. Коробейникова

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Тауар белгісі: «Эксмо»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша

арыз-талаптарды қабылдаушының

өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 2 51 59 89, 90, 91, 92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайты: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания
согласно законодательству РФ о техническом регулировании
можно получить по адресу: <http://eksmo.ru/certification/>

Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 29.07.2014.

Формат 84×108 1/32. Гарнитура «NewtonCTT».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,48.

Тираж 3000 экз. Заказ № 5405.

Отпечатано с готовых файлов заказчика

в ОАО «Первая Образцовая типография»,

филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-699-74561-6



9 785699 745616 >



Оптовая торговля книгами «Эксмо»:

ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.

E-mail: reception@eksmo-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»**

E-mail: international@eksmo-sale.ru

*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.*

international@eksmo-sale.ru

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел. +7 (495) 411-68-59, доб. 2261, 1257.**

E-mail: vipzakaz@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми

и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46.

Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru/

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.

Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», 603094, г. Нижний Новгород,

ул. Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза». Тел. (831) 216-15-91 (92, 93, 94).

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А. Тел. (863) 220-19-34.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.

Тел. +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.

Тел. +7 (383) 289-91-42. E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru

В Киеве: ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9. Тел./факс: (044) 495-79-80/81.

В Донецке: ул. Артема, д. 160. Тел. +38 (032) 381-81-05.

В Харькове: ул. Гвардейцев Железнодорожников, д. 8. Тел. +38 (057) 724-11-56.

Во Львове: ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2. Тел./факс (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.

Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.

Тел./факс (727) 251-59-90/91. rdc-almaty@mail.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»

можно приобрести в магазинах «Новый книжный» и «Читай-город».

Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444. Звонок по России бесплатный.

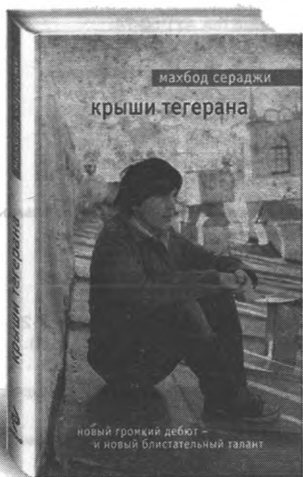
Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»

www.fiction.eksmo.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.

Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: imarket@eksmo-sale.ru





СЕРИЯ МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР



www.eksmo.ru

СЕГОДНЯ – БЕСТСЕЛЛЕР, ЗАВТРА – КЛАССИКА!

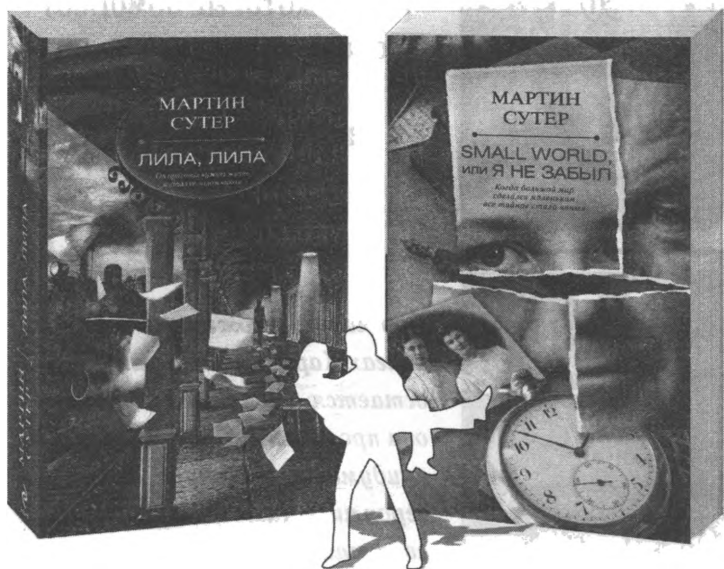
**ТЕПЕРЬ И НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!
КНИГИ, ПОКОРИВШИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ
БЕСТСЕЛЛЕРЫ ПРОСЛАВЛЕННЫХ И МОЛОДЫХ АВТОРОВ**

2012-010

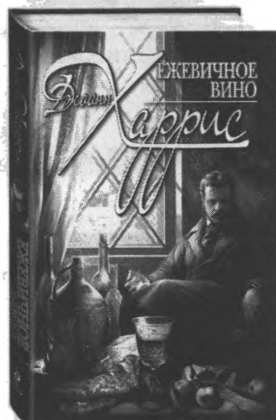
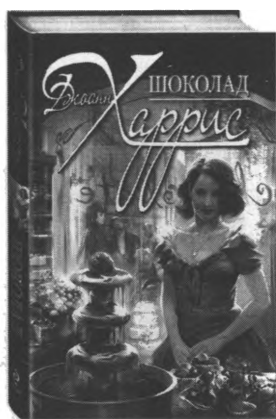
МАРТИН СУТЕР

Проза
швейцарского
качества!

Судьбы его необычных героев приковывают внимание надолго. Увлекательные истории для тех, кто умеет и мыслить, и чувствовать, подарили Мартину Сутеру любовь и признание читателей всего мира.



**В каждой книге –
тайна, которую вам предстоит раскрыть.**



Джоанн Харрис



КНИГИ, КОТОРЫЕ НИКОГДА
НЕ ОСТАВЛЯЮТ РАВНОДУШНЫМ



КНИГИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ
СНОВА ПОВЕРИТЬ В ЧУДО



КНИГИ, КОТОРЫЕ БУДУТ
ЧИТАТЬ ВСЕГДА



Просчитать сюжетные ходы в книгах Харрис невозможно — остается лишь довериться ей, и она проведет вас по лабиринтам придуманного ею мира, знакомя с героями, у каждого из которых своя тайна, своя «изюминка».

THE RAILWAY MAN



ERIC LOMAX

Великая книга. Великий человек.

Daily Mail

Не будет преувеличением сказать, что из миллиардов слов, которые были написаны о Второй мировой войне, свидетельство Ломакса — одно из самых значительных. Он рассказывает достоверную, шокирующую и в то же время романтическую и жизнеутверждающую историю. Эту книгу надо читать.

Independent

Эта книга вне времени. Можно сказать, что это классика автобиографии.

Guardian

ISBN 978-5-699-74561-6



9 785699 745616 >



ЭКСМО